



БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ

ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ

ВТОРАЯ РОТА

БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бондарев Ю. В.

Борзунов С. М.

Злобин Г. П.

Ильин С. К.

Пузиков А. И.

Синельников В. М.

Сурков А. А.

Туркин В. П.



ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ

ВТОРАЯ РОТА

РОМАН И ПОВЕСТЬ

Перевод с болгарского

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА — 1977

И(Болг)
В26

ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ

ВТОРА РОТА

ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО
СОФИЯ — 1961

Вежинов Павел

В26 Вторая рота. Роман и повесть. Пер. с болг. М.,
Воениздат, 1977.

288 с. (Б-ка Победы.)

В книгу одного из крупнейших современных болгарских писателей включены роман «Звезды над нами» и повесть «Вторая рота».

Роман «Звезды над нами» посвящен болгарскому движению Сопротивления и партизанской борьбе в Болгарии в годы второй мировой войны. В повести «Вторая рота» автор рассказывает о становлении болгарской Народной армии и ее участии в боевых действиях против гитлеровских войск.

Увлечательность сюжета этих произведений, высокая художественность и правдивость в изображении событий, жизни и судеб людей привлекут к книге интерес широкого круга читателей.

В 70304-085 191-77
068(02)-77

И(Болг)

© Перевод на русский язык,
Воениздат, 1977

На зеленом штабном столе на широком подносе был приготовлен завтрак: желтая венгерская брынза, масло, поджаренный хлеб и маслины. Небольшую комнату наполнял приятный запах липового чая. Командир полка, вытянув под столом короткие ноги, старательно намазывал маслом тонкий ломтик хлеба. От поднимавшегося над чаем пара слегка запотевали очки и румяное лицо полковника становилось еще более розовым. В углу стояла раскаленная железная печка, чьи щеки тоже покрылись румянцем; на ней, подбрасывая крышку, кипел пачищенный до блеска алюминиевый чайник.

Кто-то тихо постучал. Не дожидаясь разрешения, в комнату вошел адъютант и, щелкнув каблуками, вежливо доложил:

— Господин полковник, к вам офицер.

— Что за офицер? — недовольно спросил полковник.

— Какой-то поручик... Только что прибыл из Болгарии... Имеет направление в наш полк.

Командир полка хмуро посмотрел вверх очков.

— Не может ли он немного подождать? — проворчал полковник. — Слишком уж ранняя птичка твой офицер. В такое время люди завтракают.

— Он уже и так прождал полчаса, господин полковник.

— Смотри какой!.. — удивился командир полка. — Только приехал — и сразу представляться. Такому горячему следовало бы всучить вторую роту...

— Какую вторую роту? — учтиво, но без любопытства спросил адъютант.

— Какую!.. Роту Личева!..

— А Личева? — едва заметно поднял брови адъютант.

— А тот пускай пеняет на себя, — сердито заметил полковник. — У других роты как роты, а у него... Вот посажу ему на голову этого шустрика, тогда, может, поумнеет...

По сухому равнодушному лицу адъютанта почти незримо скользнула тень неодобрения.

— Господи полковник, а вам известно, что...

— Известно! — в сердцах оборвал его командир полка. — Но мне тоже осточертело каждый день сталкиваться с Атанасовым.

Чуть только полковник повысил голос, лицо адъютанта сразу преобразилось.

— Что же, господин полковник, пускай ждет?

Полковник с сожалением посмотрел на неоконченный завтрак.

— Ладно, пусть войдет... — махнул он рукой. — Впрочем, погоди, дай мне хоть обуться...

Посапывая и кряхтя, полковник потянул на ноги мягкие удобные сапоги. Оттого, что он паклонялся, его лицо стало совсем багровым. Он с трудом выпрямился, спял очки и сунул их в стол. Без них лицо полковника казалось строже и воинственней.

В дверь постучали, и в комнату вошел офицер — худой, невысокого роста, лет тридцати пяти, смуглый, с жестким серьезным лицом. Неподвижные под нахмуренными бровями глаза смотрели спокойно и несколько холодно. Под пристальным взглядом незнакомца полковник почувствовал себя как-то неловко. Ему стало неудобно и за свой богатый завтрак, и за тепло этой комнаты, и за свой раздобревший вид. Офицер сделал два шага вперед, отдал честь и представился:

— Поручик Димо Георгиев Манев. Прибыл с назначением в ваш полк на должность командира роты.

— Садитесь, поручик, — сказал командир полка и, взглянув на него слегка прищуренными глазами, неожиданно спросил: — Вы случайно не родственник полковника Манева?

Во взгляде поручика промелькнуло недовольство.

— Никак нет, господин полковник.

Командир полка почувствовал холодок в ответе гостя и нахмурился. Офицер старой армии полковник Манев командовал теперь одной из дивизий на фронте.

— Садитесь, садитесь, — несколько сухо предложил он. — Давайте ваши документы.

Полковник пробежал глазами бумаги и, подняв голову, окинул офицера испытующим взглядом. Поручик был в совсем новой, не обношенной еще шинели, которая топорщилась на плечах; сапоги на нем были грубые и, очевидно, не по мерке. Но это еще ни о чем не говорило, и полковник взглянул на руки офицера: такие руки могли быть у чиновника или учителя. Но судя по тому, как независимо держал себя новичок, можно было заключить, что он не очень привык ходить под начальством.

— Так вот что, поручик, даю вам вторую роту в батальоне майора Славчева. Скрывать не стану: рота не из лучших. Даю ее вам потому, что мне кажется, вы офицер усердный и справитесь с нею.

— Благодарю за доверие, господин полковник!

Ни голос, ни выражение глаз офицера не подсказали командиру полка, польщен тот или недоволен.

— Желаю вам успеха, — произнес полковник и протянул руку.

— Благодарю, господин полковник.

Поручик Манев вышел на улицу в подавленном настроении. После жарко натопленной, полной ароматов комнаты в лицо ему ударил свежий зимний воздух. Небо было чисто и прозрачно; на крышах сельских домов под лучами солнца искрился снег. Сам не зная почему, он испытывал какую-то тревогу. «Вторая рота! Что это за вторая рота? Нет, я должен непременно зайти посоветоваться с заместителем командира полка по политчасти». Манев оглянулся и, заметив идущего по улице солдата с бачком чая в руках, подозвал его к себе:

— Послушай, парень! Где мне искать заместителя командира полка?

Солдат остановился, поставил бачок на снег, в раздумье посмотрел вдоль улицы и указал рукой в нужную сторону:

— Вот в том доме, господин поручик, с желтыми стенами... Где перец под навесом краснеет. Видишь?

— Вижу, вижу, — улыбнулся поручик.

— Вот там... Подойдешь поближе, господин поручик, увидишь во дворе его зеленый мотоцикл... Славная машина!

— Хорошо, хорошо, — заторопился поручик. — Благодарю.

Польщенный солдат улыбнулся и поднял было дымящийся бачок, под которым образовался круг талого снега,

но тут вспомнивший о чем-то поручик снова обратился к нему:

— Слушай-ка! А как его зовут?

— Кого, заместителя? — Солдат снова поставил на спег бачок и охотно заговорил: — Зовут его Атанасов... Майор Петко Атанасов, господин поручик. Рахманлийский он, из Пловдивского края... Я тоже из тех мест, из Турии, заместитель командира полка там партизанил. Говорят, ухлопал на Дерменке начальника карательного отряда. В общем, бывалый человек...

Теперь поручик Манев внимательно слушал рассказ солдата. «Бывалый, бывалый, — подумал он, — а со второй ротой справиться не может!»

После столь подробных объяснений поручик без труда разыскал квартиру заместителя. Под навесом с гирляндами красного перца шумно умывался молодой человек в голубой егерской рубашке и бриджах. Манев в нерешительности остановился. Он не мог разглядеть покрытое мыльной пеной лицо, а мускулистая фигура человека неизвестно почему напоминала ему склонившегося над верстаком столяра. Только добротные офицерские сапоги позволяли догадываться, что это заместитель командира полка. Дрожа и фыркая, тот плеснул себе в лицо еще несколько пригоршней воды и протянул руку за полотенцем.

— Товарищ майор? — неуверенно обратился поручик Манев.

Молодой человек поднял голову. С его мокрого лица на шею побежали капли. Он улыбнулся и весело спросил:

— В чем дело, товарищ?

— Поручик Манев, прибыл в ваше распоряжение.

— Пойдемте в комнату, — предложил майор, — здесь очень холодно...

В теплой задымленной комнате пахло горящими дровами. На столе в беспорядке лежали брошюры, книги и целая куча папиросных коробок. Книги были всюду: на этажерке, на подоконнике и даже на полу. На кровати валялись куртка и рубаха из домотканого полотна в клетку.

— Садитесь, — сказал майор, энергично вытираясь. — Снимите со стула книги и садитесь.

Он торопливо надел измятую рубаху и куртку и присел на кровать. Его карие улыбающиеся глаза друже-

любно смотрели на офицера. Только теперь Манев заметил, что майор выглядел необыкновенно молодо; его открытое лицо действовало на поручика успокаивающе.

— Ну, слушаю вас.

— В сущности говоря, товарищ майор, особеппо и рассказывать нечего. Прибыл я из Болгарии с напачением в ваш полк. Только что представился командиру полка, и он направил меня в батальон майора Славчева.

Немного помолчав, поручик осторожно добавил:

— Дал мне вторую роту... По этому случаю я и зашел поговорить с вами...

Майор не переставал улыбаться.

— Да, — сказал он. — Об этой роте стоит поговорить. Но давайте сперва закусим... Вы, вероятно, еще не завтракали...

— Нет, не завтракал, — прямо ответил поручик.

Майор принес и положил на стол кусок сыру, завернутый в желтую бумагу, немного маслин, хлеба и в довершение всего какую-то круглую жестяную банку.

— Это халва, представьте себе, — усмехнулся он. — Не можем жаловаться... Там, в Болгарии, нас не забывают. Неделию назад получили большую посылку от рабочих кондитерской фабрики. В моем пакетике оказались шерстяные носки и записка. У меня их уже песколько пар.

Пока они ели всухомятку, заместитель командира полка спросил:

— Вы кем работали до армии?

— Я инженер-химик, — ответил поручик. — Работал на заводе эфирных масел...

Заместитель командира полка внимательно посмотрел на поручика:

— Вы состоите в какой-нибудь партии?

— Да, в рабочей...

— И давно?

— Нет, недавно, — спокойно ответил офицер. — Но я и раньше был связан с рабочими...

— Ну, это совсем меняет дело, — с удовлетворением заметил майор. — По правде говоря, для второй роты я было наметил кое-что другое, но раз вы член партии, давайте подумаем вместе...

— Обстановка там неважная, говорите?

— Даже очень неважная. Когда мы, отправляясь в Венгрию, покинули Срем, то при переходе через Дунай

рота чуть было не взбунтовалась. Я еще тогда подумал о ее расформировании, но потом решил подождать, надеясь, что со временем все уладится. Но такой она осталась и поныне. Кого-нибудь обворуют — вторая рота! Попойка — опять вторая рота! Только и разговоров что о второй роте. Просто в печепках она у меня сидит.

— А чем вы это объясняете?

— Я уж не знаю, что и думать... Из докладов заместителя командира батальона ничего не понять. Говорит, плохие офицеры — и это возможно!.. Вам ведь известно, что большая часть наших офицеров служила в старой армии. Есть среди них, разумеется, люди добросовестные, но есть и такие, что ушли сюда от наказания за старые грехи. Некоторые из этих офицеров сознательно саботируют. Не исключена возможность, что это тот самый случай, по я в этом не совсем уверен.

— А разве нельзя было заменить офицеров? — осторожно спросил поручик Манев.

Немного помолчав, майор неохотно ответил:

— Делал попытку... Но вы же знаете, что я всего лишь заместитель командира полка, а не командир. Моя власть ограничена. Предложил полковнику — он решительно воспротивился. Я сообразил, что тут действует рука командира дивизии... Тот не позволяет перемещать офицеров: все должны оставаться на своих местах...

— А сейчас кто командует ротой?

— Личев, — сказал он. — Подпоручик Личев... К сожалению, я ничего больше о нем не знаю, да и встретиться с ним не пришлось. Мне только известно, что он офицер запаса, не кадровик. Кто его знает — может быть, просто бездарь... Откровенно говоря, я пока мало занимался этой ротой. Это моя оплошность, но в последнее время я был страшно загружен работой в штабе. Даже в батальоны наведаться не было времени, не говоря уж о ротах... Кроме Личева там есть еще один офицер. Как же его? Подпоручик... подпоручик... Ну ничего, он, как видно, там особой роли не играет.

— Хороши помощники, — покачал головой Манев.

— Таковы обстоятельства! — развел руками майор. — А вы как думаете — следует расформировать?

— Что, роту? — серьезно спросил поручик. — Ни в коем случае... Попытаемся сперва сами навести там порядок. Ничего невозможного нет. Даже в химии, как вы знаете, непоправимого не случается. На заводе из самого сквер-

пого сырья я получал отличные масла. Требовались, конечно, упорство и любовь к своему делу.

Заместитель командира полка с облегчением откинулся на спинку стула.

— Может, хоть в этот раз что-то получится, — сказал оп. — Но все же нужно смотреть в оба. Масла и люди далеко не одно и то же. С людьми куда труднее. Здесь пужы и нервы и такт. Если встретятся серьезные препятствия, прошу, товарищ поручик, непременно приходите... Одна голова — хорошо, две — лучше...

— А заместитель командира батальона?

Майор еле заметно нахмурился.

— Прямо ко мне. О батальонном что вам сказать... Неплохой парень. Что касается храбрости — редкий человек и по убеждениям настоящий коммунист, а вот работать с людьми не умеет. Не военный он человек...

Майор опустил голову, и его моложавое лицо едва заметно нахмурилось, помрачнело. Потом махнул рукой:

— Э, все уладится! Да вы, я вижу, совсем не едите, поручик. Берите халву.

Он достал перочинный ножик и щедро порезал халву на толстые ломтики. После кашкавала¹, застревавшего в горле, она шла хорошо. Они стали вспоминать о родной стороне, поговорили о новостях с советского фронта, о работе народных судов, а под конец пашли и общих знакомых. Майор повеселел, и по комнате разнесился его громкий юношеский смех. Слушая майора, поручик Манев постепенно стал успокаиваться. Страх миновал, предстоящие трудности теперь его бодрили и увлекали. Им овладело нетерпение скорее отправиться в роту, скорее все увидеть собственными глазами!

— Мне, пожалуй, пора, — сказал он, заторопившись. — А как разыскать роту?

— Это дело нетрудное... Неподалеку от моего дома находится продовольственный склад — там всегда бывают подводы из батальонов. Спросите солдат, они вас вырчат.

Поручик Манев встал и застегнул шинель. Майор осмотрел его внимательно с ног до головы и сказал:

— Сапоги у вас того... В таких сапогах едва ли вы будете пользоваться авторитетом у солдат.

Поручик в смущении посмотрел на свои сапоги.

¹ К а ш к а в а л — овечий сыр. — *Прим. пер.*

— Лучших на складе не было, — ответил он.

— Погодите минутку, сейчас что-нибудь сообразим. У меня есть пара хороших сапог, думаю, что придутся вам по пого.

Майор вытащил из-под кровати боксовые сапоги. Осмотрев их и смахнув с них пыль, он весело сказал:

— Поносил я их малость, но они еще хороши. Даже мягче стали и лучше на ноге сидят. Примерьте, не стесняйтесь. Если они вам подойдут, поменяемся.

В новых сапогах поручик неожиданно преобразился. Теперь он не казался повоиспеченным офицером, а скорее был похож на закаленного в боях командира. Майор проводил поручика Манева до двери и крепко пожал ему руку.

— Ну, в добрый час! — сказал он дружески. — Заходите в случае чего. Не забывайте.

Поручик Манев торопливо зашагал в указанном направлении. Перед складом в ожидании погрузки беспорядочно стояли подводы. Лошади сыто фыркали, размахивая подвешенными торбами с зерном. Возле них сноважи солдаты. Они, ласково похлопывая спины лошадей, покрывали их мешками. Над повозками носился знакомый запах павоза и сена.

Манев приблизился к группе солдат, которые о чем-то горячо и шумно спорили.

— Есть ли кто-нибудь из батальона майора Славчева? — спросил поручик.

— Какая рота вам пужна?

— Вторая.

Высокий солдат в шапке с опущенными наушниками и шинели с поднятым воротником, отчего лица его почти не было видно, серьезно ответил:

— Есть, есть, господин поручик!

И, повернувшись к повозкам, громко крикнул:

— Эй, вторая рота! Сюда!

В другом конце обоза кто-то недовольно отозвался:

— Погоди... Дело у меня тут.

— Оставьте его в покое, я сам к нему подойду, — сказал поручик, пробираясь между повозками.

Лошади поворачивали головы и кротко смотрели на него большими темными глазами. Хотя ему никогда не приходилось жить в деревне, теплый запах лошадей и сена странно его волновал. Манев, осторожно протягивая руку, поглаживал бархатные ноздри животных. Лошади

фыркали ему в ладонь и недовольно мотали головами. У подводы второй роты солдат затягивал подпруги и тихонько насвистывал какую-то песенку. Фигура его и мелодия показались Маневу странно знакомыми.

— Это ты из второй роты? — спросил он солдата.

Тот равнодушно посмотрел на подошедшего офицера, но в следующий момент лицо его прояснилось, и он воскликнул:

— Батюшки! Господин инженер!

Манев вдруг сообразил, в чем дело.

— Да ты ли это, Димитр? — обрадовался поручик.

Как приятно вдали от родины встретить близкого человека! Хотя в течение многих лет Манев ежедневно видел Димитра в машинном отделении, тот никогда не казался ему таким близким, как теперь. Маневу хотелось горячо пожать ему руку, похлопать по плечу, но он этого не сделал. Он и раньше не делал этого. Только глаза его, которые даже при разговоре с заместителем командира полка сохраняли спокойное, несколько холодное выражение, сейчас смотрели тепло и дружелюбно.

— Что ты здесь делаешь, господин инженер? — суетился солдат в радостном возбуждении.

— То, что и все, — воюю! — засмеялся Манев и с удивлением спросил: — Ты действительно из второй роты? Смотри какая случайность!

— А тебе она к чему, вторая рота, господин инженер? — спросил солдат и вдруг хлопнул себя по лбу. — Уж не посылают ли тебя к нам?

— Именно к вам! Айда, подвезешь меня, ладно?

— Вот это да! Хороший тебе достался кусочек, — сказал солдат, улыбаясь до ушей. — Ну что ж, поехали, у меня все готово... Только погоди, я сниму торбы...

Пока солдат возился с лошадьми, Манев с интересом наблюдал за ним. Солдатская форма изменила облик прежнего машиниста. Высокий, жилистый, он теперь казался каким-то менее самостоятельным, пеловким и даже немного жалким. Шинель на нем была короткая, и длинные руки смешно торчали из ее рукавов. Только лицо Димитра было все таким же почерневшим, худощавым и серьезным. Солдат обернулся.

— Готово, господин инженер! — усмехнулся он. — Садись...

Димитр, ловко лавируя между беспорядочно стоящими подводами, выехал на шоссе. Колеса затарахтели по уха-

танной снежной колее. Солнце поднялось высоко над домами. Понемногу таял снег. Из-за поворота неожиданно показался грузовик, и солдату пришлось резко свернуть на обочину.

— Когда ты научился так хорошо править лошадыми? — спросил Манев, после того как машина проехала.

— Войпа многому научит, — ответил солдат. — Сперва трудно было — то хомут не так падену, то подпруги перепутаю. Особенно долго не умел надевать уздечку. Никкак не удавалось продеть сквозь зубы проклятые железки. Все казалось, что лошади мне пальцы откусит.

Они засмеялись. Димитр достал из-за обшлага смятую пачку сигарет и предложил поручику.

— Давно из Болгарии? — спросил он.

— Только вчера вечером!

— Недавно, значит... Что у нас там новенького? Йордакиев все скрывается?

Манев усмехнулся. Речь шла о бывшем владельце завода.

— Стал время от времени показываться, — ответил поручик. — Ты бы посмотрел, какой он теперь любезный! Не сидит, как рапыше, по целым дням в кабинете, а спускается и вниз, к народу. Однажды я застал его даже в машинном отделении — похлопывает рабочих по плечу: товарищ то, товарищ это, а ребята, ясное дело, морщатся и в сторону от него...

— Ишь каналья! — присвистнул Димитр. — А этот хозяйский пес Стоянчо Власов?

— Мобилизовали его... да еще двух ребят со склада, и Николу Мандова.

— Как, и его взяли? Кто же теперь секретарем парткома?

— Стоян Деков...

Димитр подумал немного, а затем перешительно сказал:

— Да, неплохой человек... Только малость грубоват.

— Ничего, переменится. На ответственных постах люди другими становятся.

Димитр снова замолчал.

— А жена моя на заводе не появлялась, товарищ инженер? — смущенно спросил он.

— Да, чуть было не забыл! За два-три дня до того, как меня мобилизовали, она приходила получать деньги,

с маленьким была. Заходила и ко мне, говорила, что дома все благополучно...

Димитр слегка покраснел и, чтобы скрыть свое волнение, погнал лошадей. Повозка затряслась по неровному шоссе. Село осталось позади, и перед ними раскинулась заснеженная равнина. Тонкая ледяная корка ослепительно блестела под лучами солнца. Лишь кое-где темнели молодые перелески, словно черные кружева на снежной белизне.

В открытом поле дул холодный встречный ветер, и поручик Манев зябко кутался в шипель. Его сигарета то и дело затухала, и в конце концов он ее бросил. Лошади снова пошли шагом. Они шумно выдыхали белые клубы пара, который быстро исчезал на холодном зимнем воздухе.

— А фронт далеко? — спросил офицер.

— Километров пятнадцать будет, но рота ближе, в двух-трех километрах отсюда. Тебе, должно быть, сказали, что наш полк в резерве...

— Да, я знаю, — кивнул поручик и тут же серьезно спросил: — Теперь, Димитр, ты мне расскажи: что там у вас за вторая рота?..

Лицо солдата сразу же стало озабоченным и как будто выражало неловкость.

— По правде сказать, рота дрянная, товарищ инженер. Три раза проходил сборы, но таких расхлябанных пиде не встречал. На всем фронте таких не найдешь. Гляжу я на них — как будто и неплохие ребята, а ведут себя нехорошо. Нам почему-то с самой Болгарии не везет. Одевали роту последней, и досталось нам одно тряпье — чего другие брать не стали. Тем раздали фляги, ложки, каждому котелок, а мы втроем из одного должны есть. Кожушков не хватило и на полроты, котлы неуженные, потрескались — еще отравимся когда-нибудь. Перед походом раздали нам сухой паек, но следить же некому — съели мы его в два дня. Потом всю дорогу голодали и только смотрели, где бы чего стянуть...

— Как это «некому следить»? — нетерпеливо перебил его поручик. — Ротный-то у вас есть?

— Да что в нем толку! — сказал удрученно Димитр. — Другие командиры целый день бегают, чтобы получить положенное солдату, а наш все списки составляет — составляет их до тех пор, пока ничего не останется. Да и тут, на фронте, не лучше. Как привезут подарки из Бол-

гари, все получают, а нашей голытьбе — шиш. Прямо диву даешься! Посылки из дому и те не получаем как следует! Я уже с каких пор не имею писем от жены — оттого и беспокоюсь о ней...

Мапев задумчиво посмотрел на солдата:

— А тебе не приходило на ум, что все это неспроста?

— Не верится, — пробормотал Димитр. — К солдатам он отнесется неплохо, бережет их... Когда переходили через Дунай, бунтовать вздумали, хотели вернуться обратно. «Куда нас ведете? — спрашивают. — Немцев догнать? Прогнали из Болгарии, и довольно!» Если бы ротный не заступился, далеко бы дело зашло. Он даже у дивизионного побывал — знаком он с ним, — и все обошлось...

— Значит, по-твоему, он просто педотеса?

— Видать, так... Без понятия человек.

— А как он политически? Говорил с вами о положении в Болгарии, о войне?

— Нет, — покачал головой Димитр. — Он не из таких. Он все хочет, чтобы полегче да чтобы со всеми жить в ладу. Потому, видать, и на дисциплину не нажимает... сквозь пальцы на все смотрит...

— А другой офицер?

— И тот не лучше. Что поделаешь, товарищ инженер?.. Нет у нас пока хороших, добросовестных офицеров. Вот, может, у тебя дело пойдет на лад...

Мапев помолчал и задумчиво посмотрел на вспотевшие спины лошадей. Еще час назад он сгорал от терпения скорее попасть в роту и приняться за дело, а теперь сердце его сжалось. Немудреный, песколько упылый рассказ солдата, неожиданно вскрывший множество огорчительных неурядиц, сильно раздосадовал поручика. В своей прежней работе он привык пользоваться определенными материалами в оборудованной лаборатории, каждая пробирка имела свое место, каждый химикалий — определенную посуду с этикеткой. Мелочи повседневной жизни всегда его пугали и были ему неприятны. После разговора с заместителем командира полка по политчасти у него создалось впечатление, что его новая работа — это прежде всего работа с людьми и при этом необходимы такт и настойчивость, а тут оказывается, что ему предстоит заниматься нелужеными котлами, потерянными кружками, стоптанными солдатскими сапогами. Кто зна-

ет, все ли обстоит именно так, как рассказал Димитр? Может быть, и он поддался общему настроению, а может быть, просто многого не понимает.

Вскоре они въехали в село. Солнце стало пригревать сильнее, на защищенных от ветра улицах таял снег. По всему было видно, что совсем еще недавно здесь шли бои. В срубах домов зияли свежие дыры от пуль, осколков, тут и там виднелись разрушенные стены, сорванные двери, еще не почерневшие изломы ободранных деревьев. Посреди села стояло покосившееся разбитое зенитное орудие. Взрыв так протаранил пушечку, так раскурочил ее металлические конструкции, словно на нее внезапно обрушился чей-то огромный кулак. Димитр потянул вожжи, и повозка остановилась перед большим разгороженным двором.

— Тут я буду разгружаться, товарищ инженер, — сказал солдат. — Капцелярия роты воп в том доме, папротив. — И он указал кпутовищем на низенькую облупленную хибарку. — Только едва ли вы найдете там подпоручика...

— А ты побеспокойся, чтобы его нашли, и пусть сейчас же явится ко мне, — сказал Мапев. И в голосе его впервые зазвучал топ начальника.

— Слушаюсь, товарищ инженер...

Поручик Мапев соскочил с повозки и слегка усмехнулся.

— Я тебе больше не товарищ инженер, — заметил он, — а командир роты.

— Так точно, господин поручик, — ответил с серьезным видом Димитр.

Он стегнул лошадей, и повозка мягко затарахтела по грязной улице.

* * *

Этим утром, в девять часов, в роте должен был состояться «урок словесности», как в то время простые солдаты все еще называли политзанятия в армии. Бойцы жили в частных домах по всему селу, а па классные занятия собирались в одной из школьных комнат — просторном давно не мытом помещении, где единственной полезной вещью была огромная полугуговая, полукирпичная печка с причудливо извивающейся кафельной трубой. Большая часть парт была сломана и пошла на рас-

топку, а на тех, что чудом уцелели, сидеть было крайне трудно, так как они предназначались для самых младших школьнико́в. Весь пол с конца в конец был покрыт тонким слоем жидкой грязи, выбитые оконные стекла были заделаны оберточной бумагой, мешковиной или досками. В этом сумрачном помещении стоял тяжелый запах солдатских сапог и овчины; исходившее от печки тепло делало зловоние еще более нестерпимым. Но солдаты давно свыклись и с этой вонью, и с грязью, и с бездельем. В конце концов, в комнате было тепло, оживленно, тут порой можно было и повеселиться, сыграть в кости; иногда солдаты пускали по кругу добытую кем-нибудь флягу рации или просто-напросто кляли начальство, войну и свою горькую судьбину — почему именно им выпало на долю мыкать горе в этой далекой незнакомой стране...

Они уже прождали более получаса, а из офицеров никто не приходил. Присутствующие не могли припомнить случая, чтобы к ним на занятия заглянул когда-нибудь подпоручик Личев, а Нейков ограничивался тем, что читал им газету и растолковывал прочитанное как в голову взбредет. Лишь немногие его слушали, но и они либо морщились от его разглагольствований, либо хихикали, слыша довольно вздорные рассуждения своего командира по поводу мировых событий. У Алекси, одного из самых сообразительных солдат роты, в таких случаях глаза горели от негодования, в конце концов он вскакивал с места, задавал вопросы и сам брался объяснять. Было видно, что этот уже не очень молодой, тощий, костлявый человек с испытанным желчным лицом все понимает как надо, но говорил он скверно — заикался от волнения, в яростном возбуждении у него заплетался язык, и, в конце запутавшись, он уже не мог продолжать и начинал скулить, как злой пес. Подпоручик Нейков выслушивал его с рассеянным видом и досадой, потом сердито обрывал:

— То, что ты тут посеешь, Алекси, обычная пропаганда... Дело совсем в другом... Евреи...

В отчаянии Алекси таращил на него глаза и демонстративно затыкал пальцами уши. Стоял Тотев, солдат срочной службы, с красными, как пион, ушами, обычно сидевший рядом с Алекси, вертел головой и, достав коробку с сигаретами, писал на ее тыльной стороне красивым крупным почерком что-нибудь вроде: «Зря психуешь, разве не видишь, что он чокнутый!»

В это утро в помещении царяла необычная тишина — солдаты не играли ни в карты, ни в кости, не передавали из рук в руки фляги с крепкой ракией и даже не ссорились. И все же чувствовалась какая-то особая напряженность, которую словно бы порождали хмурые лица и мрачные взгляды солдат, короткие язвительные реплики, время от времени бросаемые то тем, то другим. Всех до предела взвинтило напрасное ожидание, и теперь, казалось, одного словечка было достаточно, чтобы разразилась буря — быть может, непродолжительная, но более свирепая, чем когда-либо.

Среди общей массы кислых, угрюмых физиономий лишь одна казалась на первый взгляд маленьким исключением. Рослый, немного сутулый солдат с умным лицом, с длинным посом и тонко изваянными поздрами, он сидел на парте в несколько артистической позе и тихопопко что-то наигрывал на губной гармонике. Из-под его грязной пилотки кокетливо падала на лоб как будто нарочно сделанная рыжеватая кудряшка. На соседней парте кое-как примостился грубый, мрачный верзила в короткой вылинявшей шинелишке, от которой исходил тяжелый кислый запах. Он писал письмо, и гармоника его раздражала, не давала сосредоточиться. Верзила несколько раз покосился на соседа ненавидящим взглядом и в конце концов не выдержал:

— Слушай, Бандера, ты замолчишь когда-нибудь?..

Бандера его не слышал или делал вид, что не слышит.

— Эй, тебе говорю, паразит проклятый!..

Бандера нехотя посмотрел в его сторону.

— Пиши, пиши, да какой толк в этом? — бросил он равнодушно.

И больше не обращая внимания на верзилу, снова заиграл на гармонике. Солдат смерил его яростным взглядом, сграбастал глиняную чернильницу и запустил ею в гармониста. Бандера чуть пригнулся, чернильница со звоном высадила одно из уцелевших стекол и вылетела наружу. Оба почти одновременно вскочили на ноги.

— Перестань, а то у меня до того накалило вот тут!.. — гневно предупредил верзила.

— А у меня, по-твоему, не накалило, скотина ты этакая?!

Они вцепились друг в друга, но находившийся рядом Алекси решительно бросился их разнимать.

— Бандера! — крикнул он с удивлением в голосе, оттаскивая его в сторону сухими цепкими руками. — Бандера, ты что, спятил?

— Я ему сейчас врежу, мать его разэтак! — кричал гармонист вне себя. — Ты где находишься?

Но сильные руки Алекси связывали его движения. С соседней парты встал и подошел к ним с презрительной усмешкой еще один солдат. Он был невысок ростом, в аккуратно подогнанном обмундировании, офицерских сапогах и чуть сдвинутой набок пилотке. У него были сицеватые губы, а правое веко, заметно приопущенное, придавало ему несколько небрежный и высокомерный вид.

— Оставь этих баранов, пускай бьются лбами, раз им так хочется! — пренебрежительно бросил он.

Алекси сердито посмотрел в его сторону.

— Дишо, давай-ка проваливай отсюда! — грубо осадил он его. — Бандера, дай сюда гармонику! Слышишь, что тебе говорят? Дай гармонику!

— С какой стати? — хрипло, но уже более умеренным тоном возразил Бандера.

— Отдай, говорю! Сказано, — значит, отдай!..

Бандера неожиданно присмирел и неохотно, ленивым движением протянул гармонику. Алекси тут же опустил ее в широкий карман своей шинели и хмуро потребовал:

— Садись! И ты тоже садись, Донуш! — обратился он к верзиле. — Как малые дети...

Бандера поглядел на него виновато.

— А что я ему сделал? — пробормотал он примирительно. — Играю себе, и только! Пускай злится на свою жену, я тут при чем? Нашел кого винить...

— Ты замолчишь или нет? — снова поднял голос Донуш.

Алекси глубоко вздохнул.

— Чудной народ, как вы не поймете того, что письма не доходят! — сказал он сердито. — При чем тут ваши жены?

— Здравствуйте пожалуйста! — презрительно бросил Дишев. — Теперь уже почта виновата!

— А ты там помалкивай! — с досадой сказал Алекси. — Почему же другие роты регулярно получают письма?

— А у нас разве не получают? Захар, скажи-ка этому придурку, сколько писем ты получил за все время?

Безбородый розовощекий толстячок презрительно плюнул на пол.

— Оставь ты их, пускай думают себе, что почта виновата! — насмешливо заметил он. — Может, от этого легче станет...

Дишев хихикнул от удовольствия.

— Ты ведь знаешь, Бандера, братушки ¹ народ непревередливый! — подмигнул он. — Им лишь бы баба! В питабе поговаривают, что в Софии расквартировано несколько советских дивизий. И все по частным домам!

Бандера нахмурился.

— Ты о своей позаботься, мою гадюку никто не тронет! — тихо пробубнил он. — Алекси, отдай мне гармопику...

Подсев к нему, Дишев по-приятельски положил ему руку на плечо:

— Не о гадюке речь, ты вот без подштанников останешься — все сносят без тебя! Вернешься — так и пасть нечего будет!

— Не беспокойся! — покосился на него Бандера. — Я к такой роскоши не привык.

Солдаты засмеялись. У печки поднялся со своего места рослый плечистый солдат крепкого сложения. Его круглое лицо казалось каким-то очень строгим и внушительным. Толстые потрескавшиеся губы солдата были крепко сжаты. В отличие от других обмундирование на нем было свежее, чистое, а салюги начищены до блеска. Не говоря ни слова, он исторопливо прошел вдоль комнаты и остановился перед Дишевым. Все затаили дыхание в ожидании, что же будет дальше. Все были уверены, что сейчас здоровяк схватит курьера за грудки и выбросит, как тряпку, на улицу. Дишев весь сник, самопадепности на его лице как не бывало.

— Ты мерзкий провокатор! — медленно, как бы взвешивая каждое слово, произнес солдат. — Жаль, что некому поставить тебя на место...

Дишев немного опомнился.

— Вам бы только угрожать! — пробормотал он.

— Я знаю, что таким, как ты, не по путру то, что братушки паходятся на нашей земле, — исторопливо продолжал солдат. — Но ничего не поделасшь, придется тебе терпеть!..

Дишев вдруг вышел из себя.

¹ Распространенное в Болгарии ласковое наименование русских солдат и вообще русских. — *Прим. пер.*

— Верно, не по нутру! — закричал он. — Что правда, то правда...

— Так бы и сказал! — насмешливо вставил солдат.

— Вот я и говорю! — не унимался Дишев. — Я врать не стану! По мне так пускай бы они были тут, на фронте, а не в тылу. А то выходит, что мы должны драться, а они тем временем будут забавляться с нашими женами. Все потому, что они нас освободили...

Донуш смерил его презрительным взглядом.

— Видал, Цено? — произнес он с мрачным видом.

Цено, как будто не слыша его, не сводил глаз с курьера.

— Соображаешь, что ты песешь, крыса ты этакая? Еще пороху не нюхал, а уже...

— Пусть не нюхал, но ты мне ответь, сколько мы своих похоронили в Среме? А ради чего? Я тебя спрашиваю — ради чего?..

— Ни за что ни про что! — отозвался Донуш.

Цено строго посмотрел в его сторону:

— Ты молчи там! Коли башка не варит, то хотя бы помалкивай!

— А, значит, только вы, коммунисты, соображаете, — продолжал ершиться Донуш. — А наше дело молчать, потому как мы барапы бессловесные? У меня тоже есть голова на плечах, и я кое-что соображаю. Кто их заставлял, понешних, втягивать нас в эту войну?

Видя, что страсти основательно накалились, в разговор поспешил вмешаться Алекси.

— Эх, Донуш, ну зачем тебе кривить душой, браток? — спросил он мягко. — Ты прекрасно знаешь, кто первым объявил войну Англии и Америке. А теперь мы должны раслачиваться за их грехи.

— Это скорее ты кривишь душой, Алекси! — подал голос Дишев. — Я и сам против монархии, но, что правда, то правда... Пока был жив царь, как он ни вертел, как ни мудрил, а войск на фронт не послал. А эти не успели дорваться до власти — и с места в карьер...

У Цено лицо вдруг сделалось каким-то желтым, а губы совсем побелели.

— Запомни, что ты сейчас сказал, Дишо! — предупредил он глухим голосом. — Запомни как следует!

— Вы только и знаете что запугивать людей! — мрачно ответил Дишев. — А вот бороться словом у вас кишка тонка!

— Зря ты прикидываешься таким паивным простачком! — продолжал Цено, как будто ничего не слыша. — Твою душопку я вижу насквозь. Ты и сам хорошо знаешь, за что мы воюем, только тебе это не по вкусу.

Голос его был до того жестким и устрашающим, что курьер опять струсил.

— Мне больше по вкусу сидеть дома да присматривать за женой и детьми! — примирительно заявил он. — Бросил их одних и не знаю, как они там, есть ли у них кусок хлеба, одеты ли...

— Ну будет тебе, Дишо! — насмешливо вставил Бандера. — У твоего батюшки целая бакалейная лавка имеется, как-нибудь перебыются...

— Не знаю, Бандера. Может, ее уже товарищи прибрали к рукам...

— Ах вот оно что, наконец-то ты выболтал, что таил в душе! — язвительно заметил Цено. — Бакалейка не даст тебе спать... Ты решил, что, если коммунисты выиграют войну, всему придет конец. Прощай тогда бакалейка, но видать хозяевам ни фабрик, ни банков. Вот что не дает тебе покоя...

В открывшейся двери появился Димитр. Лицо его было румяным, глаза блестели. Завидев его, Цено тут же умолк и тем же неторопливым шагом вернулся на свое место. Димитр с удивлением поглядел на притихших солдат, почесал небритую щеку и спросил:

— Что тут происходит?

— Ничего! — кисло ответил Бандера.

Цено уселся и даже головы не поднял. У Димитра пуще прежнего заблестели глаза, и он весело сказал:

— Ребята, у нас новый ротный командир!..

Однако на солдат эта новость не произвела никакого впечатления. Цено поднял глаза, посмотрел на него недоверчиво, но промолчал. У одного только Дишо лицо сделалось каким-то необычным, его приопущенное воко затрепетало.

— Откуда ты взял? — резко спросил он.

— Как откуда? Я сам его привез!

— Глупости! — все так же резко возразил Дишо.

Димитр заулыбался и возбужденно снял пилотку.

— Тебе, видать, новость не по душе, а? — лукаво подмигнул он. — Хочешь, пойди посмотри! Сейчас он в ротной канцелярии...

Дишев бросил злобный взгляд на солдата, вскочил с парты и торопливо зашагал к выходу.

* * *

Дверь ротной канцелярии была открыта, но внутри никого не оказалось. В маленькой холодной комнате царил беспорядок. На полу валялись окурки, коробки из-под сигарет, промасленная оберточная бумага. Судя по слою пыли, за столом давно не работали. На желтом листе картона красовалось большое чернильное пятно, которому чья-то рука придала форму женской головки. По всему листу были разбросаны нарисованные как будто с помощью трафарета женские профили и обнаженные балерины в различных позах. Нахмурившись, Манев рассматривал рисунки. Затем он выдвинул незапертый ящик стола. В нем валялись измятые списки роты. Офицер достал их и начал перелистывать. «Все списки составляет», — вспомнил он слова Димитра. Как видно, и это делалось спустя рукава. Фамилии солдат были пацарапаны пераборчиво, небрежно, одни были зачеркнуты, другие исправлены, во многих местах чернели жирные клаксы.

Манев сунул списки в карман шинели, подошел к окну и задумался. В эту минуту он испытывал к своему предшественнику глухую, смутную неприязнь. Что он за птица? Небрежность сверх границ. Только можно ли по всем этом усматривать всего лишь простую небрежность, не кроется ли тут что-нибудь другое? Манев постоял у окна минут десять, но, сообразив, что сюда может никто не прийти до конца дня, направился к выходу.

Сельские улицы были почти безлюдны, ни один солдат нигде не маячил. В соседнем дворе он заметил две распряженные повозки и сваленные в кучу ящики с патронами. После непродолжительного колебания поручик зашел во двор. Дом показался ему заброшенным, но в глубине двора виднелось большое складское помещение с распахнутой пастежь дверью. Какой-то одетый в лохмотья солдат пересек двор и, не отдав чести, побрел к выходу. Манев окликнул его. Солдат остановился в расслабленной позе.

— Что здесь такое? — спросил, нахмурившись, Манев.

Солдат без всякого интереса взглянул на его погоны:

— Вещевой склад, господин поручик...

— Чей? Ротный?

— Второй роты, господин поручик, — все так же пехотно ответил солдат.

— Есть кто-нибудь внутри?

Солдат посмотрел в сторону склада:

— Открыто там, господин поручик... Может, ротный фельдфебель туда зашел...

Поручик Манев зашагал к складу и вошел внутрь.

В помещении было чисто, светло, здесь стоял сильный запах нафталина и овчины. В глубине, за низеньким столиком, застланном белой бумагой, сидел молодой белобрысый унтер-офицер с тоненькими усиками и холерным лицом. На столе наряду с обычной солдатской едой Манев увидел сахар, масло, колбасу — вещи, редко встречающиеся на фронте. Унтер-офицер пришел в некоторое замешательство, сделал попытку встать, но остался на месте. Поручик Манев смерил его строгим взглядом.

— Встать! — сухо произнес он.

Унтер-офицер вздрогнул, мигом вскочил на ноги и отдал честь. Манев подошел поближе и еще раз сердито окинул глазами стол.

— Откуда у вас это? — резко спросил он.

Тщательно выбритая заискивающая физиономия фельдфебеля покраснела.

— Получил посылку из дому, господин поручик! — быстро сказал он, моргая белесыми ресницами.

— Венгерскую колбасу вам тоже прислали из дому?

— Колбасу купил здесь, — ответил фельдфебель с таким невинным видом, что невольно возникало сомнение в его невинности.

— Bravo! — воскликнул поручик с иронией. — Вы, не иначе, получаете полковничье жалованье. А что в вашей фляге?

— Вино, господин поручик...

— Так... вино! Неплохой у вас обед, ничего не скажешь! Только с завтрашнего дня вы будете питаться вместе с солдатами, вам ясно?

Лицо унтер-офицера опять залилось краской, его глаза глядели враждебно.

— Извините, господин поручик, но мне имеет право приказывать только командир роты! — возразил он недовольно.

— Вы тоже извините, но я ваш новый командир роты! — съехидничал поручик, не спуская глаз с фельдфебеля.

Унтер-офицер вздрогнул, его фигура сразу же обрела подобающую выправку.

— Господин поручик...

— Где другие офицеры? — прервал его Манев.

— В канцелярии, господин поручик...

— В канцелярии никого нет... Да еще и дверь оказалась незапертой...

Унтер-офицер весь побагровел. В этот трудный момент как будто само небо пришло ему на помощь — на пороге вырос Дишев и четко козырнул.

— Господин поручик, разрешите присутствовать?

Манев кивнул и снова обратился к унтер-офицеру:

— Ступайте разыщите их!.. Пускай немедленно идут сюда!

Унтер-офицер щелкнул каблуками и пулей устремился к выходу. Дишев едва успел уступить ему дорогу. После всех огорчений и неприятностей поручик вдруг почувствовал, как его разбирает смех, и, чтобы скрыть улыбку, даже отвернулся на мгновение. Когда же он снова посмотрел в сторону выхода, солдат все еще стоял на прежнем месте.

— Вы что хотели? — спросил уже иным голосом Манев, хотя несколько перекошенная неприятная физиономия солдата вовсе не внушала ему симпатии.

— Я ничего, господин поручик, за почтой пришел...

— Вы курьер?

— Так точно, господин поручик...

Манев поглядел на него с любопытством и невольно обратил внимание на хороший внешний вид солдата.

— Ну как, почта приходит регулярно?

— Так точно, господин поручик...

— Газеты получаете?

— Так точно, получаем...

— А кто подарки получал?

Курьер явно смутился.

— Подарки?.. — промямлил он.

— Да-да!.. Подарки с родины...

— Подарков я не получал, господин поручик...

— Почему?.. Ведь это ваше дело...

— Так точно, господин поручик...

— Что «так точно»? Почему вы не получали подарки?

Дишев мучительно вздохнул:

— Нам их не давали, господин поручик... Вы же знаете, что за бюрократы в штабах... Сколько я ни просил — пельзя, говорят... Будто бы мы не представили каких-то там списков.

— Что значит «каких-то там»?

— Откуда мне известно?.. Чтобы знать, кому сколько положено...

Поручик Манев снова помрачнел.

— Какие такие бюрократы! — сердито заметил он. — Без списков туда и ходить нечего... А почему вы их не составили?

— Это не моя обязанность, господин поручик... Я курьер.

Поглядев пристальным взглядом на солдата, поручик Манев молча прошелся по складу. Лицо его было напряжено, под нахмуренными бровями карие глаза совсем не были видны.

— Где ваша разносная книга? — неожиданно спросил он.

Курьер заморгал глазами:

— Она не у меня, господин поручик... Я забыл ее в ротной канцелярии.

Манев круто повернулся в его сторону:

— Я только что оттуда... Никакой книги там нет.

— Тогда я, наверно, забыл ее дома...

— Как вы можете не знать, где находится книга? — пегодующе спросил офицер. — Ступайте и сейчас же принесите ее мне.

Как только солдат удалился, поручик Манев, изводимый приятным запахом колбасы, тут же присел к фельдфебельскому столику. Он уже и вкуса колбасных изделий не помнил, наверно, годами не приходилось есть ничего подобного. Ему вдруг ужасно захотелось протянуть руку, взять ближайший ломтик и скорее сунуть его в рот. Это неожиданное властное желание настолько разбредило его душу, что он встал с мрачным видом из-за стола и пошел к окну. По двору со стороны улицы вышагивал стройный, подтянутый офицер. Он был без шинели, в одной куртке и в щегольской офицерской фуражке вместо положенной суконной пилотки; плечи его были слегка приподняты, руки — в карманах галифе. Красивое, с тонкими

чертами лицо казалось озабоченным. Он спешил. Неизвестно почему, но Манев угадал в нем подпоручика Личева, хотя внешний вид, выправка и подтянутость офицера не имели ничего общего с тем, как его описал Димитр. Когда он подошел совсем близко, поручик заметил, что красивое лицо офицера было надменно и неприятно.

За дверью послышался стук. Офицер вошел, и Манев был крайне удивлен резкой переменой в его выражении: на лице подпоручика не осталось и следа озабоченности или надменности, оно расплылось в широкую фамильярную улыбку.

— Здравствуйте, коллега!

— Здравствуйте, — как бы не своим голосом ответил Манев.

«Вот тебе и па! — тотчас же подумал он. — С самого начала поблажка. Какой он мне коллега? Почему я считаю неудобным и с ним держаться как с другими?» Он нахмурился.

— Я новый командир роты, — сказал он сухо. — Моя фамилия Манев...

— Да-да, я узнал от солдат о вашем приезде, — по-прежнему широко улыбаясь, сказал офицер. — Присядьте, почему вы не садитесь?

Не успев Манев опомниться, как Личев приблизился к нему и сердечно подал ему руку. Поручик протянул свою, и единственным его утешением было то, что он пожал руку Личева не слишком сильно.

— Подпоручик Личев, — сказал он, — когда я пошел в ротную канцелярию, дверь оказалась незапертой. Это недопустимо! В нашем столе валялись списки личного состава, служебные документы!..

На лицо подпоручика Личева легла едва заметная тепь, во взгляде блеснул огонек.

— Ладно, коллега, кому они пужбы, мои списки... Да и сам я оставался тут, поблизости. Кто их возьмет...

— А вот я зашел и взял! — нахмурился Манев. Он сунул руку в карман шинели, вынул списки и небрежным движением подал их подпоручику. — Заберите их, — добавил Манев. — На моем месте мог оказаться командир полка... Какое впечатление сложилось бы у него о вас?..

— О, да вы, я вижу, несколько не щадите свои нервы, коллега! — полудобродушно, полуназидательно заметил подпоручик с деланной улыбкой. — Вас надолго не хватит.

— Что это за «коллега»! — вскипел поручик. — Подобного обращения в армии нет! Прошу помнить, что я человек дисциплины. Вы до сих пор не представились мне.

Лицо подпоручика резко изменилось, улыбка исчезла. Щелкнув подчеркнута сильно каблуками, он поднес руку к козырьку и отрапортовал:

— Господин поручик, представляется помощник командира второй роты подпоручик Васил Личев.

Поручик взглянул на него исподлобья и сказал:

— Ваша фуражка не по форме. Здесь всем офицерам положено носить пилотку.

Личев обиженно молчал.

— Вам ясно? — строго спросил командир.

— Так точно, господин поручик...

— Опустите руку...

В комнате вдруг стало темнее: кто-то остановился на пороге. Командир поднял глаза и увидел перед собой толстенького белокурого подпоручика с довольным лицом, на котором выступил пот. Его светлые глаза смотрели дружелюбно.

— Командир первого взвода подпоручик Нейков, — отрапортовал он, тяжело дыша, после чего широким, несколько театральным шагом приблизился к командиру роты и сердечно потряс ему руку. — Добро пожаловать, господин поручик...

— Благодарю, — мягко, но сдержанно ответил командир роты и замолчал, испытывая какую-то неловкость.

Подпоручик Нейков поглядел на присутствующих и, увидев возбужденные лица, смущенно спросил:

— Что здесь происходит?

Ему никто не ответил. Командир роты повернулся к Личеву и сказал:

— А теперь идите строить роту для осмотра...

Козырнув, подпоручик Личев направился к двери. Нейков попытался глазами спросить у него, что происходит, но тот лишь нахмурился и ускорил шаг. Этот немой разговор не остался незамеченным для поручика Манева, и он с трудом подавил усмешку.

— Где вы были все утро? — спросил он сдержанно.

На лице офицера отразилось минутное замешательство и удивление. Раскрыв рот, он запнулся, но все же сумел кое-как ответить:

— Я? Да я... в бане был, господин поручик... Воспользовался тем, что хозяйева затопили баню...

Поручик бросил взгляд на сухие волосы Нейкова и о досаде тихо заметил:

— А разве вы, купаясь в бане, не моете голову?

— Мою, конечно, — смущенно промямлил Нейков.

— В этот раз вы про нее забыли...

— Господин поручик...

— Послушайте, Нейков, — прервал его командир роты, — офицеры в воинской части должны относиться друг к другу по-товарищески, корректно, искренне...

— Об этом каждый знает, господин поручик.

— Хорошо, что знает, но не мешало бы, чтобы каждый следовал этому... А солдаты где моются? Есть у вас ротная баня?

Нейков пожал плечами:

— Специально для роты бани не имеется... Солдаты моются по домам, где расквартированы...

— Вы это контролируете?

— О таких вещах должен заботиться ротный фельд-фебель.

— Интересное дело! — снова пахмурился Манев. — С кем ни заговорю, каждый ссылается на другого. Куда это годится, Нейков!.. Я вам поручаю до конца недели организовать ротную баню... И вы лично будете следить за тем, чтобы солдаты регулярно мылись.

— Слушаюсь, господин поручик...

— Теперь садитесь...

Нейков с опаской сел и тотчас же впился взглядом в аккуратно нарезанную венгерскую колбасу. Манев усмехнулся.

— Можете отведать! — сказал он. — Все равно это куплено на деньги, украденные из ротной кассы...

Нейков с надеждой посмотрел на просветлевшее лицо командира роты и охотно выбрал кусочек побольше.

— Я знаю, что он ворюга, — выговорил Нейков с переполненным ртом, — но как его поймаешь?

— Вы сами откуда?

— Из Плевны, господин поручик.

— А чем занимались на гражданке?

— Чиновником в банке был... Десять годков...

— Недурно! — кивнул поручик. — Вы женаты?

— О, бог миловал... Какой мне интерес связываться с одной, когда мне могут принадлежать все...

Манев взглянул на его пухленькое, немного смешное лицо — видом своим он меньше всего был похож на во-

локиту — и снова повеселел. Все! Не многовато ли для него?

— Этому правилу вы следуете и здесь, в Венгрии? — спросил он с некоторой осторожностью.

До Нейкова не дошло.

— Как вам сказать, господин поручик... Где как повезет.

— Так... Ну а ежели какая пожалуется?.. Вам тогда не позавидуешь.

— А-а-а, господин поручик, об этом не может быть и речи... Я предпочитаю атаковать мягко...

— Как это понять? — едва заметно усмехнулся Манев.

— Хм, как бы это вам объяснить... Вся штука в том, чтобы путь к цели получше вымостить... Чем-нибудь мягким, конечно... Например, маслом или пайковым сыром... Здешние женщины не то что наши, болгарки, господин поручик... Наши колючи и хитры, а эти нежны, впечатлительны...

— Впечатлительны, значит?..

— Да, впечатлительны и сентиментальны... Главное, суметь убедить ее в своих добрых чувствах и намерениях...

— А обещание жениться входит в вашу «военную доктрину»?

У Нейкова чуть глаза не вылезли из орбит от слов начальника.

— Ни в коем случае! — с жаром воскликнул он. — Наоборот, твержу им, будто я женат. Все чин чинном, господин поручик...

В ходе своего рассказа Нейков успел намазать маслом солидный кусок хлеба. Целиком сунув его в рот, он, преодолев минутную нерешительность, присовокупил к этому еще одну порцию колбасы. Щеки его раздулись, глаза полезли на лоб от напряжения. Дождавшись, пока Нейков справится с затруднением, Манев осторожно спросил:

— А как Личев, он тоже сторонник мягких атак?.. Или наоборот...

Вместе с приманкой Нейков проглотил и крючок.

— Нет, он не по этой части... Человек он скрытный, понять его не так просто... Но стоит сунуть ему в руки пять карт да стопку коньяку — и все остальное его уже не интересует...

— Как это «пять карт»? — не понял Манев.
— Покер...
— Ага!.. А кем он работал в мирное время?
— Не знаю, господин поручик...
— Как так не знаете?.. Разве вы его не спрашивали?

— Спросил раз-другой, но он отмалчивается... А потом, господин поручик, не каждый доволен своей профессией...

Нейков снова потянулся к колбасе. Манев смотрел на него не без тревоги — подчистит все до последней крошки, а потом унтер-офицер пустит слух, что они вдвоем позаботились о его завтраке.

— Пойдем, Нейков! — сказал он мягко. — Рота нас ждет.

Они вышли из помещения. После приятного складского сумрака, в глаза им ударил ослепительный блеск нарастающего снега. С юга дул теплый ветерок — робкий предвестник еще далекой весны.

* * *

Рота была построена на школьном дворе. Подойдя к строю, поручик Манев сразу заметил, насколько оборваны и неопрятны были солдаты. Шинели на них были легкие, изпошепные, рваные, пилютки мятые, многие стояли в строю без ремней. Но самое удручающее впечатление производили их сапоги: один больше, другой меньше, либо чересчур велики, либо непариные, либо вконец прохудившиеся, либо с распоротыми и кое-как заштопанными голенищами и все ужасно заскорузлые, грязные. У поручика сжалось сердце. «Видимо, смирились со своим положением!» — подумал он и вновь почувствовал, как в душе у него парастает злоба против этого чопорного офицера, который с какой-то досадой надменно командует с фланга:

— Рота-а-а, смирно! Равнение направо!

Поручик Манев заметил, что солдаты выстроились плохо. Все еще злой, он подошел к флангу, взглянул, прищурив глаз, и сухо сказал:

— Выровняйте шеренги, подпоручик!

Личев слегка побледнел. Это был первый удар по его авторитету, нанесенный ему перед строем! Не проронив ни слова, он отвернулся и грубо скомандовал:

— Равняйся!

Командир отошел и, стоя перед ротой, молча, как бы изучая, рассматривал каждого солдата. Он встречал взгляды в большинстве своем холодные, пустые, иногда полные злорадства, и лишь некоторые из них обнаруживали простое, наивное любопытство и тайную надежду.

— Здравствуйте, солдаты! — поздоровался поручик громко и отчетливо.

Рота ответила недружно и вяло.

Немного помолчав, командир повторил еще громче.

— Здравствуйте, солдаты!

— Здравия желаем, господин поручик!

На этот раз отдельные голоса прозвучали сильнее, но общее впечатление было таким же безрадостным.

— Здравствуйте, солдаты! — пенного первичая, по-дворовался он в третий раз.

Голос поручика разбился о стену равнодушия и озлобления. Солдаты ответили так же, как и прежде.

— Плохо! — невольно вырвалось у командира. — Очень плохо отвечаете! — повторил он. — Зря родина гордится вами. По всей Болгарии — на митингах, в газетах, в речах — всюду говорят о героизме болгарского солдата, о его выносливости и хорошей дисциплине. Вся страна думает, заботится о вас, трудится для вас, отдаст вам всю свою любовь. Даже дети целые дни собирают и готовят подарки... И все это для вас, воинов, которые сражаются здесь за их счастливое будущее...

И тут Манев почувствовал, как несубедительно звучат его слова перед этими оборванными, всеми забытыми солдатами, и, нахмурившись, умолк. Мгновение помолчав, он продолжал более спокойным голосом:

— Я ваш новый командир. Буду заботиться о вас и стараться, чтобы вы имели все необходимое, но и в то же время я буду требовать, чтобы каждый из вас был настоящим солдатом и знал свое дело. Понятно?

— Так точно, господин поручик! — по-прежнему пешотно и вяло ответила рота.

Манева внезапно охватило чувство неприязни к роте, которая не уступала ни на йоту в своей апатии и враждебности, проявляя при этом такое единство и сплоченность. Может, лучше распустить их немедленно? А может, пайти способ и им досадить чем-нибудь? Не подавая команды «Вольно», Манев все еще прохаживался перед фронтом подразделения и всматривался педидящими гла-

зами в солдат. Вдруг ему на глаза попало нечто такое, что побудило его остановиться. Перед ним стоял необыкновенно оборванный солдат — не солдат, а сущее чучело: широкая ветхая шинель без ремня и без пуговиц, подошвы отстали, не в меру большая пилотка сдвинулась чуть ли не на глаза. Простенькое, паявно-добродушное лицо солдата было каким-то грязно-бурым, какие бывают у последних бедняков, измученных крестьянской неволей. Заметив, что поручик уставился на него, солдат вместо груди выпятил живот и смешно вытаращил водянистые глаза.

— Как тебя звать? — спросил, нахмурившись, Манев.

— Рядовой Ристо Младенев, господин поручик! — старательно высоким альтом ответил солдат, однако это его старание при такой внешности казалось шутовством.

Манев подозрительно смерил его взглядом и сухо сказал:

— Слушай, Ристо, если бы я знал, что ты окажешься в моей роте, я бы ни за что не стал ее принимать.

— Почему, господин поручик? — паявно спросил солдат.

— Ну посмотри, на кого ты похож!.. Случись как-нибудь, увидит тебя маршал Толбухин, он всю вашу армию фуганет с фронта... — Кое-где в строю послышался громкий хохот. Поручик обернулся к Личеву и сердито заметил: — Я удивляюсь, подпоручик Личев, как вы можете терпеть в роте такого солдата...

Подпоручик скривил губы в презрительной усмешке:

— На Ристо, господин поручик, и генеральский мундир напялите — он все равно...

Манев снова перенес взгляд на солдата, и сердце его дрогнуло — водянистые глаза Ристо наполнились влагой, нижняя губа слегка подрагивала.

— Знайте, господин поручик, что Ристо Младенев готов пролить за матушку-Болгарию всю свою кровь! — заявил он громко и отчетливо. — И маршалу Толбухину я скажу то же самое, повстречайся я с ним...

В его голосе было столько неподдельной горечи и скрытой гордости, что поручик Манев невольно почувствовал стыд.

— Молодец, Ристо, отвечаешь как настоящий солдат! — сказал он с серьезным видом. — Но почему ты не приведешь себя в порядок, как подобает солдату? Неужели это так трудно?..

— Чем я виноват, господин поручик? Списки всему причиной...

— Какие списки?

— Разные, господин поручик... Пока мы их утрясем, пожалуй, и война кончится...

В строю снова пробежал хохоток. Какой-то солдат, стоявший по правую руку от Ристо, сердито подал голос:

— Ристо прав, господи поручик... Обмундирование до того рваное, что его уже не починишь... Да и печем...

Поручик Манев поглядел на солдата. На фоне этой оборванной, запущенной роты он казался необыкновенно чистеньким и подтянутым.

— Как тебя зовут?

— Ефрейтор Цено Георгиев Крыстев, господин поручик.

— Так! А почему же у тебя обмундирование не рваное и чистое?

— У меня другое дело, господин поручик. Мне его выдали раньше других.

Манев снова осмотрел солдата с ног до головы:

— М-да! Жалы! Такой примерный солдат... аккуратный, подтянутый!

Цено несколько удивили слова командира.

— Да, жаль, ефрейтор Крыстев... Настоящий солдат не станет так поступать. Не станет разговаривать в строю, коль его не спрашивают.

После некоторого колебания Цено отчеканил:

— Так точно, виноват, господин поручик.

Как это ни странно, создавшееся поначалу гнетущее впечатление развеялось; и поручик Манев вдруг приободрился, настроение у него улучшилось. Сделав несколько шагов назад, он в последний раз окинул взглядом роту и скомандовал:

— Разойдись!..

Солдаты бросились врассыпную. Лишь один из них остался на месте, даже не шелохнувшись, — Ристо Младенев. Вид у него по-прежнему был печальный и обиженный, в его взгляде было что-то трогательное. Поручик Манев снова ощутил в душе горечь, затем его неожиданно переполнило чувство жалости. Какой же он после этого коммунист? Последнего бедолагу в роте обидеть! Они смотрели друг на друга, затем, сам того не сознавая, Манев поближе подошел к солдату. Чем его утешить? Вдруг в его голове мелькнула озорная мысль.

— Слушай-ка, Ристо, — сказал он, — хочешь, я возьму тебя в ординарцы?

— Кого? Меня? — недоверчиво спросил солдат; от радости лицо его под густой щетиной даже покраснело. — Мне пойти к тебе ординарцем? А почему бы и нет? Лучше меня не найдешь. Я это дело знаю. Бывало, приеду с поля — и хлеб замешу, и чорбу¹ сварю — все могу...

— Ты что же, холостяк?

— Какой там холостяк! Женат, и детишки имеются... Только вот Тодора моя с ленцой, потому мне и достается, горемыке... Так всегда бывает, когда жена работать не любит...

— И давно ты женат?

— Моему старшему сыну тринадцать скоро... На семнадцатом году женился, а Тодоре тогда уж двадцать два было...

— Ну ладно, приходи после обеда ко мне на квартиру.

Даже не козырнув, Ристо повернулся кругом и чуть было не пустился бежать от радости. Взмолнованный и растроганный, не вполне сознавая, чем именно, поручик Мапнев проводил его взглядом.

* * *

Как условились, поручик Мапнев застал офицеров и фельдфебеля в ротной канцелярии. Видя его нахмуренное лицо, подпоручик Личев полузабоченно, полусмущливо сказал:

— Вы и вправду портите себе первые, господин поручик.

— Какие первые!

— Мне кажется, вы слишком многого требуете от солдат. Сейчас война, и с ними следовало бы обходиться помягче... Завтра рота вступит в бой. Может ли человек знать, где его ждет пуля?

— Офицер не имеет права рассуждать подобным образом! — прервал его командир роты.

Подпоручик Личев покачал головой.

— С тех пор как прибыли сюда, вы без конца скапдадите! — пробормотал он с досадой в голосе. — Не знаю, если и дальше так будет идти служба...

¹ Чорба — похлебка, суп. — Прим. пер.

— А до сих пор без скандалов она и вовсе не шла, — ответил Манев. — Дайте мне вещевые ведомости...

Фельдфебель мигом подал ему их. Бумаги лежали в новой зеленой папке; все было разложено в определенном порядке, описано, пронумеровано. Манев молча пролистал документы и поднял глаза.

— Выходит, — медленно заговорил он, — на складе имеется двадцать курток, двадцать пар брюк, двадцать шинелей, двадцать пять совершенно новых сапог. И что там еще... да два солдатских котелка, пилотки, шестнадцать кожушков...

— Так точно, господин поручик, — подтвердил унтер-офицер.

— ... а солдаты ходят как нищие, — закончил Манев.

Подпоручик Личев поклонился в его сторону и доверительно сказал:

— Эти вещи нельзя раздавать без разрешения командира полка.

— А вы обращались к нему за разрешением?

— Все эти вещи лишь на крайний случай, господин поручик.

— А разве это не крайний случай, когда солдаты ходят чуть ли не босиком и мерзнут в жалких шинелишках?

Фельдфебель почтительно молчал. Подпоручик Личев пожал плечами:

— Везде такое же положение! Государство наше бедное, мы обязаны проявлять бережливость во всем, особенно когда дело касается обмундирования. В конце концов мы на войне, а не на военном параде.

Поручик Манев почувствовал, как у него к голове прилила кровь, однако, овладев собой, он неторопливо заметил:

— Я вижу, как вы печетесь об интересах государства, подпоручик Личев. Да и о солдатах.

— Господин поручик, как раз в этом отношении я могу приять ваши упреки. Я действительно забочусь о солдатах. Это вам подтвердит любой из них.

— Как-то чудно выглядят ваши заботы.

— Что значит «чудно»? — вспыхнул Личев.

— Или, во всяком случае, весьма своеобразно... Что это за история с подарками? Вторая рота единственная до сих пор не получала подарков, и только потому, что вы не представили списков.

— Простите, господин поручик, но я не ротный писарь. Это дело унтер-офицера.

— А вы дали ему указание, чтобы он их составил?

— Неужели и в этом случае нужно указание? Это же его обязанности!

Манев вдруг почувствовал, что весь этот разговор лишен всякого смысла. Виновные ссылались друг на друга, без конца оправдывались, а толку никакого. Немного помолчав, он сухо сказал:

— Как бы там ни было, но я требую завтра же исправить это дело. Списки должны быть готовы сегодня, а завтра Дишев должен поехать в штаб полка и получить подарки.

Где-то на краю села заиграл горн. Подпоручик взглянул на часы и с удивлением воскликнул:

— Да ведь уже обед! — Его полное лицо засияло от удовольствия. — Пойдемте, я провожу вас в столовую, господин поручик, — добавил он. — Я только что проходил мимо, там сегодня можно недурно пообедать. Нужно спешить, на фронте не то что в тылу. Чуть опоздал — глядишь, все, что получше, уже съели.

* * *

Давно солдаты не видели Ристо в таком радостном возбуждении. После того как он похвастался чуть ли не перед всем селом, что новый командир назначил его своим ординарцем, он решил наконец, что пора ему как-то вступать в свою должность, а то получится, что дальше разговоров дело не пошло. Вступать — только как? Чем они занимаются, ординарцы? Ристо кое-что знал об этом еще со старых времен — топят печки, чистят сапоги. Но беда состояла в том, что у поручика была всего одна пара сапог — та, в которой он ходил, — а печки у него вовсе не было. Ристо прибежал, запыхавшийся, к фельдфебелю и не оставлял его в покое до тех пор, пока для командира роты не была найдена квартира.

В сущности, квартира оказалась неплохой — окна в порядке, пол покрыт линолеумом, печка, хороший письменный стол. Ристо прибыл сюда с охапкой пакетов — фельдфебель позаботился, чтобы командиру роты выдали авансом офицерский паек, на который тот мог рассчитывать лишь неделю спустя. Свалив пакеты на стол, Ристо придирчивым взглядом посмотрел вокруг. «Да, квартира

что надо, — рассуждал он про себя. — Только уж больно грязно, окпа давно не мытые, а главное, холодно, как и могиле».

В это время на пороге появилась хозяйка. Они долго смотрели друг на друга, притом с явным неодобрением. У хозяйки не было ни малейшей причины восторгаться оборванным солдатом, который таращил во все стороны свои водянистые глаза. Но и она не поправилась Ристо. Показалась ему слишком худюющей, держалась по-городскому, с ее сухого деревянного лица смотрели глубокие голодные глаза. Хозяйка первая заговорила сильным, певчего скрипучим голосом:

— Нем катопай... Офицер, офицер...

Должно быть, она ошиблась, припав Ристо за нового квартиранта, а своим видом он никак не походил на офицера. Не появив ее, солдат неодобрительно покачал головой.

— Сказать по правде, ты, как видно, немножко с ленцой, госпожа! — пробормотал он. — Как встанешь завтра утром, подмети у него пол, растопи печку...

— Вас?

— Печку, говорю, печку у него растопи. Человек вернется с учений, ему надо согреться. Или у вас нет дров? А? Дров нет?

— Не панимай! — строго сказала хозяйка.

— А что значит «дерево», понимаешь? Тогда что же ты понимаешь? Ну дерево, госпожа? По-русски — дерево. Деревя зеленые, — добавил он на песенный лад.

Однако и это не помогло. Ристо, уже теряя терпение, припался объяснять слово «по-немецки», как шутили солдаты: плавным движением рук он обрисовал сперва ствол, а затем крону.

— Дерево!

— Не панимай!

Ристо почесал в затылке и начал снова: поплевал па руки, схватил воображаемый топор и стал рубить с таким жаром, что рассекаемый воздух чуть ли не свистел. Хозяйка вдруг просияла.

— А-а-а, панимай, панимай!

Наколов дров, Ристо растопил печку и, довольный, поглядел на хозяйку, которая все еще наблюдала за ним с порога. Она впиалась взглядом в спички, остававшиеся в руках у Ристо.

— Шибца! — воскликнула она.

— Слички? — догадался на сей раз Ристо. — Ладно, забирай, где паша не пропадала... Имей в виду, хозяйка, что мы, болгары, народ не прижимистый. Особенно с иностранцами. Ежели по-хорошему, то последние пожитки можешь вынести у нас из дому, вот как! Такой у нас характер!

Пока он подметал комнату, пришел поручик Мапев, глубоко задумчивый, брови опущенные. Увидев офицера, хозяйка обрадовалась, сообразила наконец, что к чему. И Ристо с каким-то гостеприимством заулыбался ему по-свойски.

— Ты почему честь не отдаешь? — спросил Мапев, расстегивая ремешь.

— Нешто и на войне честь отдавать положено? — удивился Ристо.

— А как же иначе?

— А я думал, раз войпа... Да и подпоручик на это смотрит сквозь пальцы — если кто и отдаст честь, он не отвечает.

— А теперь будет иной порядок, так что имей в виду... Ты меня дождался?

— Не то чтоб дождался — продукты принес, господин поручик. Потом решил подмести малость, печку растопить...

— Что за продукты?

— Да там маслице, кашкавал... Офицерам, господин поручик, дают добавочно. Штаб велит или еще кто, не знаю, по их подмазывают... Да оно и понятно. Не так-то легко командовать...

Поручик опять слегка нахмурил брови:

— А солдатам дают?

— Солдаты и чорбой будут сыты, лишь бы годилась.

Мапев перевел взгляд на хозяйку, которая все еще стояла на пороге и следила за ними голодными глазами. Улыбнувшись едва заметно, он взял со стола пакеты и вежливо спросил:

— Вы говорите по-немецки, госпожа?

— О да, разумеется! Очень хорошо! — ответила она, при этом лицо ее оживилось.

— Возьмите эти продукты! Мне они не пужны!

Хозяйка смотрела на него с растерянным видом:

— Это вы мне? Не стоит, господин офицер...

— Ничего, возьмите... Себе или вашим детям...

Припав от него пакеты, растроганная хозяйка с тру-

дом сдержала слезы. Явно огорченный Ристо проводил ее чуть ли не злобным взглядом и тихо вздохнул:

— Вот те и на, плакали наши продукты! Хоть бы кашкавал оставил! На пустом чае не шибко сможешь ротой командовать...

Черты лица поручика сделались какими-то особенно мягкими, в глазах таилась улыбка. Он подошел поближе к печке и протянул к ней озябшие руки.

— Смотри, когда печка греет, получается совсем неплохо, — тихо сказал Манев.

— Еще бы, господи поручик! — оживился Ристо. — В деревне, пока не съедим поросенка, я от печки ни на шаг. Как раз в эту пору прикапчиваем последний кусочек, господи поручик. Остатки сладки... Не то что напая понючая чорба...

— Как то есть понючая? — рассеянно спросил Манев.

— Воняет нафталином, да так, что с души воротит!.. Ты ведь знаешь, мы, болгары, больно хорошо шевелим мозгами, оттого и страдаем!.. В интендантстве, видать, сгруппили и пасыпали соли в мешки из-под нафталина... После этого от чорбы разит нафталином, да так...

— И сегодня пользовались той солью?

— А то как же?.. Уже целую неделю!..

Лицо командира снова сделалось холодным и мрачным. Он повернулся и поглядел на своего ординарца с таким подовольством, словно Ристо был во всем виноват.

— А Личев знает об этом?

Ристо забеспокоился — как ответить на этот вопрос?

— Трудно сказать, господи поручик, — перешительно ответил солдат. — Попробуй кто-нибудь ему пожаловаться! Как-то раз пошел я к нему по одному делу, так он меня тут же прогнал...

— По какому делу?

— Может, ты, господи поручик, смеяться будешь, но ничего смешного тут нет... Я ведь говорил тебе, что меня зовут Ристо... Ну вот, а тут мне в насмешку придумали прозвище — Ристо Жаба. Как это им в голову взбрело, чуть что — Жаба... Допекло меня... Опять же в роте есть мои земляки — запросто раззвонят по селу... Ты не мог бы сказать им, чтобы они оставили меня в покое? Я им не мальчишка, чтобы мне всякие прозвища давать...

Лицо Манева снова смягчила улыбка.

— Ладно, скажу, Ристо, успокойся! — серьезно ответил он.

Ристо взглянул на него с немой собачьей признательностью.

— Я знал, что у тебя добрая душа! — вздохнул он. Потом, задержав на нем пристальный взгляд, добавил: — А главное, господин поручик, доведи дело до конца. Этих хапуг ты должен изловить всех до единого...

— Каких хапуг?

— Как каких? Что твой Дипшо, что фельдфебель... Мигом сообразят, ежели что плохо лежит.

Манев не совсем расслышал и в недоумении поднял брови:

— Как ты сказал?

— Крадут, господин поручик! Крадут и акты составляют! А уж повар — так тот в этом деле всех переплюнул. Хоть бы стряпать умел как падо, а то... А ведь в роте, господин поручик, имеется настоящий повар, до того старательный парень! Говорят, на дунайских пароходах работал...

Пока в печке потрескивали дрова, Ристо низал, словно бусы, неторопливо и свободно, одну историю за другой: подернутая мутной дымкой общая картина дел в роте проступала все более отчетливо, облик офицеров и рядовых солдат становился все яснее. «Зачем было созывать актив? — подумал Манев. — Ристо так толково обо всем рассказал!» Он взглянул на часы — с минуты на минуту должен был прийти Димитр, а затем и остальные. Как же теперь выпроводить Ристо, который, видать, до того вошел во вкус, что готов болтать без конца?

— Послушай, Ристо, иди-ка ты отдохни, — серьезно сказал поручик. — А вечером мы с тобой еще покалякаем...

Солдат с грустью посмотрел на Манева. С какой стати он должен отдыхать? Ему доставляет такое удовольствие сидеть у печки и болтать со своим начальником. Кто его слушал когда-нибудь с таким вниманием? Никто! Но может, человек устал... Чему тут удивляться? Был три дня в дороге, да и тут сплошные расстройства — хоть вешайся!

— Слушаюсь, господин поручик! — с готовностью ответил солдат.

— А кто будет отдавать честь?

Ристо как ошпаренный вскинул руку к головному убору.

— Прекрасно! — улыбнулся довольный Манев. — А

завтра, Ристо, я тебя одену с ног до головы, чтобы и ты стал похож на солдата...

Когда Ристо вышел на улицу, ему казалось, что он идет, а будто несется легко и плавно на невидимых крыльях.

Димитр, как условились, явился на совещание первым. Хотя вместо угля в печке горели дрова, в комнате стало так жарко, что поручик Манев снял куртку и остался в одной рубашке. Димитру вдруг показалось, что это совсем другой человек, не тот, что так строго распоряжался солдатами и офицерами. Сейчас он казался много проще, зауряднее, его суровость как бы растаяла. На улице тоже было тепло. Сверкающие на солнце ледяные сосульки роняли крупные капли, которые шумно падали в лужицы, образовавшиеся под ними. Над крышами соседних домов синело прозрачное небо, впервые в эту зиму такое теплое и нежное.

— Присаживайся, Димитр, — предложил Манев рассеянно и, помолчав немного, добавил: — Сколько человек придет?

— Четверо, господин поручик.

«Мало! — подумал командир. — Только четыре человека от всей роты...»

— Не позвать ли больше? — спросил он задумчиво.

— Я знаю только этих, господин поручик... Да и полагаю, что есть еще... — виновато пробормотал Димитр. — Из четверых только Алекси — член партии, а Цено — ремсист¹. Но и остальные двое — тоже наши люди.

— Ну а этот Алекси стоящий парень?

— Да ничего! — уклончиво ответил Димитр, глядя в сторону.

Поручик Манев слегка усмехнулся:

— Похоже, что он не очень-то тебе нравится?

— Нет, неплохой парень, — неохотно добавил Димитр. — Только больно уж он задиристый какой-то, горячий; и солдаты его недолюбливают...

— Расскажи о нем, что знаешь...

Димитр замялся:

— Он из Пазарджика, господин поручик... Пожалуй, помоложе тебя года на два. Вроде бы водопроводчиком работал, по, видать, человек начитанный. Он один в роте

¹ Ремсист — член Союза рабочей молодежи. — *Прим. ред.*

выступает против беспорядков. Несколько раз и на подпоручика Личева насакивал. Только уж больно горяч...

— Ну а другие?

— По правде сказать, мне больше всех нравится Цопо, тот, что вступился за Ристо Жабу. По мне, так он самый стоящий парень. Брат у него был в партизанах, убили его перед Девятым¹... Недавно даже в газетах о нем писали. Младенком его звали, кажется, а его партизанская кличка — Бойко. Возможно, и ты читал...

— Нет, не читал, — покачал головой поручик.

— Он у нас самый серьезный малый. Словом, парень что надо, с таким можно в огонь и в воду. Его слово — закон, никнуть никто не посмеет. Солдаты его уважают.

Послышался стук в дверь, вошел Бандера. Он по-своему улыбнулся, свободно, без стеснения подал командиру руку. В лучах солнца его рыжий чуб сделался красным, глаза были синие, как море. На его слегка пухлых, как у женщины, округленных губах играла доброжелательная улыбка, какой Мапев не видел в своей жизни.

— Откуда у тебя это прозвище — Бандера? — улыбаясь, спросил у него поручик, когда оба солдата уже сидели за столом.

Солдат заулыбался чуть ли не до ушей.

— «Бандера роса»²! — сказал он гордо.

— А-а! — воскликнул поручик. — Из песни...

— Точно, из песни, господин поручик... Несколько лет назад мы красили Юнион Палас...³.

— Ты что, маляр?

— Маляр, господин поручик, художник в своем роде... Однажды утром опрокинул я пачошак несколько рюмочек аписовки и — вы же знаете, пьяному море по колено — вскарабкался по лестнице до третьего этажа и затыкнул во все горло: «Бандера роса, бандера роса!»

— Вот это да! — не на шутку удивился поручик. — И что же дальше?

— Дальше что? Сразу же прибежали полицейские, а какой-то в штатском кричит мне спизу: «Слезай немедленно».

¹ 9 сентября 1944 года — день свержения фашистского режима и установления власти Отечественного фронта в Болгарии. — *Прим. ред.*

² «Бандера роса» — итальянская революционная песня «Красное знамя». — *Прим. ред.*

³ Юнион Палас — отель в центре старой Софии, напротив бывшего царского дворца. — *Прим. пер.*

ленно!» А я ему в ответ: «Полезай сюда, если хватит у тебя духу!» Но когда начали трести лестницу, сам не заметил, как очутился на тротуаре. Потом за эту «Балдеру росу» и вышел из участка с разбитым носом...

Затем пришел Цено: четким движением отдав честь, он молча сел на едипственный свободный стул. Манев по без удовольствия поглядел на его обожженное фронтовыми ветрами, здоровое, серьезное лицо.

— Вы на меня не в обиде за сегодняшний случай? — спросил Манев, не сводя с него глаз.

Цено посмотрел на командира с удивлением.

— Все было как положено! — коротко ответил он.

Затем, подумав немного, добавил:

— Только при Личеве не больно считались с тем, что положено и что не положено. Потому я и брякнул.

Как всегда, Алекси со Стояном пришли вместе. Стоян весь зарделся от смущения, уши его сделались прозрачно-красными, как бумажные абажуры. Испытывая пелонкость от его чрезмерной стеснительности, Алекси покровительственно пробормотал:

— Это Стоян, господи поручик. Стоян Тотев. Мы с ним земляки, из Пазарджика. Он был там библиотекарем.

Вместо того чтобы воспрянуть духом, Стоян до того смутился, что уселся на куртку поручика, оставленную на кровати. Чтобы вывести его из неловкого положения, Манев решил скорее приступить к делу.

— Раз все уже палицо, начнем, товарищи...

* * *

После ужина поручик Манев отправился к себе на новую квартиру. Село было затемнено; он долго блуждал по сельским улицам, обшаривая дощатые заборы и ворота, пока наконец не нашел пужный ему дом. К его приходу печка уже погасла. Светомаскировки в комнате не было, и лампу зажигать не пришлось. Ощупную он подошел к столу и утомленно опустился на стул. В его голове роились самые разнообразные мысли. Закрыв руками лицо, он долго сидел без движения, затем поднял глаза и глянул в окно.

На улице стояла непроглядная тьма, лишь местами были видны снежные пятна. Манев перво поднялся и, отодвинув стул, парушил царивший в доме покой. Он

чиркнул спичкой и осмотрелся: желтое пламя осветило пустой стол, печку и вещи, привезенные сюда после обеда; в дальнем углу смутно вырисовывалась кровать. Он подошел к ней, поднял повыше спичку и увидел, что солдат приготовил постель. Спичка догорела и обожгла ему пальцы. Когда он ее бросил, мрак вокруг него стал совсем неироглядным. Надо ложиться, утро вечера мудрей.

Но впечатления минувшего дня гнали прочь усталость и сон. Неясные образы, события, на которые он не обратил внимания днем, сейчас отчетливо и ясно возникли в его памяти. Ему вспомнилась неприятная компания, окружавшая Личева в офицерской столовой, лоспящийся от еды подбородок подпоручика Нейкова, угодливая вежливость фельдфебеля, но больше всего его угнетало воспоминание о враждебном безразличии и унылом облике роты.

Даже то, о чем он узнал на совещании актива, не могло дать ответ на все вопросы. Но многим неприятным фактам, о которых он уже знал, прибавились новые: солдаты крайне нерегулярно получали почту из Болгарии, денежного довольствия они до сих пор вообще не получали, не говоря уж о таких мелочах, как мыло, курево и прочее. Гораздо более важным ему показалось то, что занятия по боевой и политической подготовке проводились с солдатами от случая к случаю, солдаты шпятились по селу, бездельничали, сплетничали. Газеты тоже доходили до них очень редко, а те, что Алекси и другие приносили иногда, не вызывали у них особого интереса. «Почему? — думал он. — Невзгоды и лишения не могут подавить солдат до такой степени, чтобы они не сознавали значения этой справедливой войны. Еще в казарме их приучали к тому, чтобы терпеливо переносить невзгоды и лишения походной жизни. Чуть ли не каждый день им вдалбливали, что на войне несладко и что они должны во имя своего воинского долга мужественно переносить любые испытания».

Вдруг ему показалось, что он разгадал суть дела. Так и есть. Действительно, эти солдаты, может быть, не знают, что они на войне? Может быть, они не понимают, где находятся и что им предстоит делать? Человек, одетый в военную форму и доставленный на фронт, еще не солдат. Он становится солдатом только тогда, когда глубоко осознает смысл войны. Тогда лишения и невзгоды не смогут поколебать его моральный дух.

Верно, находясь за тысячи километров от родной земли, солдату труднее осознать, что он воюет за правое дело. Тут необходимо многое разъяснить, о многом рассказать. Но, само собою понятно, от всех этих разговоров толку будет мало, если солдат не ощущает заботы командира, если он не получает того, что ему положено.

Поручик откинулся на подушку и облегченно вздохнул. Да, наверно, все дело именно в этом. В комнате стало светлее. Окутанные мраком предметы выступали полными пятнами, словно плавали на дне глубокой реки, куда едва проникал свет. Поручику казалось, что стоит только оторвать взгляд от какого-нибудь предмета, как он тотчас же растает в темноте и тогда его уже не найти. Он перенес взгляд на окно и задумался. Солдаты второй роты еще не солдаты! Но кто в этом виноват? Прежде всего командир. Неприятная физиономия Личева снова возникла перед ним. Бездарный офицер? Все, что угодно, только не это. Такой подтянутый, вышколенный, сообразительный... Манев вспомнил выражение тревоги на лице подпоручика, когда тот спешил к складу, и фамильную улыбку, смеявшуюся озабоченности, когда Личев переступил порог. Значит, ему не чуждо и двурушничество! Плохо, что ничего не знаешь о нем — ни его прошлого, ни его убеждений. Как бы то ни было, но с ним можно справиться. Другое дело рота, с ней придется хлебнуть горя.

Усталость в конце концов взяла свое, и Манев не заметил, как заснул глубоким сном.

* * *

С тех пор как поручик Манев пришел в роту, унтер-офицер словно потерял голос — говорил очень тихо и то и дело опасливо озирался своими маленькими желтыми глазками. Рано утром он отправился на склад, чтобы еще раз убедиться, что там все в порядке и что поручику ничто не бросится в глаза, если тот вздумает заглянуть в ведомость и проверить, все ли обозначенное в ней имеется в наличии. В тот момент, когда он пересчитывал сапоги, в складское помещение вошел Дипо, мрачный, невыспавшийся, его тонкие губы посинели. Накапуне вечером, когда унтер-офицер ушел от него, Дипо был мертвецки пьян, и его появление в такую рань оказалось полной неожиданностью. Посмотрев вокруг пустым взглядом, Дипо тяжело опустился на стул возле столика. Его пра-

вое веко беспомощно опустилось больше обычного, пальцы рук едва заметно подрагивали.

— До чего гадкое вино! — пробормотал он. — Как будто в него подлили серной кислоты...

Не обращая внимания на его слова, унтер-офицер продолжал пересчитывать сапоги.

— У тебя не пойдет аспирин? — спросил Дишо, растирая пальцами виски.

— Нет.

— А вина?

— Вон там, во фляге, — ответил унтер-офицер и кивнул головой в нужном направлении.

Дишо взял флягу и с отвращением встряхнул ее, чтобы установить, полная она или нет. Поморщившись, он поднес горлышко ко рту и выпил содержимое до последней капли. Когда он отстранил флягу, ему показалось, что дышать стало легче и боль в висках уменьшилась. Взглянув на унтер-офицера, он сердито бросил:

— Кончай, хватит считать... Тошпо на тебя глядеть.

— Тебе что, — недовольно заметил унтер-офицер, — твои письма никто пересчитывать не станет!

Он все же оставил сапоги и подсел к столу. Пока Дишо хмуро молчал, желтые глазки унтер-офицера внимательно ощупывали его.

— Послушай, браток, я тут придумал одну комбинацию, — тихо проговорил он, покосившись на дверь.

— Что за комбинация? — спросил Дишо без малейшего интереса.

— Насчет кожушков маракую, только хорошо бы найти несколько штук старых. Ты же понимаешь, за каждый надо отчитаться. А на кожушки у венгров сейчас самый большой спрос.

— Ну и что?

— Дело нехитрое!.. Ты мне паходишь, скажем, десятков старых кожушков, я даю тебе столько же новых! Мы их сбываем — и денежки поровну!

Хотя вино уже ударило ему в голову, Дишо вытаращил на него глаза:

— Ты что, обалдел?

— С чего ты взял? — спокойно спросил унтер-офицер.

— Да разве с этим диким человеком можно рисковать? Он ведь сует нос во всякую щелку!

Унтер-офицер презрительно усмехнулся:

— Видал я и более диких, а все еще жив...

Дишо энергично завертел головой.

— И речи быть не может! — сказал он решительно. — Именно сейчас... — На какой-то миг показалось, будто Дишо заколебался, но затем с той же решительностью добавил: — Я еще не рехнулся...

— Тогда лучше проваливай отсюда! Того и гляди пакроет тебя здесь!

Предупреждение оказалось вовсе не напрасным — едва успел Дишо выскользнуть из склада, как пагрязнул поручик Манев — гладко выбритый, свежий и, как показалось унтер-офицеру, в хорошем настроении. Помолчав немного, он уставился на фельдфебеля и внезапно обрушился на него:

— Я только что был на кухне. Как вы смели допустить, чтобы в пищу клали испорченную соль?!

Фельдфебель развел руками.

— Но прикидывайтесь овечкой! Забраковать соль вы могли сами.

— Подпоручик Личев не разрешил...

— Послушайте-ка! — заговорил командир роты, и в его голосе зазвучала угроза. — Вы, я вижу, решили сваливать вину один на другого. Повара ссылаются на вас, вы обвиняете Личева, а тот, пожалуй, опять сошлется на нас. Я с вами шутить не собираюсь. Соль вы забракуете немедленно и без всяких комиссий... Кроме того, в роте есть настоящий повар — Григор. Знаете вы об этом?

— Первый раз слышу, что он повар, господин поручик, — удивленно забормотал фельдфебель.

Манев сделал вид, что не расслышал.

— На место прежнего повара сейчас же назначьте Григора, а в помощники ему дайте того, кого он сам выберет. А мыло? Почему до сих пор солдатам не выдали мыла?

— Я сегодня как раз собирался это сделать, господин поручик.

— Какое счастье, что я зашел к вам и папомнил, — съязвил Манев. — Раздайте также котелки и ложки, сколько у вас есть, старые котлы замелите новыми...

— Слушаюсь, господин поручик.

— А сейчас подготовьте все обмундирование, имеющееся на складе, — приказал командир роты и направился к двери.

На дворе вот уже третий день псудержимо таял снег. На улицах блестели большие лужи. Только в тени заборов

кучи грязного слежавшегося снега все еще упорствовали, не сдаваясь ранней весне. Во дворах оглушительно кудахтали куры и шумно хлопали крыльями белые откормленные гуси. Где-то за забором раздавались удары топора. Вдруг совсем близко послышался сильный визг. Поручик Манев встал на цыпочки и увидел через дощатый забор, как старая крестьянка заботливо купала в медном котле маленького белого поросенка. Перепуганное животное с намыленным рыльцем, издавая душераздирающий визг, делало отчаянные усилия, чтобы вырваться. Поручик усмехнулся. «Война войной, а поросенка купать надо».

Неожиданно для себя Манев застал обоих офицеров в капцелярии. Подпоручик Нейков старательно отдал честь, а Личев только неохотно привстал. Комната была подметена и жарко натоплена. На столе вместо исписанного грязного картона теперь лежал чистый лист бумаги. Хорошее настроение, возникшее у поручика после беседы с солдатом, сразу исчезло. Манев никак не мог понять, что его больше выводило из равновесия — паглая и бесстыдная физиономия Личева или чрезмерное усердие Нейкова. Пока речь шла о том о сем, поручику удавалось скрывать свое раздражение, но, как только разговор коснулся денежного довольствия, он опять повысил тон.

— Какой толк, что вы ходатайствовали! — вскипел он. — Тот факт, что солдаты ни разу не получали ни гроша, говорит сам за себя...

Подпоручик Личев пытался оправдываться:

— Ведь вы же понимаете, что я тут ни при чем. Казначей все время возвращает ведомости.

— Значит, ваши ведомости не были составлены как следует. И вообще незачем оправдываться. Мыслимо ли — в течение трех месяцев не подготовить списки! Да будь в этом деле тысячи формальностей, и то...

— Уж извините, господин поручик, но у меня это не единственная забота.

— Все ваши заботы выеденного яйца не стоят, подпоручик. Чем объяснить, что целую педелю солдат кормили нафталином?

— То есть как нафталином? — нахально подался вперед Личев.

— Вы прекрасно знаете, о чем речь... О соли.

— О-о-о, неужели вы думаете, что я должен заниматься даже солью? Нет уж, увольте, на то есть фельд-фебель.

Манев спокойно посмотрел на него.

— Я знал, что вы мне так ответите, — с усмешкой заметил он. — А вот представьте себе, фельдфебель утверждает, что вы ему запретили забраковать соль.

От злости лицо подпоручика Личева перекошилось.

— Разумеется! — сжал он губы. — Я не намерен платить за соль из собственного кармана.

— С вами невозможно серьезно разговаривать! — махнул рукой командир роты. — Начипасте утверждать одно и тут же сами себе противоречите. Идите-ка лучше строить роту. У склада.

— У склада? — усомнился подпоручик.

— Раздадим солдатам обмундирование, которое до сих пор вы придерживали.

Подпоручик Личев уже было направился к двери, но вдруг остановился:

— Ведь я же вам говорил, что это обмундирование — неприкосновенный запас! Оно не может быть роздано без приказа командира полка.

— Я не могу ждать приказа, когда солдаты ходят в лохмотьях, — твердо ответил командир роты.

— Хорошо, построю! — бросил тот тихо. — Только предупреждаю, что снимаю с себя всякую ответственность.

Дверь за ним закрылась, и лишь тогда Манев вспомнил о подпоручике Нейкове, который все это время молча стоял в стороне.

— Господин поручик, а почему бы вам не обратиться за разрешением в полк? — озабоченно спросил Нейков.

Командир роты ответил не сразу.

— Потому, — сказал он, — что ответ в лучшем случае придет через месяц. А дело, как видите, не терпит отлагательства.

— Но вы можете парваться на неприятность.

— Возможно, но ждать некогда, — пожал плечами Манев.

Когда поручик Манев пришел к складу, рота уже была построена. Он приказал фельдфебелю вынести из склада вещи и повернулся к солдатам. Только теперь он понял, насколько трудна его задача. Ни одного нельзя было обойти. Все они были в лохмотьях и в одинаково рваных сапогах. Легкая на первый взгляд работа отняла у него около двух часов. Начали с обуви. Поручик медленно прошел перед строем и внимательно осмотрел ноги солдат. Он выбирал тех, у кого были самые худые сапоги, и молча

делал им знак выйти из строя: «Двадцать восемь, двадцать девять...»

— Тридцаты! — закончил он вслух. «Пожалуй, хватит. Сапог всего двадцать пять пар...»

Сейчас пятерых придется вернуть обратно. «Но кого? — мелькнула у него тревожная мысль. — Нет ни одного, буквально ни одного, кто бы мог еще потерпеть». Поручик поднял голову и озабоченно посмотрел на тех, кого отобрал. «Вот кто останется без сапог», — подумал он, заметив среди других счастливые лица Стояна и Бандеры.

— Вы двое выйдите! Да, ты и ты...

Лицо Стояна густо покраснело. Бандера вначале не понял, в чем дело, потом с такой печалью посмотрел поручику в глаза, что тот невольно отвернулся. «Еще троих!»

После долгих колебаний поручик Манев вернул в строй еще троих солдат и только тогда облегченно вздохнул. В дальнейшем дело пошло быстрее; что касается шинелей, то крайне пуждавшихся в них оказалось не так уж много. На небе блестело теплое солнце, заставлявшее слегка щуриться, таял последний снег, а солдаты знали, что из новой, еще не пошенной, шинели трудно делать скатку; привязанная к ранцу, она выглядит слишком громоздкой и очень неудобна в походе. Радостное оживление вызвала раздача мыла. Давно не мытые солдаты в грязной одежде набросились на зеленые брусочки с таким алчным видом, словно перед ними было не постное рассыпчатое мыло, а некое лакомство.

— Видите, что творится! — сказал, пахмурившись, командир. — Как это вы могли допустить подобные вещи?

В присутствии Личева фельдфебель предусмотрительно молчал.

— Проследите, фельдфебель, чтоб солдаты не надевали новое обмундирование до тех пор, пока не вымоются и не смеют белье!

— Слушаюсь, господин поручик, — щелкнул каблучками юркий фельдфебель.

Мимоходом Манев зашел на солдатскую кухню. Он захотел проверить, приступил ли к работе вновь назначенный повар. У котла, над которым клубился густой пар, деловито сновал совсем маленький солдатик. Его усталое лицо казалось таким приятным и до такой степени упоенным кухонными ароматами, что поручик сразу

понял, что не ошибся. Повар заметил командира роты и замер на месте, держа в руках дымящийся черпак. Поручик уже не раз видел на правом фланге маленького и худого как щепка солдата и всегда удивлялся, как его могли взять в армию.

— Говорят, ты был дельным поваром, — ласково сказал офицер. — Твои товарищи тебя расхваливали. Теперь посмотрим, как ты будешь готовить для роты.

Лицо солдата просияло от удовольствия.

— Продукты не те, господи поручик.

— Вот тут-то и требуется искусство — приготовить из таких продуктов вкусную пищу. Сразу отличишь настоящего повара от ремесленника.

— Я больше по рыбным блюдам, господин поручик... В них вся моя душа. Как сделаю рыбку с соусом — язык проглотишь. Красноперку мне подай из аквариума — и ту приготовлю.

— А солдатскую чорбу?

— Не посярабимся, господин поручик!

Офицер дружески похлопал солдата по плечу и пошел обедать. Ввиду отсутствия более удобного помещения под офицерскую столовую приспособили маленький зал сельского кинотеатра. Это была узкая, длинная, дурно пахнущая комната с зарешеченными окнами и прогнившим полом. Черное обрамление экрана все еще висело на стене, но сам экран, разумеется, давно исчез: повара пошили себе из него передники. В комнате стоял одуряющий запах плесени, уксуса и сильно приправленной перцем фроптовой пищи. Манев спешил закончить обед как можно скорее. Его особенно раздражала большая и шумная компания молодых офицеров с прилизанными волосами во главе с подпоручиком Личевым. Они высокомерно поглядывали по сторонам. Маневу даже показалось, что Личев бросил на него взгляд и все засмеялись. Он и после этого чувствовал на себе любопытные взгляды и замечал, как по лицам офицеров проскальзывали насмешливые улыбки. Он не стал ждать, пока подадут безвкусный компот из слив, и, рассерженный, вышел из столовой.

На улице Манев быстро успокоился. На чистом, безоблачном небе ярко светило солнце, и над сохнущими крышами домов подымался еле заметный пар. Две полные широколицые венгерки о чем-то шумно и непонятно переговаривались через ограду, и их зычные голоса заставляли

петуха настороженно приподнимать тяжелую от малиновых серег голову. На крыльце своего дома поручик застал Ристо, который сидел в новой шинели и, удобно устроившись на грязном половике, поджидал командира. Изпод шинели выглядывали желтые сапоги, пачищенные только до голенищ — то ли ваксы не хватило, то ли терпения. Ристо поднялся со своего места и, виновато глядя, ждал приближения поручика. В правой руке он держал кусок черствого хлеба.

— Что-то больно рапо, Ристо, принялся закусывать! — усмехнулся офицер.

— Э, господин поручик, сегодня мне приходится голодать...

Командир роты посмотрел удивленно:

— Почему же? Разве не понравилась чорба?

— Как тебе сказать, господин поручик, — смущенно почесал в затылке солдат. — Только налили пам чорбы в котелки, а я ее и выплсснул одним махом. Не настолько, думаю, Ристо пропащий человек, чтобы есть похлебку с нафталином...

— Как, опять?

— В том-то и дело, что нет, господин поручик. На этот раз в ней никакого нафталина не было. Солдаты потом все расхваливали — не чорба, говорят, а объединение, такой пи в одной роте не сыщешь. А я, дурак, взял да и вылил! Не станешь же собирать с земли... Раньше, бывало, оставалось в котле, а сегодня съели все до капельки. Не дали мне и попробовать...

— Значит, понравилась чорба? — спросил обрадованный офицер.

— Как же не понравиться, господин поручик! Говорят, чудо чорба была. Новый повар с первого раза показал себя мастером. Но таково уж счастье бедняцкое, господин поручик: придет оно к тебе само в руки, а ты по дурости его и выбросишь через плечо...

Позже, приводя в порядок комнату, Ристо вдруг поднял голову, окинул командира таинственным взглядом и тихо спросил:

— Господин поручик, это правда, что ты коммунист?

— А что, — улынулся офицер, — разве это плохо?

— Нет... Что ж в этом плохого? — запнулся в смущении солдат.

Он рассеянно потоптался по комнате, затем снова подошел к начальнику и доверительно зашептал:

— По правде сказать, господин поручик, я тоже пострадал однажды за идею...

— Ну-ка, ну-ка! — усмехнулся командир роты. — Расскажи!

— Это было, если не ошибаюсь, в тридцать втором году, как раз после моей свадьбы... Начались выборы, ну и я туда, куда другие. Понес я какие-то бюллетени в соседнее село. Сцапали нас всех — и в холодную! Просидели мы там два дня, а па третий, не знаю для чего, других погнали в город, а меня потащили к кмету¹. В те времена кметом у нас был здоровый детина — теленка кулаком убить мог. Влепил он мне первым делом две оплеухи, так что у меня в ушах зазвенело, да как заорет: «Отказываешься от коммунизма или нет?!» «Отказываюсь», — говорю. «Отказывайся, пока не поздно, иначе все ребра тебе переломая». Напоследок огрел он меня еще разочка два, тем дело и кончилось. Больше я уже не решался вмешиваться в политику...

Вскоре к поручику явился по вызову ротный связной Дишо.

— Вот что, — медленно заговорил поручик, не спуская с него глаз, — солдаты жалуются, что слишком перегулярно приходит почта. Правда это?

— Нет, не... то есть правда, господин поручик, но мы здесь ни при чем. Почту везут на грузовиках через всю Югославию, Венгрию, дорога длинная, вот и задержка. На переправах бывают заторы. Случается, что колонны машин по нескольку дней ждут своей очереди на берегу.

— А чем объясняется, что иногда письма вообще не доходят? Просто-напросто исчезают.

— Не знаю, господин поручик. Иногда, верпо, теряются. Очень уж долгий путь, всякое может случиться. На той неделе почтовая машина в Дунай свалилась. Ни шофера, ни почты.

— Допустим. Одна машина упала в реку, а письма-то пропадают постоянно.

— Не знаю, господин поручик. Едва ли постоянно...

— Когда получаешь почту, ты просматриваешь письма — кому есть, кому нет?

— Никак нет, господин поручик. Зачем мне их просматривать — кладу прямо в сумку.

¹ К м е т — сельский староста. — Прим. пер.

«Врет! — подумал командир. — Врет самым бессовестным образом...»

— Кому вручалась почта?

— Подпоручику Личеву.

— Так... А он сразу раздавал или придерживал у себя?

— Не знаю, господин поручик. Я не слежу за тем, что делает командир.

— Да что ты затвердил: «Не знаю и не знаю»! — испылил поручик. — Ты ведь не на допросе в полиции! Я тебя спрашиваю по-хорошему, как твой командир.

Солдат молчал. Непокойный взгляд его по-прежнему блуждал по сторонам.

— Возможно, — продолжал Манев, — письма теряются или их крадут в ротной казначейке. Там ведь всегда открыто...

— Ничего не знаю, господин поручик, — с тупым упорством твердил солдат.

— Хм, опять не знаешь! А вот солдаты других рот регулярно получают газеты. Почему наша рота до сих пор не получает? Выходит, из всех курьеров не дают одному тебе?

Правое веко Дишо опустилось еще ниже, и он слегка изменился в лице:

— Никак нет, господин поручик... Время от времени и я получал...

— Что это значит — «время от времени»? Сколько раз в неделю?

— Несколько раз...

Поручик пахмурился:

— И долго ты будешь вилать? Говори точно!

— Два-три раза в неделю, господин поручик.

— Ладно, проверю. А чем же тогда объяснить, что солдаты ни разу не получали газет?

— Не знаю, господин поручик.

— В таком случае можешь идти! — сухо сказал командир роты. — С сегодняшнего дня ты больше не связной. Передай свои обязанности Алекси.

Поручик Манев не ожидал, что последние слова произведут на Дишо столь сильное впечатление. Солдат в изумлении посмотрел на командира, комкая в руках пилотку, беспомощно разинул рот, потом упрямо сказал:

— За что же вы меня смеяете, господин поручик? Ведь я все делал как положено...

Не обращая больше внимания на Дишо, командир роты склонился над столом и принялся что-то записывать в блокнот. Солдат нерешительно повернулся, постоял немного, затем нахлобучил пилотку и молча вышел.

В тот же вечер во время составления ротных ведомостей поручик Манев пришел к выводу, что разговор со связным был преждевременным и не совсем продуманным. Личев встретил атаку командира спокойно, не выходя из себя. Он отвечал не спеша, взвешивая каждое слово, и Маневу показалось, что где-то в глубине его глаз играла тщательно скрываемая насмешка. Личев не отрицал, что рота получала газеты наравне с другими, и утверждал, будто связной весьма добросовестно передавал ему все, что получал, и что решение командира роты об отстранении его от должности крайне несправедливо.

— Тогда почему же вы не давали солдатам газет? — спросил Манев, не рассчитывая получить удовлетворительный ответ.

— В том-то и дело, что давал, — удивленно поднял брови подпоручик Личев. — По одной газете оставлял для себя и подпоручика Нейкова, а остальные раздавал солдатам.

— Каким солдатам? — нахмурившись, спросил поручик.

— Разумеется, солдатам своей роты.

— Не знаю таких случаев...

— Видимо, вы недостаточно хорошо проверили, господин поручик, — заметил Личев, и Маневу снова показалось, что во взгляде подпоручика мелькнула еле уловимая насмешка.

— Я сомневаюсь в правдивости ваших слов, — перво возразил командир роты и тотчас же понял, что эта невозможность не что иное, как его собственная беспомощность. — Кому вы давали? Назовите хотя бы несколько имен!

Личев откинулся на спинку стула и шумно вздохнул:

— Господин поручик, если бы я не знал вашего характера, я бы серьезно обиделся. Что это за подозрения? Я, разумеется, не помню, кому именно давал газеты, но если вас это так интересует, вы без особого труда можете навести справки...

Пока поручик обдумывал, как найти слабое место у своего противника, Личев наклонился в его сторону и бросил с ехидцей:

— Только роту спрашивайте, господин поручик, а во каких-нибудь людишек, которые, может быть, озлоблены и чем-то недовольны.

Поручик Манев бросил на Личева недружелюбный взгляд, но промолчал. Все вдруг стало ясно — связной успел предупредить своего покровителя, а Личев, со своей стороны, тоже принял срочные меры. Если спросить завтра роту, несколько доверенных людей Личева будут утверждать, что они исправно получали газеты. Проще простого! Вся эта затея могла бы, однако, быть полезной в том отношении, что помогла бы узнать, кто эти люди, кто в роте близок к Личеву. Манев едва заметно усмехнулся и, склонив голову над ведомостями, подумал: «И это польза не малепькая, совсем не маленькая».

Поручик Манев вышел из канцелярии усталый, с тяжелой головой. Уже наступила почь, но полная луна ярко освещала улицы холодным светом. Возвращаясь домой, он встретил группу солдат. Заметив командира роты, они быстро отдали честь. Он чуть было не оглянулся от удивления — еще вчера они и днем не отдавали честь, а сейчас даже во мраке поприветствовали его. Это были солдаты его роты — поручик узнал их по скрипу новых сапог и по шинелям. Он улыбнулся и легко зашагал дальше.

На черном небе ярко сверкали звезды; лунный свет падал на крыши построек, всюду четко вырисовывались темные тени. Ночь дышала прохладой рапней весны. Где-то высоко, в темном звездном просторе, едва слышалось гудение самолета-разведчика. Гул мотора то исчезал, то снова усиливался. Казалось, какая-то почная птица медленно кружилась над освещенным холодным полем, высматривая добычу. По дороге с шумом проехал тяжелый грузовик, и вдали на мгновение блеснули его фары. Улицы совсем опустели — на них были видны лишь черные силуэты деревьев.

Поручик с удовольствием вернулся к себе на квартиру. За эти несколько дней она стала ему милой и желанной. Несмотря на свою привязанность к людям, он любил оставаться почью в одиночестве, курить на приволье, читать что попадет под руку, думать о чем угодно без опасения, что кто-нибудь помешает... Но в эту ночь он чувствовал усталость и решил лечь, не зажигая пахнувшей керосином закопченной лампы. Раздеваясь, он случайно бросил взгляд на освещенный луной стол и заме-

тил на нем маленький продолговатый конверт. Письмо? Кто мог написать, когда еще никому не известен его фронтовой адрес? Он с удивлением взял конверт и сразу же узнал в больших округленных буквах все еще не определившийся почерк жены.

Зажигая лампу, он не без удивления ощутил, как сильно забилося его сердце, ощутил, что он взволнован и встревожен. После того как он десять лет прожил спокойной и разумной семейной жизнью, такое волнение показалось ему странным. За эти годы они расставались па день-два, самое большее — на неделю, и, надо сказать, довольно часто. «Но странно, — подумал он, — во время этих кратких расставаний мы никогда не писали друг другу писем». Только когда он бывал на месячных сборах офицеров запаса, ему приходилось посылать жене и получать от нее открытки. А теперь вдруг письмо! И к тому же полученное прежде, чем дома успели узнать его адрес, переданное, вероятно, через какого-нибудь уезжавшего на фронт офицера. Уж не стряслась ли какая беда? Он быстро вскрыл конверт и сразу пробежал взглядом всю страницу. Нет, ничего плохого, ничего страшного не случилось. Жена пишет, что она здорова, чувствует себя хорошо, не считая легкого, совсем не опасного кашля. На днях взяла из починки свои боты, но так как — о ужас! — к ним приклеили вместо черных красные резиновые подметки, она теперь стыдится носить их. С питанием уже стало хорошо, вчера получила от матери посылку — мука, сало, свинина и всякая мелочь. Так что у нее все благополучно, и ему почего, совсем нечего о пей беспокоиться.

«Но ведь я и до этого не беспокоился», — подумал он с досадой и принялся читать дальше, хотя перед его глазами странно и нелепо стояли ботики с подметками из красной резины. Эти ботики она носила чуть ли не со времени их свадьбы, и никогда в течение многих лет ему не приходило в голову купить ей новые.

Но вдруг спокойный тон письма нарушился: *«Милый, я очень беспокоюсь о тебе, и все мои страхи порождаются твоим неизменно упрямым характером. Я хорошо знаю, что если ты берешься за какое-нибудь дело, то отдаешься ему всей душой и не бросаешь этого дела, пока не закончишь его с наибольшим успехом. Это, может быть, и хорошо, и наверняка хорошо, раз ты так поступаешь, но на войне — страшно. Самые лучшие и самые преданные офицеры часто за свое усердие платят жизнью.*

Милый, я понимаю, что просить, чтобы ты не исполнял как следует свой долг, чудовищно, но я прошу тебя быть осторожней. Береги себя, заботься о себе. Ты знаешь, что я никогда и ни о чем тебя не просила, но представь себе, в какую ужасную и черную полосу жизни мне бы пришлось вступить, если бы ты не вернулся. Потому я и поспешила отправить тебе это письмо, чтобы оно не пришло слишком поздно...»

Он невольно оторвал глаза от бумаги и стал задумчиво глядеть в окно. «Неизменно упрямый характер!» В самом ли деле у него такой характер, думал он удивленно. И правда ли то, что он с душой отдастся всякому делу, с которым соприкасается? Он этого не знал, а вот она знала. Вдруг ему показалось, что жена стоит тут, перед ним, — очень худая, высокая, может быть даже несколько выше его, с топкими прямыми ногами и длинной шеей, на которую спускаются прямые, не всегда причесанные волосы. Она думает о нем, знает его, а знает ли он ее? Взгляд его снова упал на письмо.

«И вот еще что, милый,— продолжал читать Манев,— мне кажется, что ты слишком строг и крут с людьми, что ты не умеешь с ними соглашаться и очень нетерпелив. На войне такие качества едва ли всегда полезны. Я боюсь, что ты наживешь себе множество врагов и тебе придется идти в бой с теми, кто тебя ненавидит. Кто станет думать о тебе, оберегать тебя, если ты не изменишь своего характера? Знаю, что ты это называешь принципиальностью, но разве принципиальность мешает умело управлять людьми? Тебе чужды и неприятны всякие мелочи практического порядка, и если ты не подберешь себе помощников, то, я думаю, тебе будет очень трудно управлять таким множеством людей».

Письмо неожиданно обрывалось: словно ее испугали мысли, которые прежде никогда не возникали. Сунув письмо в карман, Манев стал медленно ходить по комнате. Между непривычными и путанными мыслями о жене все чаще возникало воспоминание о ботах с красными резиновыми подметками, и впервые за свою жизнь, которую он всегда, как ему казалось, старался прожить справедливо и честно, он испытал чувство горькой, тяжелой и непоправимой вины. Дело, разумеется, совсем не в ботах, а в том, что прошло много лет, как он перестал ее замечать. Как она жила, что происходило в ее сердце? «Всегда так бывает, — думал он, — те, кто рядом с нами,

становятся как бы частью нас, и мы из-за этого забываем о них, перестаем их замечать, как не замечаем собственного отражения в зеркале. Состарилась ли она? Изменилась ли?» Этого он и теперь не знал, а она о нем знала гораздо больше — даже то, что у него упрямый характер, что он слишком строг и взыскателен к людям.

Он подошел к окну и остановился. Луна уже скрылась, и мрак окутал землю. «А что, если попытаться пайти где-нибудь в тыловых венгерских магазинах пару хороших дамских ботишков?» Он бы купил их и немедленно отправил посылкой. И, представив себе ее смущенное лицо, ее удивленные глаза при получении неожиданного подарка, он печально улыбнулся. Лучше всяких писем, лучшие любимых слов это объяснило бы ей все, что пережил он в эти минуты.

Прежде чем успеть, Манев представил себе, как он скитается по венгерским магазинам, долго спорит с продавцами, умоляя их достать припрятанный товар, как затем приготавливает посылку, с большим старанием пацписывает адрес и собственноручно передает на почтовую почту. И уже собравшись мысленно переместиться в далекую Софию, вдруг вспомнил, что даже не знает, какой номер обуви она посит. Не знать номера! Какая глупая помеха!

И он устало закрыл глаза и медленно погрузился в тяжелый и беспокойный сон.

* * *

Хлопоты по обеспечению солдат денежным довольствием отняли у Манева целых два дня. Казначей полка, толстенький чиновник с поредевшими сальными волосами на пестистой коже, без конца отрывал и ковырялся спичкой в зубах, но наконец принял ротные ведомости и выдал ему целый ворох оккупационных пепге. Поручик заботливо уложил их в походную сумку и только тогда почувствовал, что с плеч у него свалилось тяжелое бремя. Из всех практических дел это казалось ему самым трудным. И вот все благополучно уладилось. Он любезно раскланялся с казначеем и в приподнятом настроении пошел по грязной улице. Неподалеку от штаба он столкнулся с командиром полка. В кителе, с начищенными до блеска орденами и сверкающими погонами, полковник чуть ли не на цыпочках пробирался по узкой дорожке.

Подавив улыбку, поручик залез в грязь, чтобы уступить дорогу, и учтиво козырнул. Полковник в упор посмотрел на поручика своими близорукими глазками.

— А, это вы! — сказал он, и его усы дружелюбно шевельнулись. — Как там ваша рота?

— Хорошо, господин полковник...

— Приятно, приятно! — закивал командир.

Но он остановился и продолжал стоять, рассматривая поручика. Очевидно, он хотел еще что-то сказать, но колебался.

— Я рад, поручик, — наконец промолвил полковник, — что вторая рота нашла себе хорошего, достойного командира, но и вы, в свою очередь, должны быть терпеливы и внимательны... Я хочу, чтобы между офицерами моего полка было взаимное понимание и уважение...

«Все ясно! — подумал Манев, когда командир полка удалился. — Личев успел пожаловаться. Но интересно, кому он изложил свою жалобу — полковнику или командиру дивизии, с которым поддерживал старое знакомство? Может быть, заместителю командира полка известны подробности?» Манев надеялся застать его дома, но на этот раз потерпел неудачу: майор уехал на совещание в штаб армии.

Все говорило о том, что подпоручик Личев не спит, что он готов бороться и, павшего, строит за спиной Манева всякие козни. Поручик Манев только теперь понял, что, увлекшись наступлением, он упустил из виду контрмеры своего противника. Но что имелю мог предпринять Личев для самообороны? Одно из его средств стало уже известно — шантаж. Доносы на командира роты высшему начальству, нагромождение всевозможной клеветы, попытки представить в ложном свете все, что делает Манев на пользу роты. А еще что? Возможно, кто-нибудь из его людей следит, с кем встречается поручик, что он собирается предпринять, где готовится следующий удар. Это вполне возможно — без разведки никакого успеха не добьешься, а вот он, Манев, не разведывает, ничего не знает о намерениях своего противника. Не случится ли так, что Личев застанет его врасплох и вопзет ему в спину нож?

У продовольственного склада стояли только две подводы, но, к счастью, одна из них собиралась возвращаться в село, где была расквартирована вторая рота. Солдат встретил поручика недружелюбно, проворчал себе под нос,

что повозка перегружена, и неожиданно исчез, — очевидно, в надежде, что офицер откажется от своего намерения. Но Манев спокойно взобрался на повозку и, устроившись на козлах, стал терпеливо ждать. Солнце приятно пригревало. Под его лучами над землей поднимался легкий полуденный пар. С полей веял слабый ветерок. Солнечные лучи как бы задерживались в его волосах, в складках шинели. Улицы были совсем безлюдны. Только петух нарушал их тишину своим громким пением в одном из дальних дворов. Поручик перебирал в памяти такие же погруженные в тишину весенние полдни своей юности, когда он, спокойный маленький человек, жил в глухой деревушке, с неприятными мыслями в голове и с алюминиевой коробочкой в кармане, в которой хранились черви для рыбалки. Какое это было беззаботное время! Так же, как сейчас, он устраивался на козлах крестьянской повозки, в которой лежали сумка и удочки, и мечтал о будущем. После дождя под ногами сыро, с деревьев каплет, а по небу быстро летят рваные облака. Давно, очень давно было все это, словно в какой-то другой жизни.

Наконец солдат вернулся, и повозка тронулась в путь. Снова ехали по знакомым местам, по которым на подводе Димитра он впервые направлялся в роту, встревоженный и возбужденный. Вот здесь Димитр сворачивал в сторону, чтобы дать дорогу тяжелому грузовику, дальше наспех восстановленный мостик, вокруг поля, вблизи едва-едва тронутые зеленью, вдали сероватые, подернутые легкой дымкой; у шоссе черпели пары. По-прежнему мрачный и недовольный седоком, солдат безжалостно хлестнул лошадей, и повозка так же, как и в первый раз, задребезжала по неровному настилу дороги. С тех пор прошла всего лишь одна неделя, а поручику это время показалось месяцем — так много было сделано, так много произошло всяких событий. «Неизменно несговорчивый характер» — вспомнилось ему. Миновала всего лишь неделя, а он словно стал другим человеком. Он уже научился интересоваться мелочами — котлами, ведомостями, денежным пособием, солдатской чорбой. И это его не обременяет. «Строг и крут с людьми...» А ведь он не стал ругать солдата, который чуть ли не отказался подвезти его. Теперь у него есть и помощники — надежные, настоящие друзья, которых он любит, которым доверяет. Или она недостаточно изучила его, или он действительно переменился?

Как и тогда, навстречу дул слабый, но холодный ветер. Поручик Манев поднял воротник шинели. «Ладно, солдат, гони лошадей сколько влезет». Хочется как можно скорее попасть в роту, вернуться к своим солдатам, с которыми он уже успел сжиться куда крепче, чем с пробирками в своей лаборатории. Разве можно после всего этого назвать его холодным человеком? Разве холодный человек ищет общения с людьми?

Вскоре повозка въехала в село, и лошади замедлили ход. Еще сидя на козлах, поручик Манев заметил, что вблизи ротного склада собралась большая группа солдат. Они сидели на сложенных бревнах и, казалось, кого-то внимательно слушали. Поручик легко соскочил с повозки и направился к ним. Сидевшие с краю заметили его, что-то сказали своим товарищам, после чего над всеми выросла фигура Цено и раздалась его команда:

— Встать! Смирно!

— В чем дело, ребята? — спросил поручик. — Почему вы собрались здесь?

Лишь теперь командир заметил маленького библиотекаря, державшего в руках газету.

— Почта пришла, господин поручик, — радостно и смущенно сказал Стоян. — Только что прочитали фронтовые новости...

— Значит, Алекси — более поворотливый связной, — усмехнулся поручик.

Манев прекрасно чувствовал себя среди солдат. Ему было приятно видеть их собравшимися в кружок, дружными, с весело улыбающимися лицами.

— Что ж, хорошо, хорошо! Но вы что, уже закончили?

— Никак нет, господин поручик. Сейчас будем читать письмо, которое получил Ристо... От его дочурки.

— От моей Младенки, господин поручик, — сияя, заговорил Ристо, переполненный отцовской гордостью.

— Ах вот как, тогда и я послушаю!

Поручик присел на бревно, вокруг него расположились солдаты. Стоян развернул письмо и, встретившись таинственным заговорщическим взглядом с командиром роты, начал медленно читать:

— *«Милый папа, мы все живы и здоровы, а ты как себя чувствуешь? Мама послала тебе рукавицы, сухих фруктов, немножко ракийки, но мы еще не знаем, получила ли ты все это».*

— Не получил! — с горечью заметил Ристо,

Стоян укоризненно на него посмотрел и продолжал: — *«Дорогой папочка, сейчас холодно, и тебе все это нужно, чтобы согреться. Здесь все говорят только о фронте. Нам учитель сказал, что вы бьетесь за свободу во всем мире, я рада, что и ты бьешься за свободу во всем мире. Я хочу, чтобы ты бился храбро, только смотри, чтобы фашисты тебя не убили. Милый папочка, ты о нас не беспокойся. Теперь о нас все очень заботятся. Кмет приходил спрашивать, не нужно ли чего, а третьего дня нам привезли дров. Привезли и другим, дяде Лукану и отцу Цеци. Кмет сказал маме, что весной вспашут и засеют наше поле. Вчера Любен ударил меня по спине, а учитель ему говорит: «Как тебе не стыдно, у нее отец на фронте, а ты ее бьешь». Потом поставил его перед всем классом и еще постыдил.*

Милый папочка, мама и брат Милчо здоровы и кланяются тебе. А я целую тебя и всех солдат, которые бьются за свободу во всем мире. Твоя дочь Младенка».

При этих словах Ристо вынул грязный платок и сконфуженно вытер слезы. Смущенные и взволнованные, солдаты молчали; по их лицам было видно, что простое, бесхитростное письмо глубоко запало им в душу. После того как Стоян закончил чтение, солдаты долго не расходились; в образовавшихся группках велись оживленные беседы; выяснилось, что и другие в этот день получили из дому письма. В каждом письме родные выражали благодарность новой власти, которая заботилась о семьях фронтовиков. Перед тем как уйти, поручик Мапев окинул любопытным взглядом солдат и заметил, что их лица просветлели. Посыпались всевозможные шутки, а два молодых крестьянских паренька, чтобы выразить свое радостное настроение, не придумали ничего иного, как взять друг друга за пояса и затеять борьбу. Тотчас же образовался круг; солдаты весело подшучивали над ними; когда борцы, увлекшись, приближались к живой стене, их спешили оттолкнуть к середине. Ребята громко пыхтели, их здоровые лица налились кровью. Наконец меньший из них ловко подставил ножку своему противнику и мгновенно прижал его лопатками к влажной земле. Раздались шумные возгласы и взрыв рукоплесканий. Засучивая рукава, на площадку вышел новый любитель борьбы.

С этого дня Стоян регулярно собирал роту в отведенное для политинформаций время. Вначале он ограничивался тем, что читал сводки военных действий и наибо-

лее важные статьи о жизни на родине, но потом расширил свою работу. С помощью поручика Манева библиотекарь сумел наладить связь с корреспондентом фронтовой газеты, и каждый вечер в то время, когда солдаты спали, он принимал по телефону последние известия, наиболее важные сообщения из Болгарии. До поздней ночи в компании телефонистов тархтела огромная разболтанная пишущая машинка, но зато рано утром, перед завтраком, солдаты слушали новости, переданные крупнейшими радиостанциями мира.

Солдаты словно прозрели: они узнали о стремительном наступлении Красной Армии, о ее огромных победах, о бегстве фашистских войск к старым границам Германии, обо всем, что происходило на фронте. На первых порах военные известия как будто не очень занимали солдат. Названия незнакомых городов им вроде бы ничего не говорили, а цифры оставались холодными мертвыми цифрами. Но вскоре их интерес возрос, бойцы начали понимать, что они — небольшая частица огромного фронта и все, что происходит на далеких театрах военных действий, имеет непосредственное отношение и к ним, к их судьбе. Военных сводок ждали с нетерпением, и утром солдаты спешили в столовую не столько ради того, чтобы поспеть к завтраку, сколько для того, чтобы вовремя узнать новости. Стояя где-то раздобыл большую карту Европы и каждый день обозначал на ней изменения, происшедшие на фронте. Солдаты видели, как на севере красные флажки неуклонно продвигались вперед, окружали новые территории, а на юге линия фронта оставалась без изменений. И это пачипало их элитъ, задевать их самолюбие. Неужели им придется еще долго бездействовать? В конце концов, зачем они пришли сюда? Надо думать, не для того, чтобы всю войну просидеть в этой заброшенной венгерской деревушке!

Поручик Манев не раз присутствовал на этих беседах, но он не столько слушал военные сводки, сколько с жадностью наблюдал за лицами своих солдат. Это были уже совсем не те люди, которые некогда предстали перед ним; теперь в них кипела жизнь, они смотрели широко раскрыв глаза, обнаруживали живейший интерес ко всему, что происходило вокруг. Солдаты задавали вопросы, нередко затруднявшие библиотекаря: «Почему отстает чехословацкий фронт? Сознательно ли немцы оставляют свои гарнизоны в окруженных польских городах? Как

скоро падет Будапешт?» Обливаясь потом, Стоян как мог комментировал намерения советского командования, но ни один вопрос не оставался без ответа. Поручик Манев еле заметно улыбался, когда молодой стратег развивал смелые теории, предрешил будущие операции.

— Пусть только возьмут Будапешт, — говорил он, — и вы увидите, какое развернется наступление на нашем фронте. Но пока что этот окаянный Будапешт нас держит...

— А вот венгры говорят, что немцы сами собираются перейти в наступление, — заметил какой-то солдат.

— Глупости! — обиженно воскликнул библиотечкарь. — У них обороняться нечем, не то что наступать. Чепуха все это.

— Не знаю, — пожал плечами солдат. — Венгры об этом поговаривают. Я от своей хозяйки узнал.

— А ты поменьше прислушивайся к бабьим сплетням! Откуда венграм знать, что думают немецкие генералы?

— Листовки, говорят, разбрасывали, воззвания на венгерском языке, — уже без всякого желания добавил солдат.

— Мы еще посмотрим! — угрожающе и как-то сухо закончил Стоян.

Когда солдаты разошлись, командир роты отозвал в сторонку своего помощника.

— Ты знаешь, что такое диверсия? — спросил он, небрежно спимая соринки с шинели.

— Так точно, господин поручик, — покраснел солдат.

— Когда противник хорошо понимает, что ему не победить, он уже не ищет победы, а прежде, чем подохнуть, старается совершить какую-нибудь пакость... Мне кажется, что именно сейчас, в последние месяцы войны, возможны любые провокации. Теперь, когда исход войны предрешен, одному черту известно, на какие авантюры могут пойти германские фашисты. И поэтому в солдатах нужно воспитывать бдительность, а не самоуспокоенность...

Стоян вповал молчал. Позже, в столовой, поручик Манев снова вспомнил разговор с библиотечкарем. Кажется, неплохой совет дал солдату. Ну а сам-то он? Как у него обстоит дело с бдительностью? Разве его противник не мог преподнести какой-нибудь сюрприз? Потеряв надежду снова овладеть утраченными позициями, не станет

ли и тот па путь диверсий? Да, бесспорно, бдительность пикогда не будет лишней.

Вскоре поручик Манев нашел работу и для Бандеры. Он поручил ему организовать кружок самодеятельности и, кроме того, разучить всей ротой какую-нибудь походную песню. Вначале Бандера категорически отказывался. Он не знал, как обучить солдат пению в три голоса, но потом все-таки согласился. Решили попробовать петь в один голос. Начали с «Катюши». На третий день рота уже довольно прилично пела советскую песню. Окрыленный успехом, Бандера с жаром взялся за организацию оркестра. Кларнет в роте был, нашелся и аккордеонист, а вот аккордеона не было. После долгих поисков удалось достать и аккордеон: это был один из подарков, которые вручило болгарской армии политуправление 3-го Украинского фронта. Кларнета и аккордеона оказалось вполне достаточно для ротного оркестра, ведь слушатели были не очень привередливы.

Вечера стали самым приятным временем суток. На просторном складском дворе собирались солдаты не только второй роты, но и других подразделений. Под резкий, душераздирающий вой кларнета собравшиеся лихо отплясывали болгарское хоро. Вокруг танцующих начали толпиться и венгры; они с интересом наблюдали за фигурами незнакомого танца и одобрительно кивали головами. Какая-нибудь из местных девушек, преодолев страх, хваталась за огрубевшие солдатские руки и начинала комично подпрыгивать в такт с другими, а стоящие в сторонке смотрели с любопытством и не могли сдержать смех. Вскоре аккордеонист тайком разучил венгерский чардаш, и танцы стали общими. Но в отличие от венгров болгарские солдаты быстро усвоили трудные фигуры чардаша, и во дворе то и дело слышались громкий хохот, дробный стук каблуков, веселые возгласы.

Дежурному офицеру приходилось по несколько раз приходить к месту гулянья и убеждать развеселившуюся публику, что наступил комендантский час и пора расходиться по домам.

Однажды утром Стоян вихрем ворвался в комнату командира роты. Сияющее лицо солдата говорило о том, что он принес хорошую весть.

— Будапешт пал! — крикнул он еще с порога. — Только что сообщили из дивизии...

Новость действительно была немаловажной. Поручик

возбужденно зашагал по компате и, остановившись у окна, неожиданно сказал:

— Нужно как-нибудь отметить это событие. Надо дать солдатам почувствовать, что произошло нечто очень важное...

— А что мы можем устроить?

— Вот и я об этом думаю. Купить бы у крестьян поросенка и приготовить для ребят угощение... Немпожко денег есть в ротной кассе... а потом я как-нибудь отчитаюсь...

— Крестьяне иногда продают поросят, — с готовностью согласился библиотекарь.

На обед каждый солдат получил по куску молодой, хорошо поджаренной свинины. Приготавливая жаркое, новый повар буквально задыхался от восторга. После обеда он чуть ли не у каждого тайком выпрашивал, по вкусу ли пришло второе. Командир произнес краткую речь, солдаты дружно и радостно крикнули «ура». Правда, не совсем было ясно, что они приветствовали — падение ли Будапешта или на славу приготовленное жаркое, — но громкое «ура», прокатившееся по всей деревушке, заставило местных жителей с удивлением выглянуть из своих окон.

Будапешт пал, армия оказалась перед новыми важными событиями. Началось передвижение полков и дивизий, по тыловым дорогам потянулись колонны войск. На шоссе целыми днями ревели грузовики, проносились мотоциклы, глубоко тонули в всепей грязи тяжелые орудия дивизионной артиллерии. К фронту направлялось какое-то танковое соединение. Выйдя на шоссе, солдаты с гордостью и надеждой смотрели на огромные стальные чудовища, которые скрежетали гусеницами и выбрасывали облака голубоватого бензинового дыма. С ближайшего участка фронта все чаще и чаще доносились глухие раскаты артиллерийской канонады. По ночам на северо-западе поднималось багровое зарево. Фронт пробуждался медленно и в первые дни, казалось, только пробовал свой голос — пробовал перед тем, как заговорить на весь мир победными приказами и торжественными салютами.

* * *

Случилась неприятность, когда Манев меньше всего ее ожидал: ему дали коня. Он не очень этому обрадо-

вался. Дело в том, что ни в училище, ни в бытность офицером ему никогда не приходилось ездить верхом. Лошадь, которую предоставили Маневу, бесспорно, была красивой — тонкие ноги, маленькая упрямая головка и злые глаза. Пока солдат крепко держал ее за узду, она била копытами влажную землю и злобно фыркала. Когда подпоручик Личев внимательно осматривал лошадь, командир роты заметил, как его нахальные глаза радостно заблестели.

— Хороший конек! — сказал подпоручик Личев, стараясь скрыть усмешку. — Я вам просто завидую...

— Кажется, неплохой, — сдержанно ответил поручик, небрежно хлопая коня по упругой гладкой шее.

Подпоручик Личев, взглянув на собравшихся солдат, лукаво спросил:

— Что же, вы так и не попробуете?

— Сейчас попробую, — ответил раздосадованный поручик и почувствовал, как его бросило в пот. Он даже не знал, с какой стороны следует садиться на коня. Когда он был уже в седле, ему показалось, что в глазах Димитра мелькнула тревога.

— Господи поручик, — спросил он озабоченно, — вы хорошо умсете ездить?

«Неужели я так пеловко сажился в седло?» — подумал поручик, натягивая поводья, и сухо ответил:

— Ездил, не беспокойся...

— Я хотел сказать, что лошадь с норовом — не каждый с ней справится...

Поручик промолчал и ударил коня каблуками по влажным бокам. Конь фыркнул и тронулся легкой рысцой. Когда-то поручик слышал, что нужно немного приподыматься на стременах в ритме бега, но сейчас этот ритм казался ему нарушенным, нечетким, и конь как будто норовил сбросить седока в правую сторону. Оправившись после первого замешательства, Манев заметил, что рядом с ним бежит Димитр.

— Господи поручик, — несколько смущенно обратился к нему солдат, — упирайтесь в стремяна по середине ступни, а носком... Лошадка-то с придурью и если сбросит, то по крайней мере не повиснете в стремянах...

— Ладно, Димитр, — мягко ответил командир.

Пока Манев приближался к краю села, он уже успел освоиться с лошастью и держался в седле прочно, не сползая в сторону. До соседнего села было километра три,

вполне достаточно, чтобы как-то привыкнуть к езде пер-
хом. На втором километре он немного ускорил ход, и
конь побегал по мягкой обочине дороги хорошей, ровной
рысью. Неуверенность совсем исчезла, он чувствовал
себя вросшим в седло, а животное охотно повиновалось
всем требованиям всадника. «К чему было говорить, что
конь с придурью? Пожалуй, Димитр разбирается в лоша-
дях не больше меня», — думал Манев. Но не успел поруч-
чик окончательно успокоиться, как на шоссе неожиданно
появилась грузовая машина. По большой скорости можно
было понять, что она едет порожняком; кусок оторвав-
шегося брезента трепыхался на ветру, словно широкое
крыло. Поручик Манев заметил, что конь вздрогнул и
первно наострил уши. Офицер сжал колени и натянул
покрепче поводья. Конь почти остановился и затапцевал
на месте.

Что случилось потом, поручик помнил плохо. Кажется,
напуганный развевающимся брезентом конь встал на ды-
бы и, сделав громадный прыжок, как птица понесся по
шоссе. Манев только чудом удержался в седле. В следую-
щий миг конь резко рванул в сторону и во весь опор по-
мчался по ровному полю. Неприятная тряска прекрати-
лась, перейдя в галоп, конь словно мягко скользил по
волпам, и, несмотря на стремительный бег, держаться в
седле стало гораздо легче.

Манев пришел в себя и сделал попытку остановить
коня, но все его усилия были безуспешны, и испуганное
животное продолжало бешено мчаться. В открытом поле
это не представляло большой опасности, но приближа-
лось село, а вместе с ним — и катастрофа. Соображая,
как выйти из столь отчаянного положения, офицер вдруг
ощутил толчок и пулей перелетел через голову коня.
Придя в себя, он понял, что лежит на влажной земле:
конь остановился и, вытягивая красивую шею, смотрел на
него почти человеческим взглядом.

Манев вскочил и, стараясь не замечать дрожи в ко-
ленях, быстро схватил повод. Конь успокоился, виновато
наклонял голову и негромко пофыркивал. Поручик огля-
делся — вблизи никого не было, никто не видел его досад-
ного приключения. Он снова сел на коня и поехал обрат-
но, сперва рысью, потом медленным галопом, стараясь
отделаться от скверного воспоминания о недавнем па-
дении. Влежав галопом в село, он направился к складу.
Димитр радостно бежал навстречу, а сидевшие на брев-

пах солдаты поднялись со своих мест. Откуда-то появился и подпоручик Личев. Его лицо по-прежнему выражало насмешку, глаза злорадно блестели.

— Вы как будто падали? — спросил он как бы невзначай, когда поручик Манев соскочил на землю.

— Почему вы решили? — бросил раздосадованный командир роты.

— Что-то у вас слипа в грязи...

Стоявшие неподалеку солдаты слегка усмехнулись, но, заметив, что командир не в духе, быстро скрыли усмешки.

Подпоручик Личев учтиво козырнул и удалился, весело папая и ловко размахивая хлыстом. Димитр взял лошадь под уздцы. Она повернула голову и еще раз бросила на своего хозяина взгляд, который показался поручику лукавым и в то же время как бы просящим извинения.

Вечером, когда Манев вошел в офицерскую столовую, подпоручик Нейков фамильярно помахал рукой и пироким жестом предложил ему садиться:

— Пожалуйста сюда, вот для вас место!

Поручик неохотно присел и сразу же почувствовал запах спиртного. Сам он никогда не пил и с трудом переносил пьяных людей. Подпоручик Нейков принялся рассказывать длинную и путаную историю о каком-то витязе Шандоре, который якобы скрывал запасы палинки (так венгры пазывают водку). Но поручик Манев его почти не слушал и, более всего мечтая зажать нос, чтобы не чувствовать, как разит от собеседника, и не замечать тяжелого запаха супа, с отвращением принялся за еду.

Подпоручик Нейков доверительно наклонился к нему и тихо зашептал:

— Господин поручик, вас как будто лошадка того, сбросила, а?

— Кто вам сказал? — сдержанно спросил командир роты и почувствовал, как лицо его вспыхнуло.

— Васка, кто же еще...

— Какой Васка?

— Личев. То, что он мне сказал, не беда, а то, что он и его шайка развонят по всему гарнизону, — это хуже...

Поручик Манев зачерпнул ложкой так сильно, что суп пролился на стол.

Подпоручик Нейков наклонился еще ближе и, обдав его запахом водки, снова зашептал:

— Я вам еще кое-что хочу сказать, господин поручик,

только слово чести — пусть останется между нами... Этот номер они давно придумали — еще дней десять назад. Они сговорились подставить вам пугливого копя, чтобы потом над вами же посмеяться всем гарнизоном. Все они такие... И их хорошо знаю...

Поручик вспомнил, как несколько дней назад, сидя за столом, он обратил внимание на то, что компания Личева то и дело бросала на него взгляды и хихикала... Значит, еще тогда это было придумано! И, повернувшись к своему помощнику, командир роты с сердцем спросил:

— А почему же вы меня не предупредили?

На мгновение подпоручик смутился.

— Мне все не верилось, что они это проделают, — пробормотал он виновато. — Я думал, они шутят, просто дурака валяют. Если бы вчера я вас увидел вовремя, я бы вам сказал. Эту лошадку я хорошо знаю — месяцами стоит на полковой конюшне, а сесть на нее никто не решается. Конек славный, только уж очень пугливый. Зайца увидит на дороге — не удержишь.

На другой день подпоручик Нейков был поражен, когда снова увидел командира роты верхом на быстром грациозном скакуне. Конь танцевал на месте, зло косясь на прохожих. Манев крепко держал поводья. Лицо его было серьезным и замкнутым.

— Что вы делаете, господин поручик! — почти со страхом воскликнул Нейков. — Ведь я же вас вчера предупредил...

— Не так страшен черт, как его малюют, — сдержанно улыбнулся поручик.

— Сломаете вы себе шею!

— Если до сих пор не сломал...

После того как всадник скрылся из виду, подпоручик Нейков, подняв брови, еще долго глядел ему вслед, потирая полненькую щеку. «С таким человеком шутки плохи. С таким человеком лучше жить в дружбе!» — подсказывал Нейкову внутренний голос.

Поручик Манев хотя и не сломал себе шею, по надежды ему все-таки пришлось еще раз испытать то же «удовольствие», что и в первую поездку. Слабый вихрь поднял валявшуюся на шоссе газету, и испуганное животное снова помчалось бешеным галопом. По странному совпадению беда произошла на том же самом месте — не в силу чистой случайности, а потому, что шоссе там круто спускалось вниз, к только что сколоченному мости-

гу. Когда поручик вставал, расправляя ноющую спину, конь ждал в нескольких шагах от него и помахивал головой, словно и сам был не в восторге от того, что произошло.

Несколько дней спустя Маневу представился случай проучить противника, да еще перед всей ротой. В окрестностях села, в редком лесу и в поле, которое простиралось до самой линии фронта, начались боевые учения. Рота выходила из села с песней.

Венгерки открывали окна и, опираясь еще незагорелыми локтями о подоконники, долго вслушивались в незнакомые слова. Раскрасневшийся от пения Бандера, шедший в первой шеренге, скромно, но с подчеркнутой учтивостью поклонился — не хуже заправского артиста, который благодарит публику за одобрение. Ему всегда казалось, что поздравляют лично его — руководителя и вдохновителя солдатской самостоятельности.

Вскоре перед ними открылось широкое поле, голое, бурозеленое, с кружками перелесков на горизонте. В этот необыкновенно теплый февральский день земля быстро просыхала; на берегах каналов под лучами солнца грелись большие зеленые лягушки. Поручик Манев медленно шагал вдоль берега рядом с ротой и краем глаза внимательно следил за солдатами. Над взводами и отделениями не умолкал негромкий, но оживленный говор, порой слышался непродолжительный смех, и рота напоминала собой несущийся по солнечному простору пчелиный рой. Командир с удовольствием вслушивался в этот гомон. Рядом с ним шли совсем не те солдаты, которых он встретил, когда впервые прибыл в роту. Манев не отдавал себе отчета в том, мало он сделал или много, но успех, как ему казалось, был достигнут без особых усилий. Сердце поручика радовалось, когда он глядел на солдат. Они стали веселыми, апатия на их лицах сменялась юношеским задором. Только подпоручик Личев, несколько пожелтевший, с травинкой в зубах, казался усталым и сонным. Его походка была вялой, глаза потемнели, и, судя по тому, как он зевал, было ясно, что он провел крайне беспокойную ночь. Подпоручик Нейков намекнул, что Личев допоздна играл с молодыми офицерами в покер и что, по всей вероятности, он выиграл изрядную сумму, потому что его бумажник трещит от венгерских денег. Поручик Манев незаметно взглянул на Ли-

чова — не похоже, чтоб он выиграл, у него слишком унылый и жалкий вид.

Рота свернула с шоссе и пошла по невспаханному полю. С веселыми возгласами солдаты перепрыгивали через ров, вьючные лошади, позвякивая станками пулеметов, опускали головы и щипали едва пробившуюся травку. Командир роты заметил, с какой ловкостью Цено переметнулся через траншею, несмотря на то что на плече у него был ручной пулемет. Широкое обветренное лицо солдата было необычно радостным. Вечно замкнутая, холодная и несколько сердитая маска исчезла, и поручик видел, как его ноздри жадно улавливали теплый весенний аромат рыхлой земли. Дитя природы, Цено впервые почувствовал себя как дома, а охваченный таким чувством человек редко бывает замкнутым, мрачным. Впереди него шли, как всегда, вместе и вели негромкий, но горячий спор Алекси и Стоян. Библиотекарь волновался, отчего уши у него, по обыкновению, пламенели. Особенно шумно было вокруг Бандеры: вероятно, он рассказывал какой-нибудь старый солдатский анекдот — схватился обеими руками за штаны и, выпучив глаза, пытался идти на корточках. Снисходительно глядя на проделки весельчака, Димитр сдержанно улыбался. Ослепительная голубизна неба, испарения земли заметно размаривали солдат, но они сохраняли бодрость и продолжали свой путь.

Вскоре подразделение развернулось в боевой порядок. После зимнего бездействия солдаты охотно совершали перебежки, падали на теплую влажную землю, ползли, громко повторяли команду, лихо щелкали затворами виптовок. Полчаса спустя цепь наткнулась на широкий и, несомненно, глубокий канал. Вспугнутые лягушки прыгали с берега в лениво текущую зеленоватую воду. На мгновение показала свою плоскую головку водяная змея, но при виде такого скопища людей тут же исчезла в темной пучине. Солдаты ревелись как дети, в воду летели комки земли, валежник, и на солнце заискрились высокие фонтаны. Поручик Манев подошел к двум командирам взводов и, измерив на глаз ширину канала, озадаченно почесал затылок. Собравшиеся вокруг солдаты, осторожно окуная в воду носки сапог, оживленно говорили о чем-то.

— Все-таки, мне кажется, можно перепрыгнуть, — сказал наконец командир роты, и в его глазах блеснул веселый огонек.

— Что вы, господин поручик! — покачал головой Нейков. — Слишком широко, не взять...

— Ударят сзади из пулемета, — держу пари, без разбега окажетесь на той стороне.

— Это другое дело, — засмеялся Нейков.

Солдаты с любопытством наблюдали за офицерами, прикидывая на глазок ширину канала.

— Пожалуй, будет метра три, — размышлял кто-то вслух.

— Ну, подпоручик Личев, — сказал с серьезным видом командир. — Попробуйте-ка вы...

— Широко, — злобно проворчал офицер.

— Говорят, вы неплохой спортсмен... Если уж вам не перепрыгнуть, кто же тогда сумеет это сделать...

Солдаты заметно оживились. На их лицах заиграли сдержанные улыбки. Подпоручик Личев побледнел и вдруг судорожно принялся сбрасывать офицерское снаряжение. Вся рота столпилась вокруг, стоявшие позади с любопытством спрашивали, что произошло. Подпоручик Личев грубо растолкал солдат и снова измерил на глаз расстояние до противоположного берега. Он, видимо, колебался, но отступить было нельзя.

— Посторонитесь! — процедил он сквозь зубы. — Слышите, вам говорю!

Солдаты образовали широкий коридор и с интересом ожидали, что будет дальше. Кусая губы, подпоручик растегнул китель и начал разбег. Бежал он легко и, судя по скорости, можно было подумать, что он прыгнет на несколько метров дальше, чем требовалось. Все замерли, когда тонкая фигура офицера взлетела над водой. Затем послышался шумный всплеск, и фонтан ярких брызг заставил солдат испрахнуться в сторону. В следующее мгновение поле огласилось добродушным солдатским смехом.

Но лицо поручика Манева оставалось серьезным — на нем не дрогнул ни один мускул, его губы были плотно сжаты. Подпоручик Личев быстро выбрался на берег. Высокомерия в его взгляде как не бывало. Теперь он казался смущенным и беспомощно-жалким. С одежды стекала вода, к лицу прилипла типа. Он топал ногами и бессмысленно отжимал пилотку.

— Господин подпоручик, — шутливо заметил кто-то из солдат, — не забралась ли к вам в сапог лягушка?..

Только теперь офицер опомился. Он бросил злобный взгляд на солдата и раздраженно рывкнул:

— Ну-ка замолчать, дурак!

Смех утих. Поручик Манев сделал шаг в сторону Личева и холодно сказал:

— Если бы вы, подпоручик, вовремя ложились спать, то такого конфуза не произошло бы... Вы не дотянули всего каких-нибудь десять сантиметров.

— Будет вам — «десять сантиметров»! — вмешался подпоручик Нейков. — Шутка сказать!

— Отправляйтесь домой и переоденьтесь, — распорядился командир роты и отвернулся.

Позже, когда они возвращались с учений, подпоручик Нейков нашел удобный случай весело заметить командиру роты:

— Вы, пожалуй, оплатили ему с лихвой за лошадку?

Поручик Манев улыбнулся, но ничего не сказал в ответ.

Четко отбивая шаг, рота возвращалась с песней. С песней вошли в село; прежде чем распустить солдат, поручик поблагодарил их за активность на учениях. Рота ответила громко и дружно. «Вот как следует отвечать», — подумал Манев. В приподнятом настроении он отправился домой. Ему казалось, что в течение последних лет он ни разу не был в таком хорошем расположении духа.

Однажды после полудня в роту пришел командир батальона, кадровый офицер с безупречной осанкой и тонкими холеными руками. Он умел шутить. Дерзкий блеск его глаз говорил о том, что он не посрамит себя в атаке. Но к повседневной солдатской жизни он не проявлял ни малейшего интереса. Командир батальона нехотя заглянул на кухню, посетил склад, бросил небрежный взгляд на списки личного состава и, не сумев никого уговорить сыграть по маленькой, откинулся на спинку расшатанного стула; лицо его не скрывало досады.

— Что-то вы редко у меня бываете, господин поручик, — сказал он, зевая и обнажая почти все свои красивые белые зубы.

— Все некогда, господин майор, — извинился поручик Манев. — Работы по горло...

Майор посмотрел на него с любопытством, потом снисходительно добавил:

— О вашей работе отзываются неплохо, господин поручик, но все же, полагаю, вам следовало бы проявлять больше такта... Да, немножко больше такта... У офицерства есть свои традиции, и, если хотите, эти традиции

очень устойчивы, даже более устойчивы, нежели общественные условия.

По выражению лица пельзя было догадаться, что поручик Манев заинтересовался словами командира батальона, хотя он отлично понимал, к чему тот клонит. Майор снова с любопытством посмотрел на поручика и как бы шутя добавил:

— А вот традиция купать офицеров мне не знакома...

Поручик слегка усмехнулся.

— А почему мы должны забывать старые христианские традиции? — сказал он с иронией.

Командир батальона деланно засмеялся.

— Тоже выпскался Иоанн Креститель!.. — заметил он, не переставая смеяться. — Если понадобится кого-нибудь искупать, буду направлять к вам...

Судя по всему, майор не очень-то обратил внимание на жалобу подпоручика Личева, да и вообще не обнаруживал склонности обременять себя разбором каких бы то ни было неурядиц в своем батальоне. Вскоре он простился и, почти взлетев на свою избалованную лошадку, быстро поскакал к штабу батальона. Там, очевидно, ждали его офицеры, которые не были склонны к элым шуткам и с большей готовностью соглашались сыграть по малешкой.

Вторая рота успешно занималась боевой подготовкой. К концу февраля над всем фронтом нависла смутная тревога. В почное время над селом все чаще стали появляться самолеты, вдали глухо раздавался грохот оружейной стрельбы. Поступали сообщения о стычках патрулей, о боях местного значения. Все это предвещало большое всепнее наступление. Неожиданно немцы без особого шума несколькими мощными ударами смели передmostное укрепление югославов по ту сторону Барча, но, к счастью, остановились у реки и не воспользовались прорывом, чтобы хлынуть в тыл болгарской армии. Брешь быстро ликвидировали. Но состояние тревоги не прошло.

Только полк, в состав которого входила рота поручика Манева, ни на сантиметр не сдвинулся с места — оставался далеко от линии фронта в резерве. Как долго это будет продолжаться, поручик Манев не знал и торопился, наращивая темп военных занятий. Теперь, когда со всеми неурядицами было покончено, он не расставался с ротой, думая и почти готовя ее к предстоящим боям. Лицо его обвет-

рилось и загорело, глаза блестели пуще прежнего, и, хотя он заметно похудел, в каждом его движении чувствовалась необыкновенная бодрость и свежесть,

* * *

По мере того как на фронте назревали серьезные события, Ристо становился спокойнее и мягче, голубые глаза его светились добротой и кротостью. Резкие черты лица солдата словно сглаживались постепенно, он сделался стройней, с его лица не сходила добродушная улыбка. Между ним и хозяйкой командира возникла необыкновенная дружба, он часами болтал с пею, рассказывал ей чуть ли не обо всей своей жизни. Решительно ничего не понимая, о чем он говорил, она терпеливо слушала его, снисходительно качала головой.

Однажды в полдень Ристо принялся штопать прохудившиеся шерстяные носки своего пачальника. Хозяйка спабила его иголкой, черпой шерстяной ниткой и с немалым удивлением стала следить за ловкими движениями солдата. Польщенный ее восторженным взглядом, Ристо расплылся в улыбке и начал заливать:

— Имей в виду, госпожа, я в этих делах мастак! И пятку могу вывязать, и дырку заштопать, и все такое. Дома всем этим приходится мне заниматься. Христом-богом клянусь... С Младенкиными чулками я справляюсь запросто, госпожа. Какая там у ребенка ножка! Гораздо больше мороки с Тодоркиными. В ее чулок учительница обеими ногами залезет. Попимаешь?

— Иген, иген, — привычно закивала головой хозяйка.

— Ни хрена ты не понимаешь, только надо же мне с кем-нибудь потрепаться! Так о чем это я толковал? А, о Тодорке... Это правда, госпожа, я не вру. Осенью Тодорка наказала мне пошить ей шлепанцы. Понимаешь — шлепанцы!

Ристо посмотрел на нее с некоторым сомнением, потом нагнулся и стал жестами объяснять, что такое шлепанцы.

— Панимай, панимай...

— Ну вот! — обрадовался Ристо. — Ты не поверишь, госпожа, распоротые штаны все как есть пошли на ее шлепанцы. Ни мне, ни Младенке сукна не осталось. Но какие шлепанцы получились — чудо! Тодора весь день пошла по селу, показывала всем и каждому — поглядите, мол, что смастерил мой красавчик. Ей вроде бы и ни к

чему, госпожа, а надо мной все стали потешаться — в корчму не смел войти. «Молодец, Ристо, — говорят, — большой...»

Ристо не закончил — где-то недалеко гроыхнули авиационные бомбы, сильно зазвенели окопные стекла. Хозяйка замерла от страха, испуганно выглянула в окно, но Ристо, не обнаружив ни малейшего беспокойства, продолжал штонать посок.

— Немецкие? — озабоченно спросила хозяйка.

— Болгарские, болгарские, госпожа, — ответил Ристо. — Ты немцев не бойся, мы же тебя охраняем...

Однако хозяйка все не успокаивалась:

— Немецки радио гаварит: гроссе наступление... Панимаешь? Бум-бум... Потом болгарски армия в мешок — и фертиг! Панимаешь?

Ристо бросил на нее сердитый взгляд.

— Я понимаю, а вот ты не понимаешь! — бросил он в сердцах. — Как это — «болгарская армия в мешок»? Немцы в мешок! Бум-бум — и фертиг! Понимаешь?

— Иген, иген! — обрадованно закивала хозяйка.

В комнату без стука вошел поручик Манев. Взглянув в сторону Ристо, он нахмурился:

— Ты чем занимаешься? Носки штопаешь?

— Так точно, господин поручик! — ответил Ристо, просветлев лицом.

— Ну-ка прекрати сейчас же! — повысил голос Манев. — Позоришь нашу армию перед венграми...

Ристо сконфуженно убрал носок. Заметив, что тут что-то не так, хозяйка молча выскользнула из комнаты. Манев сел за стол, оперся на него локтем и задумчиво положил голову на ладонь. Ристо сообразил, что ему надо удалиться, но уходить не хотелось, особенно после такого горького упрека командира. Прокашлявшись, он вдруг заговорил:

— Господин поручик, случилось сегодня одно дело... Стоит ли только рассказывать?

— А что случилось?

— Не знаю, может, тебе и не следовало бы говорить. Только разгневаешься...

— Ну вот еще! Конечно, рассказывай.

— Это верно. Ну ладно, слушай, а там уж как знаешь... Зашел я, значит, к Григору на кухню зачерпнуть кипятку и слышу голоса: кто-то разговаривает... Я — поближе, гляжу — стоит ко мне спиной Дишо, не видит,

что я здесь... Мне совсем не хотелось знать, о чем они между собой толкуют, а они, думаешь, начали говорить потише? Ничуть не бывало. Поглядели на меня — ноль внимания: слушай, мол, на здоровье, если хочется...

— Сколько их было? — прервал поручик.

— Человек пять-шесть... Начал Дишо. «У нас, — говорит, — ротный, кажется, неплохой, заботится о солдатах. И пища стала лучше, и одежду дали, да и паек регулярно отпускают, но мне это дело не нравится. При старом командире было куда лучше». Сказать правду, господин поручик, некоторые стали возражать. «Хороший, — говорят, — у нас ротный, а коли тебе Личев больше по душе, то и носись с ним как с писаной торбой». «Нет, — говорит Дишо, — вы ошибаетесь. При старом командире, верно, нам и голодать приходилось, он не из тех, кто службой больно занят, но я лучше соглашусь поголодать два-три месяца, лишь бы не оставить здесь свои косточки».

— Вот как?

— Так прямо и сказал, господин поручик, я запомнил все в точности. «Мне, — говорит, — больше нравятся такие командиры, которые не шибко стараются, на все сквозь пальцы смотрят — так, лишь бы день прошел. А попадется тебе офицер старательный, который о службе больно заботится, чтобы все тебе по закону да по уставу, — добра от него не жди. Сегодня он тебя накормит, а завтра на учениях шкуру спустит...»

— И ты ничего ему не сказал?

— Нет, я себе молчу, господин поручик, да слушаю... А Дишо знай свое. «Если бы, — говорит, — после учений и делу конец — невелика беда. Но завтра в бой, а наш командир, с его упорством и исполнительностью, погонит нас в самое пекло, чтоб там с нами разделались как с цыплятами. Тогда у тебя боком вылезет и чорба, и все остальное. А вот Личев, как вы знаете, был человек не такой — все хотел, чтобы полегче нам было в походе, чтобы не перегружались мы. Разве только мы одни на свете? Есть кому воевать и без нас; да и немца чтоб добить, уже немного народу понадобится. Почему именно нам помирать в конце войны?» Ребята, господин поручик, до этого были с ним не согласны, а после таких слов сразу будто воды в рот набрали.

— И ты все молчал?

— Молчал, господин поручик. Все слушал, а когда меня вкопец зло взяло — я ушел.

— А что же это были за люди?

— Двух-трех помню, господин поручик. Но если встречу, то узнаю и остальных.

В тот же день поручик Манев отдал приказ об аресте Дишо. Подпоручик Нейков в сопровождении двух солдат быстро нашел бывшего курьера и передал его гарнизонному караулу. Новость распространилась молниеносно не только в роте, но и по другим подразделениям, размещенным в селе. У караульного помещения, куда подпоручик Нейков передал арестованного, собралась большая группа солдат, но любопытных быстро разогнали. Через полчаса после ареста Дишо в комнату командира роты вошел бледный и возбужденный Личев.

— В чем дело, господин поручик? — спросил он, едва переступив порог. — Что это за аресты?

— Никаких арестов! — резко ответил командир. — Арестован только один Дишо.

— А могу ли я спросить за что?

Поручик Манев посмотрел на него насмешливо:

— Мне кажется, вы лучше меня знаете о причине ареста.

Ноздри подпоручика Личева слегка раздулись, он с трудом сдерживал себя.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, господин поручик, — проговорил он медленно. — Впрочем, это меня и не интересует. Но, как начальник арестованного, я имею право спросить, за что его арестовали.

— Придет время — узнаете.

— Ах так?

— Да, так.

— В таком случае, господин поручик, позвольте и мне сказать вам пару слов. Я считаю, что все ваши действия и распоряжения не что иное, как грубый произвол и насилие. Не сомневаюсь, что рано или поздно вы поплатитесь за это, и дорого поплатитесь.

Личев побледнел еще больше, глаза его смотрели остро и злобно. Поручик Манев улыбнулся.

— Вы очень любопытно выражаетесь, подпоручик, — спокойно заметил он. — А когда, осмелюсь вас спросить, я должен буду столь дорого поплатиться — когда повернется обратно колесо истории? Не так ли? — И он сделал

выразительный жест — как бы большое колесо оборачивается. Улыбка не сходила с его губ.

— Понимайте как вам угодно! — неожиданно вскинул Личев. — Как вам угодно, господин поручик, только не забывайте того, что я вам сказал. А если вы и забудете, то найдутся люди, которые вам напомнят, будьте покойны...

Подпоручик Личев резко повернулся и быстро ушел. Поручик Маев видел из окна, как он почти бежал вдоль забора, не глядя под ноги и не оборачиваясь. «Так стремительно может идти лишь тот, кто принял какое-то твердое решение и торопится его выполнить, — подумал поручик. — Но что он может предпринять? Необходимо сейчас же допросить арестованного, пока в это дело не вмешались высшие инстанции». Поручик спокойно оделся, туго затянул ремень и вышел.

Дядя лежал на соломенном тюфяке вверх лицом и курил одну сигарету за другой. С появлением командира роты он неохотно приподнялся, но не встал, а, взъерошенный, продолжал сидеть на постели. Он был мрачен, глаза его потускнели, веко как будто опустилось еще ниже. Упрямое выражение его лица не позволяло надеяться, что он скоро заговорит. Заложив руку за спину, поручик холодно посмотрел на него и спросил:

— Тебе известно, почему ты здесь, под арестом?

Солдат едва взглянул на командира.

— Выходит, что ни с того ни с сего? — пожал плечами офицер.

Дядя молчал.

— Не чувствуешь ли ты за собой какой-нибудь вины? Не сделал ли ты чего-нибудь такого, о чем сейчас жалеешь?

— Не знаю, господин поручик. Может быть, и сделал... бессознательно.

— Так... Бессознательно, значит? Что ж, пусть будет бессознательно. А не можешь ли ты вспомнить, что именно ты сделал?

Солдат молчал, но по всему было видно, что он напряженно думает.

— Чем ты занимался до войны?

— Чиновник я, господин поручик...

— Почему же ты рядовой солдат?

— Потому, что у меня нет законченного образования.

— Ага, видно, по протекции — чиновник без законченного образования.

Солдат злобно молчал.

— Где ты работал?

— В дирекции печати, господи поручик...

— На какой должности?

— Регистратором в архиве...

После некоторого раздумья поручик резко спросил:

— А не помнишь ли, что ты говорил солдатам на кухне?

Лицо Дишо на мгновение оживилось, веко приподнялось и открыло как будто обрадованный, просветлевший глаз. «Так я и думал! — мелькнула мысль у командира роты. — Для него этот грех вовсе не самый тяжкий!»

— Да, помню... Я, кажется, действительно говорил какие-то глупости!

— По-твоему, это глупости?

— Что же еще, господин поручик?

— А я думаю иначе... То, что ты сделал, — это не какая-нибудь мелочь, а тяжкое преступление. Во-первых, ты занимался деморализацией солдат, говоря, что я брошу их в огонь с той целью, чтобы их перебили. Ты подкапывался под то, что труднее всего воспитывается, — сознание воинского долга. Ты говорил, далее, что нет смысла идти в бой теперь, когда кончается война, и что есть кому и без нас закончить это дело. Ты утверждал, что немцы готовы капитулировать, и тем самым усыплял бдительность солдат. Ты говорил: чем усерднее и исполнительнее командир, тем хуже для рядовых, и таким образом пытался свести к нулю авторитет своего командира, весь его труд. Знаешь, как все это называется? Скажу прямо: вражеской агитацией перед лицом неприятеля. Если попадешься пастоящему прокурору, за эти вещи получишь пулю. Теперь понятно?

Солдат растерянно посмотрел на него и сильно побледнел. Подойдя к нему совсем близко, поручик Манев продолжал:

— Ты должен понять, что зла я тебе не желаю. Единственное, чего я хочу, — чтобы рота была хорошей и дисциплинированной. А она не сможет стать такой до тех пор, пока среди нас будут находиться люди, подрывающие все мои усилия. Скажи, кто тебя толкнул на такие разговоры с солдатами, и я тебя тут же освобожу. Даю честное офицерское слово, что я тебя сразу же

освобожу, как только ты скажешь, кто тебя надоумил такое говорить солдатам.

На мгновение Маневу показалось, что солдат колеблется. Но потом лицо его вновь приняло упрямое выражение.

— Никто меня этому не учил, — ответил он. — Сам обмолвился... по глупости...

Поручик заходил по компато.

— Даю тебе срок одну минуту. Если и после этого ты мне не скажешь правды, я пойду писать докладную прокурору. И совесть моя будет чиста — за все будешь нести ответ ты.

«Напрасно было и рассчитывать на что-нибудь другое, — подумал поручик, глядя на упрямую физиономию Дишо. — Слишком они оба запутались, чтобы выдавать друг друга».

Солдат продолжал молчать, уставившись на грязный, усыпанный окурками пол.

— Значит, больше ты мне ничего не скажешь?

Солдат не ответил. Не взглянув больше на арестованного, командир роты ушел. Спускались сумерки, по улицам спешили последние прохожие. Где-то вдали глухо гроыхала артиллерийская перестрелка, и ее отдаленное эхо раздавалось на безлюдных улицах. Вдруг Манев услышал позади себя быстрые шаги и чей-то голос:

— Господин поручик!

Он обернулся. Взмолвленно размахивая руками, к нему торопливо приближался Стоян. Его молодое лицо сильно покраснелось.

— Подождите, я вам хочу что-то сообщить, господин поручик, — крикнул он, слегка заикаясь. — У меня очень важная новость! А мне надо бежать принимать сводку.

— Что случилось? — спросил тревожно поручик.

Солдат заметил беспокойство командира и ободряюще заулыбался, предупреждая этим, что новость неплохая.

— Господин поручик, я случайно узнал, кем до войны работал подпоручик Личев: он был пачальником отделения в бывшей дирекции национальной пропаганды. Можете себе представить — начальник отделения пропаганды немецкого фашизма в Болгарии! Значит, мы имеем дело с настоящим прожженным фашистом. Попросту говоря, с геббельсовским агентом...

— Откуда ты узнал? — быстро спросил поручик.

— Мне сказал прикомандированный к штабу дивизия

корреспондент, журналист по профессии, который в прошлом имел с Личевым какие-то счеты. Сегодня, когда я принимал по телефону последние известия, он сам заговорил об этом. «Есть ли, — спрашивает, — у вас пекий подпоручик Личев?» Я сразу догадался, что он мне скажет что-то важное. Так вот, он говорит, что Личев кроме основной работы был также активным ратником¹ в софийской верхушке. Как видите, господин поручик, более закоренелого фашиста не сыскать.

— Хорошо. Спасибо тебе, Стоян. Эта новость, видимо, нам очень пригодится.

Но поручик Манев едва ли подозревал, что это новое и неожиданное оружие ему потребуется так скоро. Уже на следующее утро один из телефонистов принес поручику Маневу приказ немедленно явиться с докладом в штаб к заместителю командира полка майору Атанасову. «Не имеет ли этот срочный вызов какого-либо отношения к аресту Дишо? Очевидно, имеет!» — подумал Манев. Подпоручик Личев не напрасно висел на телефоне, — может быть, ему и удалось в чем-нибудь убедить командира дивизии, своего покровителя. «А что, если вдруг сверху поступит приказ немедленно освободить арестованного? — Поручик беспокойно заходил по комнате. — Нет, не может этого быть. Во всяком случае, никак нельзя допустить, чтобы это произошло». Вдруг он вспомнил, как дерзко вел себя вчера подпоручик Личев. «Чем можно объяснить эту дерзость, — раздумывал Манев, — если не уверенностью в чьей-то авторитетной поддержке? Иначе он бы не осмелился мне угрожать». При одной мысли, что, может быть, придется сложить оружие, не приняв боя, поручик весь передернулся.

По пути к штабу он продолжал напряженно думать. День выдался такой же ясный, солнечный и почти совсем теплый, какими были все дни двух последних недель. В поле было голо, тихо и пустынно; даже щедро залитое солнцем, оно нагоняло грусть и уныние. Хотя уже давно наступила пора полевых работ, пахарей не было видно, не поблескивал на солнце острый сверкающий плуг, не слышалось мычания волов. Крестьяне все еще боялись

¹ Ратник — член фашистской организации «Союз ратников», которая использовалась в борьбе против партизан; после свержения фашистского режима ратники перешли на нелегальное положение и вели подрывную работу в болгарской Народной армии. — *Прим. ред.*

выходить на работу. Их пугала близость фронта, страшили смертоносные мины, таящиеся в их земле; многих мобилизовали в армию или взяли рыть окопы в тылу. По пустынному полю изредка пробегали испуганные зайцы, над ивами лениво махали крыльями сытые вороны. Они садились то на брошенную каску, то на остов разбитого автомобиля и равнодушно смотрели на проезжавшую повозку. Не замедляя хода, она перекатилась через поржавевшие рельсы железнодорожного полотна, и скоро малепькая, с выбитыми окнами будка обходчика осталась позади.

* * *

Майор Атанасов принадлежал к числу тех редких людей, которые даже в особо трудных и запутанных ситуациях не теряют присутствия духа, — напротив, подобные ситуации как будто вызывают у них исключительно приятное возбуждение, оказывают на них некое наркотическое действие. Получив рано утром неприятные сведения из штаба, от генерала Штерева, политического руководителя армии, он, вместо того чтобы расстроиться, стал весело потирать руки в присутствии своего ординарца, говоря при этом:

— Ох и разразится же сегодня скандал, мать честная!

Сотир озабоченно посмотрел на начальника:

— Что ж, нам не привыкать, товарищ майор!..

Немного подумав, майор снова усмехнулся:

— Слушай, Сотир, если меня будет спрашивать командир полка, скажи, что я сплю. Тебе ясно? Сплю, и все тут!

— Слушаюсь, товарищ майор...

Пожав плечами, Сотир вышел во двор. Майор Атанасов тщательно выбрился, неторопливо навел порядок в комнате, убрал со стульев пропагандистские материалы, затем заварил чай и со спокойным видом сел завтракать. Только будь Сотир здесь, он без труда догадался бы, что его начальник далеко не так беззаботен, как могло показаться. Майор Атанасов все время напряженно думал, и чем дальше уходили его мысли, тем яснее он сознавал, что положение создалось весьма сложное и деликатное, как в шахматной партии, когда каждая малейшая ошибка могла привести к мату. Когда было уже без малого девять, он снова позвал ординарца:

— Вот что, Сотир, ступай на улицу и оставайся там. Как только покажется машина генерала Штерева, подай знак, чтобы она остановилась. Очень возможно, что генерал забыл, где я живу...

— Слушаюсь, товарищ майор.

— Ты ведь знаешь генерала Штерева?

Сотир посмотрел на майора обиженно:

— Кто его не знает, товарищ майор! Его и кашевары знают.

— Значит, ясно? Ступай!

— Товарищ майор, только что приходил ординарец полковника...

— Вот как? И что ты ему сказал?

— Как вы велели, товарищ майор: сказал, что вы еще спите.

Майор Атанасов громко захохотал:

— Ой, Сотир, Сотир, лихо ты научился врать, дружище! Разве может политработник спать до девяти часов?

Не поняв шутки, Сотир с растерянным видом посмотрел на майора.

— Ну ступай! Неужто не понимаешь, что я шучу!

Сотир вышел и тут же вернулся:

— Товарищ майор, сюда идет полковник...

— Батюшки! — бросил с веселым видом майор. — Ну, теперь деваться некуда. Ладно, я только что проснулся, Сотир, ничего страшного. Ступай скорее!

— Слушаюсь, товарищ майор!

Атанасов быстро огляделся, снял куртку и принялся с беззаботным видом намазывать тонким слоем масло на хлеб. Послышался стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел полковник Гечев. Он был, как всегда, свеж и румян, на его великолепных сапогах пылинки никто бы не смог обнаружить. Полковник подозрительно покосился на своего помощника и тут же лукаво усмехнулся. Майор Атанасов встал, щелкнув каблуками, и с невинным веселым видом поглядел на командира полка.

— Ну и ну, до такой поры спать! — съязвил командир полка. — Не иначе как вчера вечером участвовал в какой-нибудь попойке?

— Никак нет, господин полковник, до пяти часов утра строчил доклад.

Полковник насторожился.

— Доклад, говоришь? — спросил он без всякого энтузиазма. — Какой еще доклад?

— Генералу Штереву.

— Ну садись же, чего стоишь? — сказал полковник с несколько упавшим настроением. Сам он очень осторожно присел на стул и нарочито шутливым тоном заявил: — Честно говоря, не нравятся мне эти ваши доклады! Кто знает, какую напраслину ты там возвел на меня!

— Упаси бог, господин полковник! Это означало бы возвести напраслину на самого себя.

— Вы, коммунисты, такие вещи делаете запросто, — покачал тот головой. — Как вы это называете — самокритикой, что ли?

Атанасов засмеялся:

— Верно, но прибегаем мы к этому средству лишь в силу необходимости.

Внимание полковника привлек стол — завтрак майора никак нельзя было назвать обильным.

— М-да! — промычал он. — А ты много потерял, что не пришел ко мне вчера вечером. Хозяйка приготовила такой вкусный язык — пальчики оближешь. И водочка была — нечто особенное! Постой, как же ее называют?

— Палинка?

— Нет!..

— Барацк?

Полковник посмотрел на него с подозрением:

— Совершенно верно! А ты откуда знаешь? Пробовал?

— Я только слышал о ней, господин полковник!

— А после нее пили белое, бадачонское — не разливное, а бутылочное, с шикарной этикеткой! Мой витязь специально для меня достал его из подвала. Все в паутине!

— Чем же в таком случае объяснить, господин полковник, что вы так рано встали?

По лицу полковника скользнула мрачная тень — как будто нарушили его сладкий сон, за ноги стащили с постели в досадную и будничную действительность.

— Об этом лучше не спрашивай, — хмуро ответил он. — Меня разбудил командир дивизии в семь утра. Как я поднялся с постели, одному богу известно... Как заорет в трубку — мигом прошел мой сон. Таким сердитым я его еще не видел...

Майор Атанасов посмотрел на полковника невинными глазами:

— А что, собственно, случилось, господин полковник?

— Сущий идиотизм! Я твоему поручику Маневу упишотворю, так и знай! Никому ничего не говоря, заварил такую кашу — просто диву даешься! А разве тебе об этом ничего не известно?

Майор Атанасов в недоумении пожал плечами.

— Я только знаю, что вчера вечером он взял под арест одного из своих солдат! — сказал майор с таким видом, как будто речь шла о совершеннейшем пустяке. — Но что в этом особенного?

— Я и сам не пойму! — бросил полковник с искренним удивлением. — Генерал не из тех, кто станет распускать слюни по поводу какого-то там солдата... Не знаешь, за что он его арестовал?

— Понятия не имею, господин полковник. Я вызвал Манева к себе и, как только узнаю в чем дело, тут же доложу вам.

— Пожалуй, в этом уже не будет необходимости. Генерал приказал немедленно освободить солдата.

Шутливого выражения на лице майора как не бывало. Игра копчилась, настало время говорить серьезно. Он нахмурил брови и сухо сказал:

— Освободить? Как это так? А если он виновен?

— Не будем рассуждать! — с досадой заметил полковник. — Приказ есть приказ.

Майор Атанасов с недовольным видом поглядел на командира полка:

— Но, господин полковник, а может, он убил человека?

— Генерала учить не надо. А твой поручик, где он находится? Кто ему дал право чинить беззаконие?

— Какое беззаконие? — уже с явным раздражением возразил майор.

— Как это какое? Раздал без всякого разрешения неприкосновенный запас. Да за такие действия отдают под суд!

Майор Атанасов с досадой покачал головой:

— Вот видите, как плохо вы информированы! Насчет неприкосновенного запаса он просил разрешения у меня. И я ему дал его! Мне кажется, я имею право на это.

Полковник сердито посмотрел на своего заместителя по политчасти.

— Послушай, братец, ты просто-напросто обманываешь меня! — сказал он с поткой примирения. — Тебе хочется спасти этого прохиндея от ареста...

Атанасов вскочил с места.

— Господин полковник, я офицер! — вспыхнул он. — Если даже я сказал неправду, вы не можете упрекать меня, не убедившись в этом. Иначе я вправе воспринимать это как оскорбление...

— Ладно-ладно, не обижайся! — сказал полковник уже совсем мягко. — Подумаешь, событие! Я сам заступаюсь за Манева, но арестованного солдата все же придется немедленно освободить.

Майор Атанасов ответил не сразу. Он прошелся по комнате, рассеянно выглянул в окно, затем подошел к полковнику. Его предельно напрягшееся лицо было исполнено решимости.

— Господин полковник, вы, конечно, можете отдать такой приказ. Но как ваш заместитель скажу, что я с этим абсолютно не согласен и сейчас же отправлю телеграмму генералу Штереву.

Полковник нахмурился и встал со стула.

— Очень жаль, майор Атанасов! — заявил он с искренним сожалением. — Из-за какого-то глупца портить наши хорошие отношения! Да, в самом деле очень жаль!

Полковник направился к двери в надежде, что его остановят, но майор Атанасов, стиснув зубы, упорно молчал. Тогда полковник сам остановился и, обернувшись, еле слышно процедил сквозь зубы:

— Еще раз позвоню комдиву! Но это ничего не даст — только осрамимся!

Полковник ушел, не закрыв за собой двери. Оставшись один, майор как-то по-мальчишески выпятил губы, почесал в затылке, затем тихонько прикрыл дверь. На лице у него отразилось сомнение, но оно было настолько не свойственно ему, что тут же исчезло. Он подошел к телефону, поднял трубку и рассеянно дунул в нее, — видимо, продолжал что-то обдумывать.

— «Пирин»? — вдруг оживился майор. — Немедленно дай мне «Марицу»... «Марица»? Кто? Капитан Недев? Слушай, Недев, возьми отделение автоматчиков и срочно отправляйся в роту Манева! Да-да! Никто не должен трогать арестованного, пока не сказал своего слова генерал Штерев! Никто, да, никто! Даже командующий армией! Минуточку...

Майор почувствовал, что открылась дверь и кто-то входит в комнату. Обернувшись, он увидел поручика

Манева, отдававшего честь. Он махнул рукой, чтобы тот подождал, и продолжал разговор:

— Тебе ясно, Недев? Только смотри веги себя тактично! Если случится какой произвол, тебе отвечать!

Атанасов вздохнул и положил трубку. Однако чрезмерно бодрый, немного самонадеянный вид поручика рассердил майора.

— Садись, Манев! — сказал он сдержанно. — И сделай милость, не смотри на меня с видом победителя! Ты так все запутал, что теперь сам черт не распутает!

Оживленное лицо Манева сделалось холодным.

— Товарищ майор, я вас не совсем понимаю! — сказал он сухо. — Я действовал именно так, как обещал вам, чтобы вы имели крепкую, боеспособную роту...

— Некоторые свои обещания ты все же забыл, Манев! — строго заметил майор. — Прежде всего, ты ни разу ко мне не зашел...

— Я был страшно занят, товарищ майор...

— Настолько занят, что не нашлось времени позвонить по телефону?

Манев обиженно замолчал. Майор Атанасов покачал головой.

— Слушай, Манев, — продолжал он с серьезным видом. — Ты раздал неприкосновенный запас. Ну хорошо, так тому и быть... Но почему нельзя было связаться со мной? Полчаса назад полковник Гечев меня буквально огорошил. Командир дивизии распорядился привлечь тебя к ответственности. Чтобы тебя спасти, мне пришлось солгать, будто я сам разрешил тебе это сделать. Теперь скажи, разве это по-товарищески, а? Ответь мне, Манев! Почему я должен выступать в роли мелкого лжеца?

Поручик Манев неожиданно осознал свою вину и покраснел:

— Весьма сожалею, товарищ майор.

Майор Атанасов вдруг засмеялся своим мальчишеским смехом:

— Честно говоря, меня это дело немного позабавило. Но как бы там ни было... — Майор сделал небольшую паузу. — К сожалению, главная беда не в этом. Последовал приказ немедленно освободить арестованного.

Поручик Манев весь вспыхнул:

— Приказ? Чей приказ?

— Командира дивизии, — серьезно ответил Атанасов.

— Этого не может быть! — резко возразил Манев. —

Скажите прямо, мы командуем этой армией или фашисты?

— Только без громких слов! — нахмурился майор. — Во всяком случае приказ есть приказ. Его может отменить только командующий армией.

— Он должен его отменить!

— Да, должен! Это уж ему видней. Но когда решается вопрос, кому отдать предпочтение — поручику Маневу или генералу Петкову, — сомневаться не приходится...

Манев энергично покачал головой:

— Выбор должен быть не между поручиком и генералом, а между справедливостью и несправедливостью.

— Обстановка очень сложная, Манев, — вздохнул майор.

— Но поймите же, товарищ майор... — запнулся поручик. — Солдатам хорошо известно, за что Дишо арестован. За моим поступком они видят не меня, а нашу силу и твердость. Если освободить Дишо, то не только в роте, но и во всем полку будут думать, что мы люди слабые и не в состоянии справиться с положением...

— То-то же! — сердито вставил майор. — Это верно, конечно. Потому-то ты и должен был трижды подумать, прежде чем пойти на такую крайнюю меру. А самое главное — согласовать это с нами.

На улице загудел автомобиль. Майор Атанасов прислушался и подошел к окну. В этот момент в комнату вбежал Сотир и, запыхавшись, козырнул:

— Генерал...

Майор Атанасов оторвался от окна:

— Видал? Теперь сам разговаривай с ним!

Вскоре в комнату вошел генерал Штерев. Это был рослый, несколько грузный человек с простым, приятным лицом. Он даже не взглянул на офицеров, старательно отковырявших ему. Генерал неторопливо прошелся по комнате, опустился на кровать и только тогда с каким-то неодобрением поглядел на обоих.

— Ну здравствуйте, — проговорил он наконец. — У вас чересчур тепло. Такие молодые люди...

Генерал долго всматривался в Манева, как бы желая с одного взгляда оценить, чего тот стоит.

— Так это ты, парень, заварил эту кашу? — спросил он.

— Товарищ генерал, я не кашевар! — обиженно ответил Манев.

— Ты смотри, еще обижается! — заметил генерал с искренним удивлением. — Атанасов, дай мне кусочек хлеба, я не завтракал.

— Сделать вам чай, товарищ генерал?..

— Нет, не стоит... Я прошу хлеба! — нетерпеливо возразил генерал. — Вам известно, что генерал Петков отдал приказ освободить арестованного?

— Так точно, известно, — ответил майор.

— Этому не бывать, — покачал головой генерал Штерев и обратился к Маневу: — А ты, братец, если действительно окажешься виновным, понесешь наказание. Раз мы боремся за порядок и законность, сами должны их соблюдать.

— Товарищ генерал, что касается неприкосновенного запаса, то это я дал ему разрешение...

Генерал бросил на него насмешливый взгляд:

— Ну и ну, как можно так бесстыдно врать! Слушай, Атанасов, всю ответственность за эти безобразия я возлагаю на тебя. Люди не настолько глупы, чтобы не понять ваш нехитрый трюк! И нечего выставлять себя на посмешище, имейте в виду! А теперь о главном. Арестованный солдат предстанет перед военным судом и ответит за свои действия. Но вы, поручик, обязаны доказать, что он действительно виноват.

— Это сделать нетрудно, товарищ генерал.

— Прекрасно! Законность соблюдать надо, это верно. Только больше такта, друзья мои. А то получается как слон в посудной лавке. С этим арестом вы поторопились, прямо скажу. Арестами армию не создашь. По-вашему выходит, что на Среме надо было посадить под арест целую полку, да? Скорее могло случиться, что они нас посадили бы под арест. Конечно, легко падрать уши каждому, кто не слушается. Но коммунист и воспитатель не вправе действовать подобным образом. Людей надо терпеливо убеждать, а не драть им уши.

— Товарищ генерал, речь идет не о людях вообще, а о заклятых врагах!

— Больно много ты понимаешь! — махнул рукой генерал. — Хорошо, допустим, ваш Личев — откровенный враг и вредитель. Но ведь он не один. А кто, по-вашему, генерал Петков? Он тоже такой, как Личев?

— Ничего удивительного, — сказал Манев.

— Да, вот видишь, какой ты умник... Что ж, по-вашему выходит, я должен начать в армии повальные аре-

сты? Собрать десяток полковников и генералов — и под суд их? Стоит мне так поступить, как маршал Толбухин завтра же меня за ушко и на солнышко. И правильно делает.

— В самом деле... — пробормотал Атанасов.

— Ты парепь не глупый, Манев, сам должен понимать! — продолжал генерал. — Нашей армии только шесть месяцев. А как же мы в бой пойдем без командиров? Может, некоторые из них и чужды нам и завтра поднимут на нас руку. Это вопрос особый, и мы не должны сами себя обманывать. Но раз они сейчас готовы воевать с гитлеровцами — тем лучше. Сейчас нам важнее то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет. Верно я говорю, парень?

— Совершенно верно, товарищ генерал, — неожиданно улыбнулся Манев. — Я тоже впускаю это моим ребятам...

— Вот видишь! — с удовлетворением заметил генерал и поднялся с кровати. — А теперь я должен идти к генералу Петкову. Надо как-то его успокоить.

— Трудноватая задача, — вздохнул майор.

— Да, не из легких, — примирительно ответил генерал. — Но как-нибудь справимся. В конце концов, у каждого человека есть свои слабости... Скверно то, что стратеги вроде вас постоянно прибавляют мне забот...

Генерал Штерев взял фуражку, надел ее несколько небрежно на свою большую голову и весьма по-свойски, фамильярно подмигнул офицерам:

— А после войны, наверно, подамся в страховые агенты... Сам удивляюсь — кого хочешь уломать могу.

Генерал махнул рукой и ушел. Двое офицеров долго смотрели друг другу в глаза.

— Ясно, Манев? — с грустью и упреком проговорил наконец Атанасов.

— Ясно, — уныло вздохнул поручик.

Майор потер свое гладкое моложавое лицо и хлопнул себя по затылку:

— Ну хватит! Давай-ка теперь пропустим по маленькой за благополучный исход...

Он достал откуда-то небольшую бутылку коньяку и начал пальцем вдавливать пробку.

* * *

Большое весеннее наступление болгарских войск в Венгрии началось тридцатого марта в три часа утра ко-

роткой, но необычайно мощной артиллерийской подготовкой. На узкий участок прорыва близ укрепленного венгерского городка Надьатад обрушился огонь сотен орудий, сухо и резко загромыхали минометы, нетерпеливо затрещали выдвинутые на передний край бронебойщики. Под сосредоточенным огнем вражеские позиции закипели, окутались густым дымом. Огромной силы взрывы взметали фонтаны земли. Над окопами повисла темная ядовитая пороховая мгла; гонимая слабым утренним ветром, она поползла по ничейной земле к позициям болгар. С каждой минутой стрельба все усиливалась и наконец перешла в сплошной оглушительный рев. Над еще недавно тихой зеленой равниной возникла черная фантастическая гора артиллерийских взрывов.

На рассвете болгарские части пошли в атаку. Под их стремительным напором гитлеровская оборонительная линия качнулась, потом неожиданно рухнула среди дыма непрекращающихся взрывов. В начале дня был взят город Надьатад, превращенный немцами в крепость. Болгарские части прошли по его руинам, преследуя врага, потонули среди зелени, потерялись в просторных порелесках. Нестройное многоголосое эхо открытых сражений, коротких ожесточенных схваток, внезапных стычек не замолкало ни на одно мгновение.

День выдался необыкновенно солнечный и теплый, почти летний. Солдаты изнемогали под тяжелыми ранцами, задыхались в толстых зимних куртках, но продолжали идти вперед по разбитым проселочным дорогам. Едва ли во всей Венгрии можно было найти другую такую труднопроходимую местность; к тому же каждую тропинку, каждый открытый участок немцы густо заминировали. Солдаты просачивались через рощи и заросли, натыкались на гнезда «кукушек», исчезали за извилинами проселков и непрерывно стреляли по отставшим и блуждавшим там и сям разрозненным подразделениям немцев. К обеду стало невыносимо жарко, бойцы обливались потом, страдали от жажды, но продолжали двигаться вперед. Их не могли остановить ни минные поля, ни засады, ни пересекавшие равнину укрепленные водные каналы, ни сопротивление деморализованных венгерских частей, которые прикрывали отступление немцев. В первый же день передовые части болгарской армии патолкнулись на линию гитлеровских укреплений «Маргит».

Наступление на время приостановилось — предстоял

новый штурм вражеских укреплений, а солдаты все еще выбирались из лесов и рощ, почти целиком израсходовали боеприпасы, в разорванных о колючие ветки куртках, изголодавшиеся, но в необыкновенно приподнятом боевом настроении. Они бесшумно занимали новые позиции, подсчитывали потери, налаживали связь с соседними частями, слали в штабы гонцов с донесениями и в ожидании приказов быстро подтягивались для нового сражения. Хотя никто ничего не говорил, но бойцы знали, что здесь уже ничто их не сможет остановить, что они будут двигаться вперед с еще большим напором.

Закипела работа в штабах. Выдвигались вперед дозорные, на солнце поблескивали линзы биноклей, изучались показания «языков». Неясный, туманный контур укрепленной линии неприятеля постепенно вырисовывался по всех подробностях: появлялись очертания блиндажей, из зеленоватой мглы перелесков вырастали доты, оскалившиеся дулами пулеметов и орудий. На карты наносились обозначения эскарпов, проволочных заграждений, минных полей, водных преград. Полки и батальоны получали свои участки, лихорадочно их изучали, обозначали позиции рот и взводов, и, хотя над полем боя царила необыкновенная тишина, лишь изредка нарушаемая короткими батарейными залпами, все чувствовали, что готовится нечто большое и решительное. Солдаты с нетерпением ждали приказа о наступлении и напряженно всматривались вперед. Перед их глазами расстилались покрытые свежей весенней зеленью равнины, по склонам холмов белели рано цветущие черешни. Тут и там, между усадьбами и рощами, сверкали маленькие, кипящие рыбой озера, медленно текли воды оросительных каналов. В бинокль было ясно видно, как в селах, прилегающих к линии укрепления, сновали в зеленоватой униформе немцы, вдали гудели невидимые моторы, а в молочном от испарений небе время от времени со страшным ревом проносились вражеские самолеты. После первой большой удачи все бойцы были уверены, что и эти укрепления не устоят под ураганным огнем болгарской артиллерии, не выдержат пати-ска пехоты.

Первого апреля ударный корпус всей мощью своего огня обрушился на укрепленную линию гитлеровцев. Бойцы второй роты, укрытые в окопах, с удовлетворением наблюдали, как под сокрушительным артиллерийским огнем рушилось и гибло все, что враг кропотливо сооружал

неделями. На командном пункте поручик Манев, не опуская бинокля, напряженно следил за действиями артиллерийских и минометных батарей.

— Вот это каша! — пробормотал он наконец и передал бинокль нетерпеливо ожидавшему у него за спиной Цено.

Снаряды падали все чаще и чаще, вздымая огромные массы земли; окрестности заволакивало удушливым дымом. В деревушках, через которые проходил фронт, вспыхнули пожары, и окраинные дома быстро охватило бушующее пламя. Где-то совсем близко стреляло противотанковое орудие — видимо, был обнаружен немецкий дот и теперь артиллеристы вели по нему огонь. Цено, с потемневшим, два дня не мытым лицом, не опускал бинокля ни на одну минуту.

— Видишь окопы? — спросил командир. — Они видны довольно отчетливо.

— Вижу, господин поручик.

— Как раз посередине там имеется небольшое возвышение, видишь? Два дерева с правой стороны.

— Точно, туда сейчас бьет артиллерия, господин поручик.

— И, по-моему, хорошо делает, — тихо и добродушно усмехнулся командир. — Эти деревья послужат нам ориентиром. Рота ударит прямо в центр.

— Понимаю, господин поручик.

Батальон майора Славчева должен был атаковать сравнительно короткий по фронту участок, ограниченный с флангов двумя деревушками. Здесь гитлеровцы не имели особых укреплений, кроме нескольких дотов. Но все же задача, стоявшая перед батальоном, была не из легких — предстояло пробить немецкую оборону и обойти с тыла укрепленные села, которые, как предполагалось, гитлеровцы будут защищать упорно. Оценивая обстановку, поручик Манев понимал, что потеря окажется тем меньше, чем быстрее будет прорвана немецкая оборона и появится возможность ударить по неприятелю с тыла.

Эта тактика уже не раз давала отличные результаты. При атаке первой оборонительной линии вторая рота особенно отличилась и получила благодарность от командира полка. Она атаковала вражеский укрепленный пункт с такой головокружительной быстротой, что, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, потеряла только трех человек убитыми и несколько ранеными, но среди

них ни одного из тех бойцов, которые были особенно близки к дороге командиру. Только Стоян получил легкую царапину у виска, но и он сразу после перевязки вернулся в строй.

Нет, думал поручик Манев, не пропади даром долго изданные изнурительной боевой учебы. День за днем солдаты отрабатывали, словно на какой-то бесконечной репетиции, все, с чем могли столкнуться в боевой обстановке: броски по пересеченной местности, преодоление различных препятствий, штурм дотов, укрепленных зданий, форсирование капалов, железнодорожных насыпей, наступление в непроходимом лесу. Рота не прекращала занятий даже во время двухнедельного контрнаступления немцев. Солдаты похудели, почернели от холодных мартовских востров, но с каждым днем глаза их становились все более живыми и веселыми, все чаще раздавался бодрый смех. Постепенно укреплялся воинский боевой дух солдат второй роты, и в походе ни один из них не отставал, никто не вписывал своего имени в книгу санитарной части: простудные болезни и грипп как будто обходили боевую, веселую и упорную роту. Один подпоручик Личев заболел было ангиной или, может быть, прикинулся больным, но командир роты не придавал этому значения. Он был доволен, что на несколько дней избавился от неприятного ему помощника. Подпоручик Личев вернулся из полкового лазарета отдохнувшим, пополневшим, но хмурым, — очевидно, одиночество в офицерской комнате лазарета не способствовало хорошему настроению. Освобожденный от занятий еще на неделю, он бродил по селу задумчивый, унылый, медленно и неохотно козырял встречным, однако тщательно продолжал следить за своей внешностью и регулярно брился.

Поручик Манев не знал, где и с кем проводил Личев свободное время, но нередко видел, как тот возвращался откуда-то неуверенной походкой, с блуждающим, мутным взглядом. Однажды ночью, возвращаясь домой, поручик издали заметил Личева, который шел, слегка пошатываясь. Было ясно, что он пьян, а может быть, играет в карты с умиравшими от скуки и вынужденного безделья молодыми врачами лазарета. За все время поручик лишь один раз имел столкновение со своим помощником. Как-то после полудня он отправил Личева с первым взводом на занятия в поле, а вечером Цено сообщил командиру, что оно длилось всего около получаса, а все остальное

время ребята сидели в тепе, курили и болтали о пeвооб-
разимых потерях третьей дивизии у Дравы. В тот же ве-
чер Манев вызвал Личева в капцелярию и сделал ему
насиде строгое замечание. Подпоручик что-то проворчал
себе под нос и сослался на то, что у него сильно болела
поясница.

Когда стало известно, что скоро начнется наступле-
ние, поручик Манев распорядился основательно почи-
стить оружие, подогнать солдатское снаряжение и при-
готовиться к походу. Рота вышла в поход в отличном
боевом состоянии, и результаты не замедлили сказаться.
Никто не отстал, ни один не проявил робости во время
атаки. Даже подпоручик Нейков держал себя как на-
стоящий боец — в трудный момент он выхватил из рук
неуверенного наводчика пулемет и метким огнем вывел из
строя расчет вражеской пушки, которая прямой наводкой
стреляла по наступающей роте. Только о подпоручике Ли-
чеве поступали неблагоприятные сведения: он вел бой-
цов без всякой энергии, и его взвод не отстал от строя
лишь благодаря неустержимому боевому порыву самих
солдат.

Поручик Манев взглянул на часы и тихо сказал:

— Иедем еще полчаса. Ты оставайся здесь и веи па-
блюение, а я обойду роту.

Не отрывая глаз от бинокля, Цено молча кивнул го-
ловой. Командир роты повернулся, чтобы иди, и вдруг
усмехнулся: прислонясь к стене окопа, слегка согнувшись
и не сводя глаз со своего начальника, терпеливо ждал
Ристо. Поручика позабавила каска солдата, которая была
ему слишком велика и сползла на глаза, что явно меша-
ло ему смотреть.

— В обход, господин поручик?

— Да, — кивнул командир. — Но ты оставайся здесь.

Алекси и Стоян были в одном отделении и сидели ря-
дом на дне окопа. Библиотекарь добыл у связного свежую
газету и сейчас тихо читал ее своему приятелю. Когда
командир роты приблизился, они встали и лихо козыр-
нули.

— Сегодня сводки нет? — спросил он и на минуту
остановился.

— Нет, господин поручик, — с досадой покачал го-
ловой солдат.

— Теперь мы сами делаем сводку. Придет время — и
о нас сообщат...

Подпоручик Нейков находился на своем наблюдательном пункте и что-то ел из консервной банки. Когда командир роты поравнялся с ним, он наколот на лезвие карманного ножика очередной кусок и с гадливым чувством сказал:

— Смотрите, господин поручик, какую мерзость сварганили люди. Просто с души воротит.

— В чем же дело? Выбросьте.

— Да, — обиженно возразил Нейков. — А как же наступать без горячего?

Сидя в окопе, Бандера с увлечением играл на губной гармонике. Рядом с ним стоял старательно начищенный ручной пулемет, готовый в любую минуту открыть огонь. Бандера уже успел нацарапать на своем пулемете какие-то черточки, но их значение держал в строгом секрете.

Димитр, как это было хорошо известно поручику, находился на самом краю левого фланга. Когда командир подошел, он отдал честь и добродушно улыбнулся.

— Что нового? — спросил офицер.

— Все в порядке, господин поручик.

— Какое тут у вас построение?

— Подходящее. Скоро увидите.

— А где Личев?

— Ушел о чем-то договариваться с соседями.

Когда подпоручик Личев вернулся, командир роты приблизился к нему и тихо, чтобы не слышали солдаты, сказал:

— Смотрите, подпоручик, не отстайте со взводом. — Немного подумав, он неохотно добавил: — И — вам это должно быть известно — без моего приказа никакой поддержки, только вперед.

Подпоручик Личев ничего не ответил и посмотрел на часы.

— Еще пятнадцать минут! — сказал он мрачно.

Еще пятнадцать минут! Командир роты тронулся в обратный путь, не переставая всматриваться в лица солдат. Кто же из этих людей, которых он сейчас видит и которые стали близки и дороги его сердцу, больше никогда не вернется на родину? О, если бы была возможность сохранить их всех, всех, до единого, вернуть их женам и матерям! Но кто-то должен пасть, это неизбежно. А может, и он вместе с ними? Глупо думать об этом. Разве можно предугадать, погибнешь или уцелеешь? Смерть казалась ему чем-то неестественным и несправедливым,

по он ее не боялся. Если придется погибнуть, какая польза мучить себя сейчас мыслями о смерти?

Цено все еще наблюдал в бинокль немецкие позиции, а позади него в окопе дремал Ристо; голова солдата низко склонилась, почти касаясь худых, острых колен.

— Есть что-нибудь интересное? — спросил командир роты. — Не заметно ли какого движения?

— Пока ничего, господин поручик.

Наконец Цено оторвался от бинокля. Его светлое, здоровое лицо казалось совсем спокойным. Глядя на него в эти последние перед атакой минуты, поручик почувствовал, как к сердцу неуловимо подкрадывается тоска. Вот скоро конец войне, и этот молодой крестьянский парень может погибнуть где-нибудь на раскаленном солнце поле, и никогда уже с ним не встретишься...

Поручик Манев взглянул на часы. Еще пять минут!

Немцы встретили атаку ожесточенным артиллерийским и минометным огнем. По всему фронту зловеще затрепали скорострельные пулеметы, завывали мины. Хлестнуло горячим дождем пуль, и цепи выпущены были залечь и дальше продвигаться ползком. Батальон майора Славчева стремительно бросился вперед, но вскоре оба фланга, захлестнутые вражеским огнем, начали отставать. Только вторая рота по-прежнему уверенно продвигалась к немецким окопам, не ускоряя, но и не замедляя темпа, неуклонно, методично. Немцы обрушились на нее всей силой своего огня; позади на зеленеющем лугу уже темпели коричневые униформы убитых и раненых, но рота неуклонно двигалась дальше.

Майор быстро принял решение и потребовал соединить его со штабом полка. Ему ответил сам полковник и, не выслушав до конца объяснения командира батальона, сердито оборвал его:

— То есть как это «сдерживать вторую роту»?! Что за глупости?

— Но иначе она пансет удар в одиночку, господин полковник...

— Этого не будет! Ускорьте движение фланговых рот!

Майор растерянно замолчал.

— Без подкрепления вряд ли это возможно, господин полковник! — сказал он вполголоса.

— Какого еще подкрепления! — возмутился полковник. — Не успели подняться в атаку — и уже давай вам

подкрепление! А если после этого немцы перейдут в контратаку? Что вы тогда потребуете? Дать вам замену?

— Слушаюсь, господин полковник! — не к месту брякнул майор и уже хотел было положить трубку, но в это мгновение его ухо уловило сердитый голос полковника:

— Возьмите два взвода в батальоне капитана Крумова!

— Покорно благодарю, господин полковник! — воскликнул в трубку майор и облегченно откинулся назад.

Только сейчас он заметил, что все это время за ним внимательно наблюдал его замполит, серьезный, озабоченный.

— Полковник разре...

— Понял! — не дал ему договорить замполит. — Но пока мы введем это подкрепление в бой, может всякое случиться!

— Манев тоже хорош — понесся вперед, как с цепи сорвался! — махнул рукой майор и обратился к связисту. — Скорее «Витошу»!

— Манев — офицер что надо! — сухо заметил замполит. — Были бы все как он — мы бы горюшка не внали!

— «Витоша»! «Витоша»! — горлапил связист.

— Господин майор, я пошел! — сказал с мрачным видом замполит. — Мне тут делать нечего!

— Куда вы? — спросил удивленный майор.

— В первую роту. Она, пожалуй, отстала больше.

Командир батальона по опыту знал, что спорить с этим человеком бесполезно. Первая рота была на правом фланге и как будто действительно отставала больше других. Он слова приставил к глазам бинокль, хотя и без того все хорошо было видно. Вторая рота продолжала неуклонно продвигаться вперед, и майор видел, что она ни на минуту не нарушила свой боевой порядок, ни на один метр не отклонилась от заданного направления. Но, к сожалению, две другие роты медлили, а первая как будто совсем остановилась. Он прикусил губу и в тот же миг увидел, как его худой заместитель, согнувшись, быстро и как-то смешно бежал по открытой местности. Застарелый плеврит, похоже, и сейчас его беспокоил, потому что его правая рука была постоянно прижата к груди.

«Не добежит! — подумал с замирающим сердцем майор. — Чудной человек! Вместо того чтобы лежать где-нибудь в больнице, сам лезет в огни!»

— «Витоша»! «Витоша»!

— Да что это с нею, с этой «Витошей»?! — нетерпеливо крикнул командир батальона.

— Не отвечает, господин майор!

— Как так «не отвечает»? Уж не оборвался ли провод?

— Нет, провод в порядке! — вздохнул взмокший от напряжения солдат. — Но почему молчат?..

В первую роту прибежал запыхавшийся замполит. Он был весь желтый. Жесточкие боли в боку затрудняли дыхание, в горле у него пересохло, темнело в глазах. «Мерзкая болезнь! — думал он в бессильной ярости, мучительно глотая воздух. — Как некстати!» Командир роты подпоручик Темелков, худой — кожа да кости — офицер запаса с жертвенно-бледными висками, по профессии учитель пения, встретил его с растерянным видом. Крепкие слова, которые готовы были сорваться с языка замполита, как будто испарились. Он прекрасно знал, что подпоручик Темелков — заботливый, прилежный офицер, что он искренне радуется народной власти, однако бессилён бороться с собственным малодушием, с проклятой робостью. Слишком часто ему приходилось гнущься в далеком прошлом, трепетать перед всякими инспекторами и директорами, чтобы сразу уверенно опереться на крепкие крылья, которые ему дала новая жизнь... Замполит посмотрел на его несчастное лицо с провалившимися глазами и заговорил гораздо более мягко, чем ему хотелось:

— Что тут происходит? Почему рота остановилась?

— Жуткий огонь, товарищ замполит... Головы нельзя поднять!

Услышав, как несколько пуль со свистом пронеслись над головой, замкомбат быстро прижался к земле. Теперь его глаза не видели поля боя, перед ним тянулась поросшая молодой зеленой межа крестьянского надела.

— А как же Манев идет вперед? — нетерпеливо заметил он. — По нему огня не ведут, что ли?

Подпоручик Темелков молчал с растерянным видом, по его вискам струился грязный пот.

— Давайте поднимать роту! Надо скорее поравняться с Маневым, чтобы вместе атаковать!..

— Слушаюсь, — проговорил пересохшими губами подпоручик.

Грохот канонады нарастал по всему фронту, однако замполит батальона скоро заметил, что болгарская артил-

лерия особенно сильно обстреливает вражеские позиции перед первой ротой, помогая ей продвинуться вперед. Но иначе — комбат позаботился. Каково же сейчас выдвинувшейся вперед роте Манева... Над равниной не умолкало эхо мощных артиллерийских взрывов, сопровождаемое ожесточенным пулеметным огнем, где-то далеко, на правом фланге, как будто слышались глухие раскаты «ура», — должно быть, там началась атака.

Поручик Манев заметил, что перед фронтом его роты огонь болгарской артиллерии заметно ослаб. Немцы стреляли очень беспорядочно, все яростней отгрызались их пулеметы. Больше всего затруднял продвижение роты минометный огонь. Немецкие позиции были уже совсем рядом, а соседние роты все еще отставали. Нанести удар без них? Не слишком ли большой риск? Рота уже полетела стремительно вперед, а ползла, в лучшем случае бойцы совершали короткие перебежки.

Недалеко от немецких позиций после минутного колебания поручик приказал роте остановиться и немедленно окопаться. Уставшие солдаты бросились на землю и начали быстро рыть стрелковые ячейки.

— Копайте! — подбодрил их поручик. — Копайте глубже, зарывайтесь.

Лопатки блеснули на солнце, и солдаты заработали с новой силой. Они уже знали, что чем глубже зароятся в землю, тем безопаснее будут для них и пулеметные очереди, и шальные немецкие пули и отвратительно шипящие мины. Переползая с места на место, поручик Манев пристально вглядывался в лица солдат: не обнаруживают ли они колебания, не испугал ли их огонь, не родилась ли у кого-нибудь мысль: «Скорее назад, подальше от этого ада!» Но лица солдат были суровы и решительны, и лишь у некоторых из них вид был несколько более мрачный или подавленный, лишь отдельные бойцы орудовали лопатками не столь уверенно.

Вернувшись обратно, он сразу заметил Ристо; стоя на коленях, тот энергично рыл стрелковую ячейку для своего командира. Вид у него был сосредоточенный. Деловито орудуя лопатой, он не обнаруживал ни малейшего страха.

— Ну-ка ложись! — гаркнул на него поручик. — Чего торчишь пад всеми?

— Меня пуля не берет, господин поручик, — отвистил Ристо, облизав пересохшие губы.

— Ложись, тебе говорят! Сейчас посыплются мины!

— Мне так сподручнее, господин поручик, — вздохнул Ристо, по и когда залег, продолжал бормотать: — Ежели не сподручно, я не берусь — такой у меня характер!

— Господин поручик! — слышался вблизи чей-то голос. — Вас разыскивает Димитр!..

Вскоре подполз сам Димитр, мрачный и встревоженный.

— Третья рота отступила! — тихо сказал он на ухо командир. — Левофланговая возвращается назад.

— Как так «отступила»?! — возмутился поручик.

— Просто не выдержала — отступила. Возвращается на исходную позицию.

Более дурного известия в такой момент пельзя было ожидать.

— А вы? — спросил нахмуренный поручик. — Вы оканываетесь?

— Так точно, господин поручик!

— Возвращайся обратно! — сухо распорядился поручик. — И скажи Личеву, чтобы шагу не смел сделать назад.

— Слушаюсь, господин поручик.

На лице Димитра не трудно было заметить колебание, как будто ему хотелось еще что-то сказать, однако он не стал больше ничего говорить и быстро выполз из окопчика. Пулеметная очередь полоснула перед ним влажную землю, он застыл на месте, потом торопливо пополз в сторону. Поручик Манев напряженно думал. Третья рота отступила! Если отступит и первая — дело дрянь! Выстоять ли ему одному? Ведь до немецких окопов рукой подать. Немцы, конечно, сосредоточат на нем весь свой огонь, а может быть, и контратакуют. «Скверно!» — сказал он про себя, продолжая лихорадочно соображать. Разумнее всего было бы самому проверить, что происходит с первой ротой, а затем связаться с комбатом.

Поручик Манев быстро пополз вправо, но, едва преодолев десяток метров, натолкнулся на замкомбата по политчасти, который торопился к нему.

— Тебя ищут! — с трудом выговорил тот, тяжело дыша и прижимая руку к большой груди. — Мне сказали, что ты где-то рядом!

Недалеко от них взорвалась мина, и они прижались к земле.

— Что там с первой ротой? — нетерпеливо спросил Манев.

— В первой роте порядок! — неожиданно улыбнулся замполит, и его лицо исказила боль. — Я вывел ее вперед, и сейчас она окапывается рядом с вами.

Поручик Манев со вздохом облегчения принял к земле. Раз первая рота на месте, уже легче — вместе они как-нибудь справятся с создавшейся обстановкой.

— А вот третья рота отступила! — сказал Манев. — Мне только что сообщили...

Лицо заместителя командира батальона снова стало суровым.

— Что за безобразие! — воскликнул он с возмущением. — Едва управились с одними — теперь другие.

— Выдержим и двумя ротами! — попробовал его успокоить Манев. — Ничего страшного!

— Дело не в том, выдержим или нет! — мрачно проговорил замполит. — Куда важнее возобновить атаку и выполнить боевую задачу! Командир полка требует, чтобы мы атаковали! Для усиления фланговых рот нам дали два взвода из батальона капитана Крумова...

— Я готов, — ответил Манев. — Но без третьей роты рискованно!

Немецкий пулемет снова полоснул влажную землю перед ними.

— Лягте! — озабоченно сказал Манев. — Могут попасть!..

Замкомбат молча пригнулся к земле. Немецкий пулемет дал еще одну очередь, затем перенес огонь вправо.

— Пойду в третью роту, — сказал замкомбат. — Будьте спокойны, выправим положение!

Поручик Манев возвратился в свой окоп. Ристо продолжал упорно орудовать саперной лопатой.

— Ну и земля, скажу я тебе! — вздохнул он, не глядя на командира. — Не земля, а сметапа...

Артиллерия снова накрыла вражеские позиции перед фронтом роты, и пемцы притихли. Бойцы еще усерднее стали окапываться, то здесь, то там слышались их голоса — они говорили между собой, советовались. Именно в тот момент, когда Манев подумал, что положение полностью стабилизировалось, к его окопчику снова пришел Димитр. На расстроенном лице солдата была тревога.

— Первый взвод отступает! — сказал он, задыхаясь от

усталости. — Подпоручик Личев оттянул первый взвод назад...

В бессильной ярости поручик Манев почувствовал, что перед его глазами опускается кровавая завеса.

— Почему вы его не застрелили?! — закричал он. — Почему не прикончили, как собаку?!

Димитр растерянно молчал.

— Как он смел без приказа отступить?! Кто ему дал на это право?!

— Потянулся за третьей ротой, господин поручик... Я кричал ему со своего места, но он меня обругал. Пять-шесть ребят осталось... и два ручных пулемета...

Поручик Манев так быстро выскочил из окопа, что Димитр от удивления заморгал глазами. Лицо офицера сделалось бледным, он задыхался от возмущения. Манев не полз, а бежал, слегка пригнувшись, туда, где по его расчету должен был двигаться взвод, — несколько в сторону и назад. Поручик слышал злобное жужжание вражеских пуль, вокруг с визгом ложились мины, но он ни на одно мгновение не остановился и не пагнул головы. Гнев толкал его вперед.

Наконец он наткнулся на отступавших и, сплюнув липкую слюну, хрипло скомандовал первому попавшемуся солдату:

— Стой! Где ваш командир?

— Какой командир? — виновато спросил солдат.

— Где Личев?

— Немного левее, господин поручик.

Поручик Манев преодолел еще метров десять и, потеряв всякое терпение, крикнул:

— Подпоручик Личев! Где подпоручик Личев?

— В чем дело? — отозвался кто-то почти у него под боком.

В голосе слышались злоба и упрямство. Манев увидел подпоручика и яростно закричал:

— Что за безобразие! Куда тащите взвод?!

Подпоручик Личев приподнялся на локтях. Его запыленное лицо посерело, глаза злобно сверкали.

— Попридержите язык! — взревел он. — Я офицер и свое дело знаю!

— Вот оно что... — не своим голосом проговорил Манев.

— А вы как думали? Нечего тут орать. Где вы находитесь!

— Приказываю немедленно вернуть взвод на прежнее место! Вам понятно? Ну-ка марш!

— За взвод отвечаю я, а не вы! — продолжал почти истерически пререкаться Личев. — Это вы кидайтесь в огопь очертя голову, а я...

— Вернете взвод или нет? — окончательно вышел из себя Манев. — Я вас спрашиваю!

В глазах подпоручика Личева на мгновение мелькнул испуг, он инстинктивно потянулся к оружию. Но прежде чем он успел взяться за пистолет, прогремело несколько выстрелов. Подпоручик Личев обмяк и бесшумно упал на землю. Манев постоял неподвижно с пистолетом в руке, все еще видя, как у него на глазах пули дырявят куртку предателя, потом машинально сузил пистолет в кобуру и с отвращением посмотрел на расстрелянного. Тот лежал на свежей траве, из его виска медленно сочилась кровь. Вокруг молчали пораженные бойцы; бросив взгляд на побледневшее лицо командира, они опустили головы. Со всем близко затрещали мины, в воздух взлетели столбы земли, сильно запахло порохом. Когда солдаты снова взглянули на командира, он по-прежнему стоял — чудом его не задел ни один осколок — с таким выражением, словно он ничего не слышал и не понял.

— Вы видели, как это произошло? — спросил он неожиданно спокойным глухим голосом.

— Так точно, господин поручик, — чуть ли не хором ответили бойцы, стоявшие поблизости. — Все видели...

— А теперь вперед! За мной!

В это время он заметил Димитра, который в изумлении разглядывал убитого офицера; после непродолжительного колебания Манев отдал новый приказ:

— Веди взвод! Теперь ты будешь отвечать за него до конца!

— Слушаюсь, господин поручик! — ответил солдат, не отрывая глаз от убитого.

Вдали снова глухо загрохотала артиллерия.

* * *

Через полчаса батальон снова перешел в атаку. Несмотря на принятые меры, вторая рота снова одна выдвинулась вперед и стремительно бросилась на немецкие окопы. Не дожидаясь штыкового удара, немцы поспешили отойти, но не назад, а в сторону. Пока Манев раздумывал, продолжать преследование или подождать, когда ударят

соседние роты, случилось самое неожиданное — гитлеровцы яростно коптратаковали с обоих флангов и ликвидировали образовавшуюся брешь в своей обороне. Вторая рота, которая так блестяще провела атаку, неожиданно оказалась отрезанной и изолированной в тылу у немцев.

Впервые придя в замешательство, поручик Манев остановил движение роты. Что делать в создавшемся положении? Пока он первою кусал губы, на немецкие окопы снова со всей яростью обрушился огонь болгарской артиллерии. Не было ни малейшего сомнения — противник отразил атаку двух других рот и теперь артиллерия прикрывала их отход. А ему-то что предпринять? Возвращаться обратно, атаковать немцев с тыла, под жестоким фланговым огнем пробиваться сквозь линию фронта, затем продолжать отступление под свирепым огнем немецких пулеметов и минометов, к тому же без чьего-либо прикрытия? Удастся ли ему при этом вернуть на исходные позиции хотя бы один взвод? Едва ли! И все же ничего другого ему не оставалось, иного выхода не было! Огонь противника заметно усилился, в зарослях кустарника уже замелькали серо-зеленые мундиры. Раздумывать больше некогда, дорога каждая минута! В это мгновение откуда-то появился Цено. Его усталое лицо было спокойным и твердым. Козырнув, он доложил:

— Господин поручик, там, где мы только что прошли, стоят две немецкие самоходки.

«Положение не безнадежно, — подумал поручик. — До тех пор, пока человек жив, безнадежного положения не существует».

— Неважно, — сказал он почти спокойно. — Пробьемся!

— Трудновато будет, господин поручик. А если и пробьемся, то многих оставим.

Поручик Манев с удивлением посмотрел на солдата.

— Что же нам, сдаваться? — спросил он сердито. — Что ты хочешь этим сказать?

— По-моему, нам следует идти вперед, господин поручик. Вперед, в немецкий тыл.

— Ты в своем уме?! — воскликнул командир вне себя, но вдруг он понял так ясно и хорошо мысль Цено, что у него от радости затрепетало сердце.

— Вот высота, видите, господин поручик? — по-прежнему спокойно говорил солдат. — До нее будет с полкилометра, а то и меньше...

Поручик Манев даже не взглянул в ту сторону — он отлично знал эту высоту по карте, к тому же не раз осматривал ее в бинокль. Это было довольно крутое возвышение, и, видимо, укрепленное, если судить по его господствующему положению над местностью.

В плане наступления учитывалось, что высота могла быть использована противником в случае, если его главная оборонительная линия будет прорвана.

— Чудесная мысль! — воскликнул Манев и неожиданно для самого себя обнял Цепю. — Ты не представляешь, какая это чудесная мысль!

— Немцы, — продолжал немного смущенный солдат, — все равно здесь час-два, больше не продержатся. Да пусть хоть день целый держатся — к нам они пока вскарабкаются...

— Быстро! — прервал его командир роты. — Бегите к Нейкову, сообщите ему направление. Пусть идут как можно скорее.

На первых порах бойцы несколько мрачно и неохотно потянулись вперед, в немецкий тыл. Их встревоженные глаза как будто говорили поручику: «Не туда... Не в том направлении идем... К своим, лучше к своим — любой ценой!» Нет, не собирать же их сейчас, не разяснять же...

— Живее! — командовал он сердито. — Шире шаг!

По пути они без труда рассеяли резервную полуроту венгров; неприятельские солдаты, неожиданно увидев болгарских солдат, подумали, что их окружают, и, бросив снаряжение, кинулись вспять.

На высоте закрепилось отделение немцев и пытались оказать сопротивление. Не задерживаясь ни на мгновение, вторая рота яростно бросилась на штурм. Прогредело короткое «ура», затрещали гранаты, и ошеломленные немцы, так же как венгры, вообразили, что остались одни перед атакующим противником, и побежали. Бандера первый взобрался на высоту и, быстро установив пулемет, открыл огонь по бегущим гитлеровцам. Несколько солдат в серо-зеленых мундирах упали на свежую траву, остальные бросили оружие.

Теперь было достаточно времени, чтобы осмотреть свой остров среди вражеского моря. Поручик Манев обошел высоту и остался доволен: о таком хорошем укреплении он и не мечтал. С трех сторон она была опоясана двумя рядами глубоких окопов; эскарпы делали лобовую

часть неприступной, а солидно сооруженные блиндажи служили надежным убежищем даже против артиллерии. Систему укреплений венчали три дота с установленными в них заряженными пулеметами. На каждом шагу были видны следы бегства немцев: валялись рапцы, каски, ящики с патронами и пулеметными лентами, ящики с провизией и даже рация, которую враг не успел уничтожить. В офицерском блиндаже на низком полированном столике, доставленном неизвестно откуда, была приготовлена закуска: сало, сыр, консервы, несколько плиток шоколада, бутылки с вином под станиколовыми колпачками.

— Расстроили фрицам обед, — сказал Бандера и с удовольствием принялся грызть кусок шоколада.

Командир роты вышел. После мрака в холодном блиндаже глаза ослепило голубое небо, и он ощутил теплое, ласковое дуновение с необозримой равнины. Как и следовало ожидать, наименее защищенной частью возвышенности была тыловая, и он приказал немедленно приступить к ее укреплению. Немцы, естественно, не предвидели, что высота может быть атакована с тыла. Но чтобы вознаградить «гостей» за хлопоты по укреплению этой стороны возвышенности, немцы оставили свои пулеметы, ящики гранат и патронов. Поручик еще раз обошел новую позицию роты и дал последние указания.

— Вот теперь пусть пожалуют! — сказал он следовавшему за ним Цено, который внимательно и серьезно осматривался вокруг. — Встретим их как полагается.

— Здесь мы можем держаться целую неделю, господин поручик, — заметил со сдержанной радостью солдат. — Под руками есть все, что требуется.

— Кроме воды, — заметил поручик, чувствуя, что у него пересохло в горле.

— А ее много и не понадобится, — убежденно сказал солдат. — Наши подоспеют...

— Мы теперь как бы десантники, — засмеялся поручик. — Будет что вспомнить...

Не успел он снова спуститься в блиндаж, как на высоту стали падать крупнокалиберные мины. Солдаты, пригибаясь, не переставали рыть пулеметные гнезда и окопы с тыльной стороны возвышенности. Наспех закусив и выпив стакан вина, поручик почувствовал, что его усталость как рукой спяло. Новое положение роты было, несомненно, трудным, но не безнадёжным. Какие задачи следовало поставить перед собой? Прежде всего, в случае, если нем-

цы будут пытаться вытащить опасную «запозу», отражать их атаки, сохранить живую силу для дальнейших решительных боев. Да, задачи немалые и нелегкие...

В блиндаж вошел Цено и доложил:

— Рота потеряла пятнадцать человек, господин поручик. Кроме того, есть пять раненых.

— Заметно какое-нибудь передвижение противника?

— Они еще далеко, господин поручик. Видно, им туговато приходится, раз не могут никого двинуть против нас.

Огонь по высотке усилился, по немцы предприняли атаку лишь часа через два. Атакующих было не более ста, и обороняющиеся отразили их натиск легко, даже не пустив в ход гранат. Ранило Алекси. Осколок мины попал ему в живот. Когда поручик Манев пришел проводить его, тот лежал в офицерском блиндаже и тихо стонал. Заметив командира роты, он смолк и посмотрел на него своими страдальческими, помутившимися от боли глазами.

— В живот угодило? — машинально спросил Манев, хотя отлично знал, куда был ранен Алекси.

— Так точно, господин поручик, — с трудом ответил солдат, не отрывая от него печального взгляда.

— Санитар говорит, что опасно... если, конечно, будешь лежать не шевелясь. Скоро наши прорвутся, и тогда хирург сделает тебе операцию.

— Так точно, господин поручик, — ответил со вздохом Алекси. — Если их сюда не пустите, я выживу.

— Не пустим. Ты прекрасно знаешь, что мы их не пустим.

— Так точно, знаю, господин поручик.

У входа поручик Манев столкнулся со Стояном, который спешил проводить раненого друга. Он остановился, козырнул и сказал, запыхавшись:

— По направлению к нам движется танк, господин поручик.

— Танк?

— Танк. Собственными глазами видел. Сейчас я его верну обратно, господин поручик.

В действительности это был не танк, а самоходка. Она подошла поближе к высоте и стала медленно и методично вести обстрел. Перемещаясь с места на место и ведя прицельный огонь, самоходка разрушила в течение пятнадцати минут все три дота, но из двух последних

солдаты успели вынести трофейные пулеметы. Не в силах нанести какой-либо вред бронированному чудовищу, бойцы отчаянно ругались и грозили кулаками.

К половине четвертого на шоссе у села, расположенного правее высоты, показалось шесть грузовиков с эсэсовцами в черных мундирах. Машины остановились поодаль; подкрепление заняло позицию вместе с солдатами, ходившими в первую, неудачную атаку. На этот раз обстановка создавалась гораздо серьезнее. Численность противника увеличилась более чем вдвое, кроме того, он располагал самоходкой, которая не только вела обстрел, но и служила бронированным щитом; прячась за ним, эсэсовцы легко могли подобраться к вершине высоты.

Атака началась через полчаса. Враг наступал одновременно со всех сторон, а самоходка медленно поползла на высоту с тыла, прикрывая собой длинный хвост автоматчиков. В окопе со связкой гранат притаился Цено. Лицо его было серьезно и напряженно, глаза сверкали. Самоходка подползала все ближе и ближе, ясно слышен был рев мотора и скрежет гусениц. Когда бронированное чудовище было совсем рядом, Цено слегка выполз на бруствер и, сильно размахнувшись, бросил связку гранат под гусеницу. Раздался страшный взрыв. Цено пригнулся и тут же бросил вторую связку. Самоходка замерла на месте, хотя мотор ее все еще продолжал работать, задыхаясь в бездымном угаре. С хорошо защищенной флапговой позиции Бандера открыл яростный огонь из ручного пулемета, и автоматчики, следовавшие за самоходкой, быстро рассеялись.

В суматохе никто не заметил, как голова Цено упала на бруствер и он бесшумно сполз на дно окопа. Гитлеровцы с ожесточением и брабью карабкались на высоту, стреляя из автоматов. Бой был короткий, но необыкновенно жестокий. Успевшие пропикнуть в окопы эсэсовцы были там уничтожены в рукопашных схватках. На головы других полетели десятки гранат. Склопы покрылись трупами гитлеровцев в серо-зеленой и черной форме, всюду были слышны стоны и вопли раненых. Бойцы второй роты непрерывно вели огонь по отступающему врагу и торжествующе кричали. Вдалеке снова со страшной силой загрохотала болгарская артиллерия.

Лежащего на дне окопа Цено первым заметил Бандера. Он оставил свой пулемет, подбежал к приятелю и мед-

ленно приподнял его голову. Лицо Бандеры покрылось мертвенной бледностью, губы слегка дрожали.

— Убит... — сказал он тихо.

Но его никто не услышал, и он крикнул во весь голос:

— Цено убили!

Поручик Манев прибежал в числе первых. Солдат был убит на месте — длинная автоматная очередь изрешетила его грудь. Широкое красивое лицо солдата покрылось смертельной бледностью, но остекленевшие глаза, казалось, все еще остро и пегодующе глядели вперед. Одна из пуль разорвала ему горло, и на груди у него запеклась кровь. Опечаленный командир полными слез глазами посмотрел в мрачные и гневные лица столпившихся вокруг бойцов.

— Вынесите его из окопа! — распорядился он сдавленным голосом.

Героя вынесли на вершину холма и положили на молодую траву. Нежно и печально глядело на него прозрачно-синее небо; застывшее лицо солдата ласкал слабый ветерок. Димитр разостлал на земле платок и сложил на нем личные вещи убитого. Вдруг все вздрогнуло: Димитр держал в руках фотографию с большой синей печатью снизу; на снимке был виден усатый ухмыляющийся жандарм; правой рукой он опирался на винтовку, а левой держал за волосы отрезанную голову. Лицо жертвы было поразительно похоже на лицо лежащего перед ними убитого товарища. Это была голова брата Цено, партизана, погибшего от рук карателей.

Тело Цено покрыли шинелью и на грудь ему положили страшный снимок.

Под чистым небом теперь лежали двое — солдат и партизан — и не могли видеть и понять, как тихо плакали сердца опаленных в сражениях бойцов, как они сжимались от любви и несправедливости, как клялись беспощадно мстить несправедливому врагу.

Поручик Манев встал над телом Цено, скорбный и подавленный, и изволнованно заговорил:

— Товарищи, в борьбе с врагами человечества погиб прекрасный солдат. Преклопимся перед его светлой памятью...

Это было необыкновенное, суровое и волнующее зрелище. На вершине зеленого, затерянного в просторах Венгрии холма, в тылу врага, со всех сторон окруженные не-

павистью и смертью, под чистым синим небом стояли на колеях в горестном молчании бойцы второй роты. Теплый нежный ветер ласкал их лица, обвеивал запахом влажной плодородной земли. А где-то совсем близко нарастал яростный рокот сражения: беспощадно кромсая вражескую оборону, сюда шли болгарские войска, неудержимо шли вперед...

Часть первая

Когда я впервые проснулся в этом огромном зловещем доме, на улице шел дождь. Вряд ли я расслышал его шум сквозь толстые стены, скорее всего он отозвался где-то в глубине сознания, холодный и мутный, как воспоминания последних месяцев. Я подошел к единственному окошку, забранному железной решеткой. В самом деле — снаружи моросил серый тоскливый дождик, едва различимый в неярком утреннем свете. Прежде всего я увидел стену, окружавшую тюрьму, и сразу же за ней — какой-то двор в бурых красках осеи, мокрый и безлюдный. За сплошной паутиной дождя на низком стожке сена, прикрытом кукурузной соломой, сидел, нахохлившись, большой колченогий петух. Он навсегда врезался мне в память — одинокий, погруженный в себя, исполненный глубочайшего презрения к этому кошмарному миру, залитому водой, в которую его рано или поздно окупут и ощиплют до последнего перышка. Дальше виднелись низкие крыши, крытые потемневшей от времени турецкой черепицей, и часть бедной улочки, тоже мокрой и безотрадной. Вид был настолько гнетущим, что я поспешил вернуться на бары.

И тогда я впервые встретился глазами со стариком, который лежал слева. Накануне вечером я лишь мельком взглянул на него; да и он не сказал мне ни слова, поглощенный какой-то бессмысленной мышипой возней со своей жалкой постелью. Сейчас он лежал, закутавшись в ветхую дерюжку, такую короткую, что его толстые щиколотки высовывались наружу вместе с завязками от кальсон. Грубые домотканые штаны он скатал и подложил под голову вместо подушки. Когда я укладывался, он посмотрел на меня и даже повернулся в мою сторону. Тотчас пахнуло кислым запахом перестоявшегося молока. Я

поморщился и первым движением натянул на плечи свое теплое одеяло.

— Ты кто такой? — шепотом спросил старик.

— Никто, — сердито ответил я.

— Все мы никто, — беззлобно и смиренно сказал старик. — Все до одного...

Я плотнее завернулся в одеяло, давая понять, что не склонен к разговорам. Но старик, видимо, по-своему истолковал мой жест.

— Спи, спи! — сказал он с непопятной заботливостью. — Сейчас все спят — самое тихое время...

Я парочно промолчал. В больницах мне частенько попадались такие добродушные назойливые старики, от которых нет спасения. Они готовы телью ходить за тобой, задают сотни вопросов, рассказывают тысячи историй, не дают покоя ни днем ни ночью. Я знал, что разумнее всего было бы холодно и резко оборвать его, но у меня не хватило духу. Я лишь промолчал. И все же старик, видимо, почувствовал мое кислое настроение, смущенно заморгал и бесшумно повернулся ко мне спиной.

Я попытался снова заснуть, но безуспешно. Я лежал неподвижно и смотрел, как светлеет в окошке утренний сумрак, все такой же сырой и хмурый. Дождь, наверно, перестал, но тяжелые осенние тучи по-прежнему плыли над раскисшей землей. Утро запаздывало; оно мучительно продиралось сквозь серую кашу облаков, которые словно задумали утопить его. Я пролежал так час или два, но мне казалось, что прошли дни — так липко и пудно текло время. Все вокруг было невыносимым: и огромная сырая камера, и прущая с нар вонь человеческих тел, и грубый нестройный храп заключенных, безликой массой давивших на меня со всех сторон. Но больше всего угнетало убожество, жалкая нищета, омерзительное ощущение нечистоплотности. Я думал, что не выдержу здесь и дня, а мне предстояли десять страшных лет. Сама мысль, что я могу свыкупиться с этой обстановкой и она станет для меня повседневностью, ужасала больше, чем тюрьма.

И все же я заснул. Разбудила меня какая-то суматоха вокруг, резкий, противный скрип нар. Я с трудом открыл глаза. Старик стоял рядом, костлявый, в грязных кальсонах, и бережно натягивал свои протертые штаны. Сосед справа, очевидно, давно уже встал. По камере сновали заключенные, слышались хриплые голоса, брнчали же-

стяные ведра. Я инстинктивно взглянул на окно. Перед ним стоял молодой человек, бледный как полотно, рыжеватый, коротко подстриженный. Вероятно, еврей — об этом говорил и нос с горбинкой, и поджатые уголки губ. Вид у него был отсутствующий, он словно спал стоя.

— Вставай, сынок! — раздался знакомый тихий голос. — Пора вставать!.. Не то сортиры придется чистить..

Угроза показалась мне настолько страшной, что я тотчас же поднялся.

— Такой у нас порядок, — словно извиняясь, добавил старик.

Одеваясь, я поглядывал на страшного молодого человека у окна. Похож на студента, а может быть, приказчик из какой-нибудь еврейской лавочки, которые в то время сотнями ютились на торговых улицах центра. Он вдруг обернулся и взглянул на меня.

— Здорово, доктор, — приветливо сказал он.

— Здорово, — коротко ответил я.

Он с любопытством и какой-то насмешкой смотрел на меня.

— Слышали о тебе, — сказал он. — И помянули, как покойника! Ну пичего — вырвался-таки!.. Теперь уже не так страшно...

Я промолчал, но он не обратил на это внимания.

— Били тебя? — с участием спросил он.

— Не очень, — сдержанно ответил я. — Да и не за что было...

Действительно, за все время следствия мне вlepили единственную пощечину, правда довольно увесистую. Он удивленно поглядел на меня:

— Как то есть не за что?

— Просто мне нечего было скрывать. Все было ясное ясного...

— В этом смысле, конечно, да! — ответил он. — Но иногда они бьют для собственного удовольствия. Особо — таких, как мы с тобой...

— Таких, как я, — нет, — возразил я. — Врачей они побаиваются. Знают, что когда-нибудь попадут в наши руки...

— Может быть, и так! — усмехнулся он. — Ты понял, почему произошел провал?

— Представления не имею!

— Потом узнаешь... Но предательства не было — просто один из ребят не выдержал...

Я уже оделся, и окно снова повлекло меня к себе с псудержимой силой. Мне показалось, что если я снова гляну в него, то на этот раз увижу и мою маленькую тихую улочку в Лозенце¹. Я вздохнул и медленно подошел к окну. Петух уже исчез, вид без него показался мне еще более будничным и нелепым. И все же было в нем какое-то грустное осеннее очарование, которое я пил глотками, как холодный утренний кофе.

— Интересно, не правда ли? — вдруг спросил молодой человек.

— Что имело? — рассеянно пробормотал я.

— Да эта стена!..

Я невольно поглядел на стену. Она была сложена из камней, набросанных как попало в известковый раствор и застывших мертвой серой мозаикой. Действительно, такой затвердевший хаос вряд ли могло создать человеческое воображение.

— Откровенно говоря, она мне не нравится.

— Нет, она очень интересна! — с каким-то сдержанным волнением возразил молодой человек. — Я каждый день смотрю на нее и все более убеждаюсь, что она похожа на наш мир. Я хочу сказать — на Вселенную...

Сравнение показалось мне глупым.

— На что угодно, только не на Вселенную, — сказал я. — Разве может Вселенная быть неподвижной и мертвой?

Молодой человек похлопал меня по плечу, как мне показалось, с оттенком превосходства.

— Ни то и ни другое, — сказал он. — Но движение таится внутри нее...

Я ничего не ответил. В то тяжелое хмурое утро меня меньше всего интересовали проблемы Вселенной. Молодой человек, очевидно, почувствовал это, потому что спросил уже другим тоном:

— Ты виделся с дядей Нико?

— Да, потолковали вчера вечером, — неохотно ответил я.

— Он велел мне поговорить с тобой. Если хочешь, подыщем тебе место рядом с папик.

— Нет, не папа! — чуть ли не с испугом воскликнул я. — Мне и здесь неплохо.

¹ Лозенец — один из районов Софии. — *Прим. пер.*

— Как хочешь! — Пожав плечами, он неторопливо отошел в сторону.

Сейчас я думаю: до чего же я был молод тогда — слишком молод для своих тридцати лет! Конечно, к тому времени я уже прочел не только «Шахматиста» и «Межзвездного скитальца», но и все произведения Стефана Цвейга и Джека Лондона. И как это ни смешно, я с увлечением играл в предстоящие мне страдания. Я воображал себя чуть ли не узником Шильонского замка, отрезанным от мира стенами одиночной камеры. Мне рисовалось, как я в благородной борьбе с одиночеством и внутренним опустошением постепенно перебарываю свою нестойкую личность и она становится воплощением несломимого духа, стоящего над страданием и физическими муками. Иногда я так расходилсЯ в своих мечтах, что даже стремился поскорее попасть в мрачный клоновник, подобный нашему, чтобы немедленно приступить к самоусовершенствованию. Конечно, первое же соприкосновение с тюрьмой разнесло в пух и прах все мои мальчишеские бредни. Мне тотчас же стало ясно, что бороться придется не с одиночеством, а с многолюдьем. И дух свой придется не возвышать, а припоравливать к кислой вошп, исходящей от старика. Но я все еще надеялся сохранить хоть долю внутренней свободы и самостоятельности.

Вдруг в коридоре послышалось бряцание ключей, дверь с резким скрипом отворилась, и на пороге появился Ахтунг. Я бы никогда не подумал, что человек с такой внешностью может быть падаирателем. Это был упитанный румяный мужчипа, почти лысый, но зато с косматым, как у медведя, загривком. Казалось, что он вот-вот рыгнет или же похлопает себя по тугому брюшку. Он пренебрежительно оглядел нас и сказал негромким сильным голосом:

— Выходи умываться. И без разговоров.

Сказано было тихо, без пажима, однако все вокруг послушно засуетились и пачали строиться в затылок друг другу.

— Доктор, а тебе специальное приглашение надо? — вдруг спросил он уже грубее. — Или хочешь, чтобы тебя погладили по головке?

Я, не торопясь, с достоинством поднялся с места.

— Пошевеливайся, доктор! — прошептал кто-то рядом. — С Ахтунгом шутки плохи.

Но я все так же неторопливо прибрал свои вещи и

пристроился последним. Все это время я ощущал на себе тяжелый и холодный, как глыба льда, взгляд Ахтунга. Пропустив всех вперед, он пошел рядом со мной с левой стороны. Вид у него был до тошноты пресыщенный, но на лице не было ничего угрожающего.

— Будут у нас с тобой неприятности, лекарь, — вымолвил он, по голос его по-прежнему звучал безучастно.

Я ничего не ответил. Так начался мой первый день в тюрьме.

Камера у нас была огромная — более двадцати шагов в длину, — но зато довольно узкая. По обеим ее сторонам тянулись сколоченные из грубых досок два ряда нар, на которых обитали и спали заключенные. Каждому из них — а их было около сорока — полагалась своя крохотная территория на нарах, которая служила и комнатой, и постелью, и рабочим столом. Стены камеры были сложены из крупных камней, подогнанных друг к другу, без штукатурки, а пол — бетонный. Особенно угнетал меня потолок: когда я лежал на спине, он всегда был у меня перед глазами, напоминая своими ржавыми пятнами сводчатые потолки старых турецких бань. Казалось, он так пропитался сыростью, что штукатурка лишь чудом еще не рушится на нас.

И освещение камеры было на редкость скудным, особенно в ненастные осенние дни. В вечном полумраке мы бродили как тети, еле различая друг друга. Пожалуй, это было даже к лучшему, потому что в такой жалкой дыре ничто не заслуживало хотя бы мимолетного взгляда. В сущности, то была не тюрьма в точном значении слова, а старый турецкий каземат, некогда крепость, с толстыми стенами, промозглыми от вековой сырости, сохранившейся из ее глубоких подземелий.

Мои первые дни в заключении были самыми тяжелыми. Хотя я и врач, но особенно меня дожимали удушающие, отвратительные запахи человеческого тела. Кислая вонь от моего соседа старика не давала мне покоя. Но и она не шла в сравнение с одуряющим зловонием тюфяка. Однако самыми невыносимыми были почные миазмы. У меня было такое ощущение, будто днем люди как-то сдерживают себя, но по ночам, когда сознание выключается, освобожденное от контроля тело начинает испускать миазмы беспрестанно и свободно. Этот своеобразный

букет животных запахов нависал почти осязаемой мглой. К нему присоединялась и вонь от двух параш, служивших для ночного пользования. Конечно, к ним прибегали лишь в крайнем случае, но не у всех почки были в порядке, а отвратительная пища часто вызывала желудочные расстройства. К утру мое терпение иссякало, я просыпался разбитый и подавленный.

Впрочем, уже к исходу второй недели мое отчаяние пошло на убыль. Видно, я сам так густо пропитался тюремными ароматами, что почти с ними сроднился.

Клопы тоже прищипляли немало мучений. Неправда, что они кусают только в темноте и панически разбегаются при первых же проблесках света. Лампочка под потолком горела круглые сутки, но клопы давно приспособились к новой обстановке — они нападали лишь на спящих. Не знаю, как и какими органами эти твари различали соп человека от полусна и бодрствования: то ли они следили за дыханием, то ли тайком щупали пульс, по стояло сознанию расслабиться, как тотчас же мирнады клопов выползали из своих щелей. Раздражали не столько укусы, сколько омерзительное ползание этих пасекомых по телу. Я просыпался весь в волдырях и тотчас начинал безжалостное истребление.

Напрасно я надеялся, что клопы испугаются и перебросятся на кого-нибудь попокладистей. Сражался я отчаянно, но они шли и шли. Очевидно, для них это было дело чести или — что хуже — в них говорил инстинкт самосохранения. Они решили во что бы то ни стало победить человека и остаться полновластными хозяевами своей кошмарной империи. Я скоро понял, что борьба бессмысленна, но продолжал ее — лишь из злости и упрямства. Тем не менее в клопином штабе не замечалось и признаков тревоги и замешательства. У них не возникало желания ни усилить атаки, ни ослабить их, чтобы притупить мою бдительность. Они знали, что победа за ними.

Они уже одолели моего соседа слева — Спаса. В бессонные ночи, занятый истреблением клопов, я видел, как он чешется во сне, как сжигается на своем жестком тюфяке, но не просыпается. Его подсознание настроилось на клопов как на неизбежное зло и принимало на себя все удары. Всемогущий человек смирился с клопами и добровольно платил им кровавую дань. Он презирал, ненавидел клопов, но давно уже признал их превосходство.

К моему крайнему удивлению, один старик не страдал от клопов, будто заключил с ними тайное сепаратное соглашение. Я видел, что он спит безмятежно, как убитый. Гнусные насекомые попросту обходили его, очевидно отпугнутые его тяжелым запахом. Но сам старик по-другому разъяснил мне эту загадку. Однажды утром, когда я пожаловался ему на нашествие клопов, он сочувственно глянул на меня своими кроткими глазами и тихо сказал:

— Кровь у тебя сладкая, сынок! Оттого и вся беда. Почему меня не кусают?

— Ври больше! Не кусают! — отозвался Спас. — Просто ты их не чувствуешь!

— Нет-нет! — оживленно замотал головой старик. — До тюрьмы и меня кусали, да еще как... Но теперь у меня кровь загорчила!

Такой взгляд на вещи заинтересовал меня — не как врача, а по чисто шкурным соображениям.

— С чего бы она вдруг загорчила? — спросил я. — Пил снадобья, что ли?

Старик опустил глаза, по лицу прошла тень.

— Есть у меня кручина, сынок... А кручина разъедает кровь.

Спас рассмеялся:

— Пусть так, но лучше чахнуть от кручины, чем от клопов.

— Ничего-то ты не смыслишь! — неохотно проронил старик.

— Как будто в этом мире хоть кто-то что-нибудь да смыслит, — философски заключил Спас.

Высказывание было вполне в его стиле. То был простоватый на вид верзила с массивным черепом и низким лбом. Но за этим лбом таился на редкость скептический, все подвергающий сомнению ум. Вначале мне не верилось, что он сидит по политическому делу, и я однажды спросил его об этом.

— Пожалуй, и я политический, — неохотно ответил он. — Здесь все политические...

— И за что?

— Ни за что, — угрюмо ответил он.

— Ни за что не сажают.

— Подумаешь, дело — поджечь какую-то паршивую сыроварню...

Я не сдержал улыбки. Не ответ, а унылое выражение лица Спаса заставило меня улыбнуться.

— Тогда зачем же ты это сделал?

— Сам не знаю! — ответил в сердцах Спас. — Считаю, что хотел отнять кусок у городской бедноты. Говорили, что сыроварня работает на немцев. Но я-то знал, что это неправда. Немцы и так урвут свое, хотя бы нам всем пришлось пухнуть с голоду.

— Тогда я на самом деле ничего не понимаю, — искренне удивился я.

— А я тем более! — сердито ответил он. — И никто меня не подбивал. Сам задумал и сам сделал. Спрашиваешь зачем? Наверно, хотелось насолить этим нашим правителям. Чтоб не думали, будто мы дремлем. А мы не спим. Сегодня подпалим сыроварню — пусть знают, что завтра их дом займется со всех четырех углов. Наверно, поэтому...

— Значит, причина была, — пробормотал я. — И по-серьезнее брызны...

— Чего ж тут серьезного! — отмахнулся Спас. — И какая кому польза, что я тут в тюрьме сижу? Вот сербы — серьезные люди, все за оружие и в лес!

Конечно, он, как и все, считал меня коммунистом. Ведь меня судили вместе с ними, и на процессе я держался ничуть не хуже их. Даже председатель суда был уверен, что я коммунист, хитро прикидывающийся беспартийным. На самом деле все обстояло не так уж просто.

Разумеется, я, как и всякий грамотный человек, знал, что представляет собой коммунистическое движение. И я был убежден, что разумное устройство мира исключает эксплуатацию человека человеком. Мораль и система буржуазного общества давно стали мне отвратительны. Я не страшился слова «революция»; более того, я считал, что без революций человечество превратилось бы в стоячее болото. Мне приходилось дважды голосовать на выборах в Народное собрание, и оба раза я отдавал голос за кандидатов, которых поддерживала компартия. И все же я не считал себя коммунистом, — как мне казалось тогда, главным образом по философским соображениям.

История моих философских увлечений сравнительно проста. Прежде всего, я получил философское образование, хотя не слишком к этому стремился. Хотел я поступить на медицинский, но средний балл моего гимназического аттестата оказался недостаточно высоким для это-

го. Тогда я окончил философский факультет и уже после мог поступить без конкурса куда угодно. Конечно, за все эти вольности расплачивался отец, который больше меня стремился к тому, чтоб я стал врачом. Но четыре года на философском факультете не прошли бесследно. Они до отказа забили мою мальчишескую голову именами философов и философскими системами. Профессор Михалчев цепил меня как одного из самых способных своих учеников. И я, со своей стороны, считал себя его последователем. Так или иначе, популярные брошюрки о диалектическом материализме казались мне крайне убогими в их попытках объяснить тайны мироздания. Действительность представлялась мне куда сложнее. Мне хотелось иметь ключ к познанию, а не очки или оружие. И конечно, Спиноза был моим кумиром. Встал на такую точку зрения, я испортил своим коллегам марксистам немало крови, и они сторонились меня, правда оговариваясь, что я по такой уж «безнадежный».

Погрузившись в медицину, я значительно охладел к своим философским увлечениям. Волей-неволей пришлось зубрить факты, а для обобщений не оставалось времени. Профессора заговорили обо мне как о многообещающем студенте. В числе первых по успеваемости я окончил медицинский факультет и остался на практике в Софии. Мне как хирургу предсказывали большое будущее.

И как раз в это время меня мобилизовали и направили военным врачом в оккупационный корпус. Там я успел прослужить лишь несколько месяцев. Однажды ночью моя квартирная хозяйка отвела меня в незнакомый деревенский домишко к раненому югославскому партизану. У парня было тяжелое ранение в живот, и мне пришлось оперировать его в невероятных условиях — без света и почти без нужных инструментов. Но эта была одна из самых успешных операций в моей жизни — плод истинного вдохновения. Парня удалось спасти, и я два месяца тайком навещал его. Конечно, я страшно гордился собой, да и на самом деле я впервые в жизни совершил действительно мужественный поступок. Иногда мне даже казалось, что это сделал не я, а кто-то другой, более сильный и достойный.

А затем меня арестовали и отдали под суд. Мне и в голову не пришло отпираться от обвинения. Следователи не вдавались в тонкости. Они обычно задавали мне один и тот же вопрос:

— Зачем вы спасали партизана?

И я неизменно отвечал одно и то же:

— Таков мой врачебный долг.

— Допустим, так, — говорили они, — но почему вы не уведомили органы власти? Это был ваш долг как офицера болгарской армии.

А я опять твердил свое:

— Мой долг — лечить больных и раненых. Арестовывать и судить их — дело властей.

Впоследствии я узнал, что за такие ответы бьют до полусмерти. Но следователи отмалчивались и хмурились. Очевидно, их держали на расстоянии моя ученая степень и добрые отзывы всех моих командиров и начальников. Иначе и быть не могло. В их глазах я был заурядный, скромный, тихий молодой человек, худой, как скелет, очкастый, неразговорчивый и преисполненный чиновничества. В конце концов следователи решили, что мой поступок — чудачество, лишенное политической подкладки. Они ошибались, но их ошибка спасла меня. К разбирательству дела отец мой нанял опытного, известного адвоката, который сделал все, что мог. В итоге я получил минимальный срок, который законы военного времени предусматривают для таких случаев, и благополучно прибыл в тюрьму.

И тут оказалось, что лишь дядя Нико представлял себе, кто я такой и что на самом деле произошло. Я уже упоминал о нем — это был человек средних лет с внешностью деревенского учителя, немножко замкнутый, молчаливый и крепкий, как дубовый корень. Он порасспросил меня о судебном процессе, и я тотчас понял, что он знает о нем больше меня, хоть он и следил за ним из-за тюремных стен. Казалось, что он знает все обо всех. Дядя Нико был, как я узнал вскоре, нашим камерным полпредом. Он вел переговоры с администрацией тюрьмы, он защищал наши права, он определял наши обязанности, и не своевольно, а по решению партийной организации. Наша камера признала его самым умным, самым опытным, политически зрелым и принципиальным. Он был строг к себе и другим, даже суше и строже, чем надо бы. Лишь ко мне и Виктору он относился мягче и внимательнее. Вначале его благосклонность меня озадачивала, но позже я понял, в чем дело. Для него я был все равно что свежая рыбка для кошки, и он кинулся на меня со страстью завоевателя. Он уже успел нацепить мне ярлык «честного

беспартийного» — соблазнительную приманку для каждого прирожденного агитатора — и теперь чувствовал себя обязанным привлечь меня, перевоспитать и очистить, как он выражался, от шипов интеллигентского индивидуализма. Попросту говоря, он намеревался сделать из меня заурядного, дисциплинированного, прямолинейно мыслящего члена партии. Оне не понимал комичности своих намерений, а мне были непонятны некоторые насущные пужды любой революции. Мы часто расходились во взглядах, и постепенно наши отношения охладели.

Правой рукой дяди Нико был Виктор, с которым он всегда советовался во всех затруднительных случаях. Виктор был тот самый молодой человек, которого я увидел возле окна в свое первое тюремное утро. Он действительно оказался евреем-полукровкой, православным евреем, как он сам шуточно называл себя, бывшим студентом физико-математического факультета университета. Он был одним из самых молодых в камере и в то же время ветераном среди политзаключенных — сидел уже третий год из своих четырех. Я не знал, за что его посадили, но в тюрьме он чувствовал себя как дома и со страхом ждал предстоящего освобождения. И он был прав — в тюрьме, по крайней мере, не посягали на его жизнь, страдания были терпимыми, а в каком-нибудь нацистском лагере он недолго протянул бы. Мне не хочется заранее подробно рассказывать о нем, потому что он станет одной из центральных фигур моих воспоминаний. Скажу лишь, что ему было бесконечно чуждо то, что мы в повседневной жизни называем эгоизмом. Он был готов, не задумываясь, отдать все другим.

В конце первой недели я, разбитый бессонницей, пожаловался ему на клопов. Он с удивлением посмотрел на меня, но тотчас же лицо его прояснилось.

— В самом деле? — спросил он. — Что ж ты раньше не сказал?

— А что толку? — уныло ответил я. — Ты, что ли, ими командуешь?

— Представь себе, что я! — рассмеялся он.

Порывшись в своих пожитках, он вручил мне пузырек, на четверть полный какой-то коричневатой жидкостью. На красной аптечной этикетке была надпись: «Наружное».

— Натришь вечером! — скороговоркой сказал он. — Это изумительное средство,

Я, конечно, не поверил. Как врач, я прекрасно знал, что такого сродства не существует. Но все же вечером я небрежно, кое-как натерся. Запах был не из приятных, но в букете всеобщей вони казался лучше любых духов. В ту ночь я спал как выкупанный младенец и ни разу не поднимался на бой с клопами. Вне себя от удивления, я наутро первым делом обратился к Виктору.

— На самом деле твое лекарство изумительно! — с волнением воскликнул я. — Непременно дай мне рецепт.

Виктор печально покачал головой.

— К сожалению, этот пузырек первый и последний, — ответил он.

— То есть как «первый и последний»? — не понял я. — Ведь на нем аптечная этикетка.

— Небольшая уловка, — сказал Виктор. — Лишь бы пропести в тюрьму.

— Хорошо, давай повторим эту уловку.

— Невозможно, — снова покачал головой Виктор. — Но и того, что есть, тебе хватит на несколько месяцев.

— Как на несколько месяцев?! — воскликнул я. — Ведь от него осталось всего несколько капель.

Виктор в отчаянии хлопнул себя по лбу:

— Как это я забыл тебя предупредить! Надо было растереться лишь чуть смоченной тряпочкой. Клопы бегут от одного запаха.

И он рассказал мне необычную и в то же время печальную историю этого лекарства. Пузырек дал ему дядюшка Соломон, бедный парикмахер их убогого софийского квартала. Иногда он за пичтожную цену продавал снадобье своим клиентам. Соломон уверил, что никто в мире, кроме него, не знает этого рецепта, который с незапамятных времен переходит от отца к сыну, как переходят тонкости ремесла или же семейные ценности. Дядюшка Соломон предложил и Виктору маленький пузырек на пробу.

«Зачем он мне, дядюшка Соломон, — сказал Виктор. — У нас дома нет клопов».

«Бери, парень! — строго сказал видавший виды еврей. — Никто не знает, какие времена наступят».

Не желая обидеть старика, Виктор согласился. И лишь в тюрьме вспомнил о пузырьке. Прибегнув к хитрости и небольшому подкупу, он сумел протащить лекарство в камеру. А вскоре Виктор узнал от родственников о печальном конце дядюшки Соломона.

Нахлыпнувшие в Болгарию немцы каким-то образом проникли о чудесном средстве старого парикмахера. Вскоре к нему явились двое пожилых немецких офицеров,— судя по всему, из военных врачей. Они пожелали за солидное вознаграждение выкупить «патент». Но дядюшка Соломон наотрез отказался. Он смиренно пояснил, что рецепт по традиции передается от отца к сыну и что тайна должна остаться в семье, иначе ему не миновать проклятия предков. Но старик, конечно, хитрил.

«Так я и дал им лекарство! С ума сойти! — говорил он родственникам.— Пусть вши жрут их в окнах. Теперь вши на нас работают!»

Немцы пытались уломать его через подставных лиц, но дядюшка Соломон упорствовал. Тогда его забрали в управление полиции, но и там ничего от него не добились. После этого старый парикмахер исчез бесследно. Очевидно, его вывезли в Германию, чтобы там вырвать у него секрет лекарства, которое к этому времени превратилось чуть ли не в стратегический продукт.

— Не думаю, чтоб им удалось добиться своего,— с грустью сказал Виктор.— Иначе пошли бы слухи о таком лекарстве.

Некоторое время мы молчали.

— А теперь хотя бы месяц не ходи в баню,— сказал со вздохом Виктор.— И ни один клоп не пристаёт к тебе. Имей в виду, что эти гады особенно падки на повичков.

Я долго не мог простить себе свою ошибку. Обидно было и то, что я лишился драгоценного лекарства своего нового товарища. Но сам Виктор как будто вовсе не заботился о себе. Что бы с ним ни случилось, он знал, что его пароду приходится куда хуже, и несколько лишних клопов не могли повлиять на его настроение.

Любопытно было то, что и другие заключенные редко жаловались на клопов. В большинстве это были простые болгарские крестьяне из оккупированных областей. Сербов было меньше, ибо многие из них заканчивали свой земной путь, не дойдя до стен тюрьмы. Было еще несколько рабочих и даже один чиновник — почтовый телеграфист. Они жаловались на все — чаще всего на скверную пищу, на спертый воздух, на слишком короткие прогулки и свидания с близкими, но меньше всего на клопов. Люди привыкали к ним легче, чем к остальным бедам и невзгодам, и это отчасти объясняет, почему в наш цивили-

лизованный век паразитизм считается обыкновенным, повседневным явлением.

И потекли один за другим серые спокойные дни заключения. Сейчас они кажутся мне не долгим рядом дней, а одним-единственным днем, растянувшимся от первой до последней минуты моего пребывания в тюрьме. Каждый день был похож на другой: мы вставали, три раза хлебали зловонную похлебку, дважды нас выводили на прогулку. Эти прогулки были главным событием дня. Мы с каким-то упоением шагали по мощеному двору, вопреку тому, как старая турецкая тарелка. Со всех четырех сторон его ограждали ржавые стены, вечно холодные и влажные, со смотровыми окнами, напоминающими бойницы старой крепости. Подле стен стояли в небрежных позах надзиратели, небритые, молчаливые, и бездумными взглядами следили за нами. Мы шагали и шагали, а над головами у нас свободно бежали облака, гонялись друг за другом ветерки. Мы дышали, двигались, жили. Затем нас выстраивали и снова вели по бесконечным пустынным коридорам. За нашими спинами одна за другой громыхали тяжелые окованные железом двери, глухо бренчали ржавые ключи и цепи. Последней захлопывалась за нами дверь нашей камеры. Жизнь замирала.

Самым странным было то, что меньше всего меня угнетало именно само наказание — лишение свободы. Целый месяц я неустанно размышлял над этим загадочным явлением. Всю мою сознательную жизнь свобода была для меня больше чем фетишем.

«Но какая свобода? — озадаченно раздумывал я. — Может быть, политическая свобода или же свобода беспрестанно и без ограничений высказывать свои мысли?» Здесь была налицо такая свобода — я мог болтать о чем угодно. Но в этом ли истинная свобода? Я терялся в догадках, и как ни сложны и запутанны они были, ясно было одно — физическая свобода для людей моего типа не является продуктом первой необходимости. От лишения физической свободы гораздо больше страдали простые, бесхитростные люди, особенно из крестьян. Среди нас был один чабан, уже немолодой, совершенно неграмотный, осужденный на очень большой срок. За несколько месяцев он буквально растаял у нас на глазах и во взгляде его появилось какое-то нечеловеческое страдание. Иногда он часами стоял у единственного окошка, и никто не осмеливался попросить его уступить место. По ночам он

почти не спал, бродил, как лунатик, по камере или жо, прильпнув к дверной щели, глазел до изнеможения на какой-нибудь уголок ярко освещенного коридора. Для него свобода была не верой, не идеалом, а бытием.

Иногда я думал, что свобода — это право общения или, вернее, право завязывать человеческие взаимоотношения. Но и это вряд ли было верно. Я избегал всякого общения; многолюдье тяготило меня. Тогда я начал думать, что ценнейшей квинтэссенцией свободы является право оставаться наедине с самим собой, чтобы не чувствовать постоянного, как атмосферное давление, присутствия людей. Здесь же я не мог ни на миг остаться один, со всех сторон меня толкали люди, оглушала человеческая речь, разглядывали десятки глаз. Вначале это не тяготило меня, но с течением времени стало превращаться в кошмар. Я уже не мечтал ни о чистой постели, ни о ванне, ни о кружке холодного пива в ресторанчике на открытом воздухе — я мечтал лишь хоть ненадолго остаться один.

Даже во сне меня не оставляли люди — огромные толпы захлестывали меня со всех сторон, как море; я просыпался весь в поту от внутреннего напряжения. Над головой светила с грязного потолка тусклая лампочка, и снова со всех сторон меня окружали люди: одни лежали с открытыми глазами, как мой старик, другие тихо бродили по проходу между нарами. Мрачный, с всклокоченными волосами, у двери стоял чабан и смотрел в щель на свой крохотный кусочек свободы.

А смотреть-то было не на что — виден был один пустой коридор с дощатым полом, ярко освещенный электричеством. Впрочем, иногда по нему гулким шагом проходил часовой — какой-нибудь щуплый заспанный солдат с обветренными губами и прыщавой шеей. И они тоже были заключенными, быть может еще более бесправными, чем мы. Мне иногда казалось, что часовые завидуют нам за то, что мы ничего не делаем и спим вволю. А им всегда хотелось спать, недаром глаза у них были красными от бессонницы. И они действительно засыпали при первой же возможности. В тупике нашего коридора были свалены старые полусгнившие тюфяки, давным-давно выброшенные из камер. Заступив на пост, часовые растягивались на тюфяках и безмятежно спали два часа, отведенные на дежурство. Они почти ничем не рисковали. Для смены часового дежурному офицеру надо было, мимовав

внутренний двор, пройти четыре массивные двери. Те заключенные, которые не спали на почам, замечали офицера и успевали разбудить часового. Было что-то трогательное в этой братской солидарности горемык.

Но однажды ночью я проснулся от необыкновенного шума. Вся тюрьма гудела. Я привстал на парах и с удивлением огляделся. У двери столпилось песколько заключенных, они яростно колотили по пей каблуками и деревянными сандалиями. Громче всех, с каким-то неистовым озлоблением, барабанил чабач.

— В чем дело? — спросил я в тревоге.

Мой сосед старик растерянно посмотрел на меня.

— Солдат заснул. — сказал он. — Не могут разбудить.

Я вскочил на ноги. Действительно, несмотря на ужасный шум, солдат блаженно храпел на вонючих тюфяках. Услышав стук, дежурный офицер повернул обратно, взял с собой почти весь караул и теперь медленно подходил сквозь бесчисленные двери к нашему коридору.

Встревоженные заключенные забарабанили еще сильнее. Слышались возгласы и крики, кто-то отчаянно звал солдата по имени. Сквозь щель в двери мы не видели солдата, но наутро узнали все до мельчайших подробностей. Несмотря на шум и гвалт, солдат, измученный бесконечными дежурствами, так и не проснулся. Наконец распахнулась последняя дверь и караул ворвался в коридор. Помочь уже ничем нельзя было, и стук разом прекратился. Офицер взял у солдата винтовку и пинками стал будить его. В полусне солдат долго бормотал что-то и отбрыкивался, не открывая глаз. Наконец, открыв мутные со сна глаза и поняв, что случилось, он как зверь набросился на офицера, пытаясь отнять у него винтовку.

— Теперь запросто угодит в тюрьму! — мрачно уверял Спас. — Не отвертеться ему.

— Говоришь так, будто сам отдыхаешь на курорте, — пробормотал я.

— Почему? Разве тебе его не жалко? — спросил Спас.

— Искренне говоря — нет! В конце концов, не я его сторожу, а он — меня.

— Ты не прав, доктор, — разочарованно возразил Спас. — А я-то думал, что у тебя душа широкая.

Жизнь наша была бедна событиями, и об этом происшествии говорили целую неделю. Конечно, в тот же день старые тюфяки убрали из коридора. Но солдаты, прислонившись к стене, продолжали спать уже стоя, как лоша-

ди. Теперь им самим нетрудно было просыпаться при опасности, и заключенные больше не оберегали их по почтам. Снова нашим единственным развлечением оказалось «кино».

Так мы прозвали окно нашей камеры. Его нарезанный квадратиками экран предлагал нам по так уж много, но мы были не слишком взыскательны. Вся камера говорила о красивой русской девушке, живущей в доме напротив. Мне не скоро удалось ее увидеть, хотя меня частенько подзывали к окну. Бежать по первому зпаку мне не позволяло мое врачебное достоинство, а когда я наконец подходил ближе, девушка исчезала — она не очень-то баловала нас экран. Лишь к концу первого месяца и на мой билет пал довольно солидный выигрыш. Девушка действительно была светловолосая, красивая, насколько может быть красива бедная девушка; во всяком случае, она была тоненькая и стройная, что особенно подчеркивала та поза, в которой я ее застал. Она развешивала во дворе белье, и, поскольку веревка была натянута слишком высоко, девушка поднималась на цыпочки и тянулась руками к небу, напоминая птичку, которая хочет вспорхнуть. Сеанс выдался прекрасный — длинный и восхитительный. Наконец девушка, подхватив с земли низкую широкую корзину, проворным шагом скрылась в доме. Я отошел от окна, чувствуя легкую дрожь в пальцах, будто подглядывал в окно жепской бани.

Пожалуй, это было нечто вроде измены, ибо в ту пору я был влюблен, хотя и не очень пылко. То была скупая интеллигентская любовь, в которой было больше слов, чем поцелуев или тому подобных вольностей. Моя неспособная девица не любила целоваться; больше всего на свете она ценила слова, одни слова — занимательные, красивые, обольстительные слова. Я буквально выдохся, придумывая все новые и новые, но ей все было мало. Когда я ушел в армию, она чуть ли не каждый день слала мне письма, аккуратно исписывая нежно падушепные листки пышными, изящными, но пустыми словами. И я пытался отвечать так же; иногда мне это удавалось, иногда нет, но, что бы я ни написал, я всегда чувствовал, что автор письма — некто другой, либо более вдохновенный, либо более жалкий, но только не я.

Не успел я прибыть в тюрьму, как снова получил от нее письмо. На этот раз оно оказалось более человечным, хотя и не без громких и красивых фраз. По всей вероят-

пости, она искренне встревожилась за меня и старалась поддержать во мне бодрость и надежду. Несколько строчек были так усердно зачеркнуты тюремной цензурой, что я, как ни бился, не разобрал ни слова. Я небрежно сунул письмо в книгу, которую мне накануне дал Виктор. Через несколько дней я вернул ему книгу, забыв про письмо. На следующий день он подал мне письмо, и мне показалось, что он смущенно отвел взгляд.

— Прочитал? — в упор спросил я.

— А ты как думаешь?

— Не думаю, а уверен, что прочитал, — сказал я.

— Что правда, то правда! — Он так непринужденно рассмеялся, что сразу обезоружил меня. — За такое письмо я бы отдал два-три года жизни...

— Тогда я попрошу ее написать и тебе два-три таких письма! — пробурчал я. — Ей безразлично, кому писать, лишь бы подбирать красивые слова.

— Нет, ты не прав! — с возмущением возразил Виктор. — Я, конечно, не знаток женщины, но эта девушка необычайно умна и интеллигентна. В душе она настоящая писательница. Мадам де Сталь ей в подметки не годится.

— Вот именно! — сердито сказал я. — Писательница! Наверное, воображает, что ее письма когда-нибудь издадут.

Виктор пожал плечами и с обиженным видом отошел от меня. У него не укладывалось в голове, что можно быть таким грубым и неблагодарным.

Если не ошибаюсь, в первый же месяц моего пребывания в тюрьме произошло еще одно примечательное событие. Однажды утром дверь распахнулась и на пороге появился Ахтунг, как всегда сытый и самодовольный. Одним лишь взглядом он словно наколот меня на булавку и стащил с пар.

— Вставай, доктор! Идем со мной!

Неприятное предчувствие царапнуло мне сердце. Надев пиджак, я с хмурым видом подошел к нему.

— Куда ты меня поведешь?

— К доктору, — ответил небрежно Ахтунг.

— А я не болен.

— Коль зовет, значит, болен! — грубо отрезал Ахтунг. — Потешивайся, и без церемоний!

Мы пошли по бесконечным коридорам, и мне показалось, что за нами захлопнулось около десятка дверей, пока мы добрались до нового административного корпуса.

Там уже не так густо вопяло турецким казематом, степы были сухие, по полу тяпулась длинная дорожка. Наконец мы подошли к двери с надписью «Кабинет врача». Мой грубый и бесцеремонный спутник постучал с таким подобиюстрастием, будто за дверью сидел по меньшей мере министр.

— Войдите! — раздался голос.

Ахтунг, чинпо сдвинув каблукы, открыл дверь. Я увидел полного человека в очках с газетой в руке.

— Входи, входи, коллега! — сказал он с улыбкой, понимаясь мне павстречу.

Тюремный врач, уже пожилой мужчина, выглядел заурядным провинциалом. Румяные круглые щеки свидетельствовали об отличном здоровье, а небольшие, чуть заплывшие, желтоватые глаза смотрели открыто и добродушно. Он ничуть не походил на врача, а скорее — на корчмаря или торговца пышками. Когда я вошел, он оглядел меня с простодушным любопытством и по-свойски подхватил под руку.

— А ты ступай! Понадобишься — позову! — обратился он с убийственным пренебрежением к Ахтунгу. — Садитесь, коллега! И не смотрите на меня так строго: я вовсе не классовый враг.

Я сел и украдкой огляделся по сторонам. Кабинет был чистенький. Видимо, у доктора редко бывали посетители.

— Извините, я только два дня тому назад узнал, что в тюрьме сидит мой коллега. Я работаю здесь уже двадцать лет и должен вам сказать, что это первый случай.

— Это что, упрек? — спросил я с затаенной враждебностью.

— Что вы, избави господи! Как раз наоборот, я подумал: как не стыдно этим скотам осуждать человека за то, что он оказывал медицинскую помощь!

Это было уже нечто, и я посмотрел на него более внимательно.

— Да, именно так было дело! — ответил я. — Полагаю, что и вы на моем месте поступили бы точно так же.

Он так обалдело поглядел на меня, что я невольно усмехнулся.

— Я-то? — растерянно пробормотал он. — Ну, наверно, не совсем так, как вы... Впрочем, как знать — чего ипогда не сделаешь... Все же я должен вам заметить, коллега, что я болгарский патриот...

— Мне кажется, и я тоже... Но при чем тут патриотизм?

— Как при чем? В конце концов, имеем мы право охранять освобожденные болгарские земли? Или вы иного мнения?

— Конечно, иного. В противном случае я должен оправдать тех, кто меня осудил.

— Ах, я не к тому! — вскричал мой собеседник. — Врачебный долг превыше всего. И я преклоняюсь перед тем, у кого хватило сил выполнить его до конца.

Признаюсь, что у меня отлегло от сердца. Отбросив подозрения, я подумал, что толстяк, очевидно, пригласил меня вполне чистосердечно. Тем временем он открыл один из своих врачебных шкафчиков и извлек оттуда квадратную бутылку с выпуклой надписью на английском языке. Емкость была обозначена — один галлон, — а содержимое не вызывало никаких сомнений.

— Принес тут кое-что, выпьем с тобой, — сказал он. — Давненько не беседовал с порядочным человеком. Здесь, можно сказать, все мои коллеги — мошенники! И бестолочь притом!

Он налил мне полный стакан, посмотрел вино на свет и, довольный, сказал:

— Хорош цвет? Это пастоящая повосельская гамза, молодой человек. Ни на какое другое не смеяю. У меня дома целая коллекция французских вин, но сам я их не пью — берегу для всяких высокопоставленных простаков. Угощаю, когда нужно их задобрить.

Он снова пагнуллся и стал шарить по шкафчику, слегка пыхтя от натуги. Живот явно мешал ему спокойно заниматься делом. Вскоре на столе появилась и закуска — какие-то домашние охотничьи сосиски особого приготовления, брызга, копченая колбаса.

— У меня небольшое хозяйство в Ново-Село, — пояснил он. — Все это натуральное, домашнее.

За выпивкой врач-хозяйчик не снесла рассказал мне свою скромную биографию. Он учился в Мюнхене у известных профессоров и, судя по всему, стал неплохим врачом. В городе у него была столь обширная клиентура, главным образом из окрестных сел, что он еле справлялся с делом. Крестьяне в том краю зажиточные, и он греб деньги лопатой.

— Зачем же вам тогда эта служба? — с недоумением спросил я.

— Как то есть зачем? — переспросил он, подняв брови. — Для пени, конечно.

Догадавшись, что я не понял, он поспешил добавить:

— Для меня ясно, как белый день, что немцы проиграют войну. Как бы они ни выжились, как бы далеко ни забрались, в конце концов наступит крах. А вместе с ними загремим и мы, если, конечно, вовремя не отколемся. Но у наших на это ума не хватит. И что же тогда? Хозяйственная разруха, инфляция... А с пенсией как-нибудь удастся свести концы с концами.

Я невольно усмехнулся — эти маленькие желтоватые глазки, оказывается, заглядывали далеко вперед.

— Странно! — заметил я. — Такие взгляды у немецкого воспитанника...

— Именно поэтому, — сказал он, покачивая головой. — Я слишком хорошо их знаю. У них нет сил вести войну на два фронта — это азбучная истина.

— Теперь мне ясно, зачем вы пригласили меня, — шутливо заметил я. — Умный и предусмотрительный человек хочет своевременно застраховать себя с тыла.

Мой коллега хихикнул, не скрывая удовольствия.

— Ну уж не такой я мелочный! — сказал он. — К тому же у меня брат — коммунист. Иначе и тоже получил образование в Мюнхене. Теперь он, конечно, помалкивает, но придет время — и его слово будет кое-что значить.

— Э, вот тут-то вы, пожалуй, ошибаетесь! — с усмешкой возразил я. — Ради идеи коммунисты жертвуют и сватом и братом.

Он нахмурился.

— Верно, все вы фанатики. В этом ваша сила и слабость. И все же, молодой человек, кровь всегда даст себя знать. Придет время — сам поймешь.

Мне так и не стало ясно, что у него перевешивает: добродушие или же хитрая предусмотрительность. А может быть, сильнее всего в нем был неразвращенный крестьянский здравый смысл. Когда мы уже изрядно выпили, он сказал:

— Я придумал кое-что для вас... Это не так просто, но можно попытаться. Областной управитель и директор тюрьмы — мои приятели. Частенько играю с ними в бридж, а иногда и в покер. Они свипсы, но здесь все так же. Бывает, что и помогают кое в чем.

Он заметил, что я поморщился.

— Не спеши — ничего дурного я тебе не предложу. Возьму к себе помощником. Кстати, я сижу в этом кабинете час в день, не больше, а то и вовсе не бываю. Весь день будешь свободен, хочешь — читай, хочешь — занимайся. Только спать придется в камере.

Что и говорить, предложение соблазнительное. Я молчал, чувствуя, что придется сделать усилие и перебороть себя. Тогда он поспешил добавить:

— Со временем можно добиться разрешения и спать здесь. Не заметишь, как отсидишь.

— А если я убегу?

Вопрос застал его врасплох. Вначале он смутился, но выпитое тут же вернуло ему смелость.

— Скатертью дорога! Сумей только...

— Да, но тогда пострадает поручитель.

— За меня не бойся. Сыпану на чашу весов золота и все равно откуплюсь.

— Вряд ли я так дорого стою! — пробормотал я.

— Да я знаю, что никуда ты не убежишь, коллега! — убежденно возразил он. — Куда ты побежишь? На воле тебя на каждом шагу ждет пуля. А тут ты спокойно пересидишь войну, будто ее и не было.

Я отрицательно покачал головой:

— Большое спасибо. Но я на это не пойду и прощу вас больше не говорить об этом.

Он с недоумением поглядел на меня.

— Да почему же?

— Просто так! Предпочитаю остаться с другими.

Он пожал плечами; видно было, что мой отказ обидел его.

— Покуражиться захотел или из чистого идеализма упрямиться — все равно глупо... Но, возможно, у тебя есть и другие соображения.

— Какие соображения? — не понял я.

— Выбиться в тузы после заварухи. Моя идея, конечно, будет стоять тебе изрядной доли капитала.

Такое подозрение показалось мне настолько смешным, что я расхохотался:

— Какой из меня туз? Ведь я врач!

— Бывают тузы и из врачей! — убежденно заявил он.

Я не стал разубеждать его — что толку, если он сочтет меня глупцом? Пусть думает, что я такой же умный и предусмотрительный, как и он. Отказав ему, я почувствовал себя свободнее. Вино показалось еще вкуснее, и

я с удовольствием подпьял стакан. Но через час я понял, что изрядно пьян. Он заметил это.

— Организм ослаб! — сказал он, сочувственно покачивая головой. — Да и вино такое крепкое, что быка с ног свалит.

Я так и не помню, о чем мы говорили потом и как меня отвели обратно в камеру. Лишь к вечеру я пришел в себя. Но как мне ни было худо, я заметил, что окружающие смотрят на меня уже не теми глазами. Что-то холодное появилось в их взглядах, недоверчивое и даже враждебное. Сперва я разозлился, а потом в душу прокралась тревога. Ведь они по-своему были правы. Разве могут у политзаключенного пайтись близкие ему люди среди тюремной администрации? Какое честное дело может их сблизить? Но ведь именно поэтому я и отказался от соблазнительного предложения доктора Лилкова! Я не знал как быть и с мрачным видом молча лежал на нарах.

Дядя Нико наконец подошел ко мне: лицо его было необычно строгим и неприветливым.

— Ты где был? — резко спросил он.

Я попытался рассказать, но голова у меня трещала, и я понимал, что мои объяснения звучат неубедительно.

— Ага! — буркнул он и отошел в сторону.

Два дня он лишь искоса поглядывал на меня, а лицо оставалось безразличным и непроницаемым. Остальные как будто простили мне мое падение, но стали намного сдержанней. Лишь Виктор, по-прежнему любезный и приветливый, не изменил своего отношения. Мне от этого было не легче. Я знал, что он поймет меня, но что мне было делать, если он не давал никакого повода для объяснения? Наконец на третий день я не выдержал и сам подошел к нему.

— Слушай, Виктор, я должен рассказать тебе, что случилось в тот день, — смущенно пробормотал я.

Он улыбнулся:

— Незачем! Я знаю, что ты честный человек. Иначе какого черта ты попал бы сюда?

— Ты-то, может, и знаешь, но другие не знают.

— Тебя кто-нибудь обидел? — удивленно спросил он.

Виктор был на редкость ненаблюдателен, он никогда толком не видел, что происходит вокруг.

— Допустим, что так, — ответил я.

— Тогда валяй дальше! — пробурчал он с досадой в голосе.

Я подробно рассказал ему, что произошло в кабинете врача. Вначале он слушал меня краем уха, но вскоре лицо его оживилось, он весело хлопнул себя по коленям:

— Вот ведь человек! Меня раз водили к нему, и, по правде говоря, он мне не очень поправился...

— Ты ненаблюдателен, — сказал я.

— Почему ты так думаешь? — удивился он.

— Как тебе сказать... Ты живешь в каком-то своем внутреннем мире; люди тебя не интересуют.

— Это неправда! — возмущенно воскликнул он.

— Правда! — убежденно возразил я. — Для тебя люди — лишь идея. Ты привык к абстрактному мышлению, и это вовсе не плохо.

Теперь он смотрел на меня с пестрыми любопытством:

— Может быть, ты прав! И все же я из тех пропащих людей, которые считают себя гуманистами. Впрочем, что тебе толковать — и ты такой же! Разве разумный человек отказался бы от такого соблазнительного предложения?

— Не смешивай гуманизм с честью, — возразил я. — Это разные вещи.

— Все равно! — сказал он, махнув рукой. — Но будь спокоен, я все объясню дяде Нико. В принципе он хорошо к тебе относится. Правда, он немного сектап, но иногда это тоже полезно.

Виктор тотчас же пошел к дяде Нико. Мне было очень любопытно услышать, какие причудливые доводы Виктор выдвинет в мою защиту. И все же я был глубоко убежден, что дядя Нико поймет и послушается его. Я давно уже заметил их взаимное уважение и доверие, хотя и не понимал, на чем они основаны. И на этот раз они лишь перекинулись несколькими словами, и я уголком глаза заметил, как дядя Нико несколько раз утвердительно кивнул головой. Когда переговоры закончились, Виктор обернулся ко мне и чуть заметно подмигнул. Мне вдруг стало так легко, что я даже удивился.

В тот же день дядя Нико подошел ко мне. Лицо его было серьезно и спокойно.

— Ты должен принять предложение врача, — тихо сказал он. — И перебраться к нему в кабинет.

— Зачем? — изумленно спросил я.

Мгновение он колебался.

— Так ну жпо. Там ты будешь гораздо свободнее, сможешь поддерживать контакт с внешним миром. Возможно, сможешь установить более надежный канал для связи с товарищами на воле.

Доводы были разумными, но почему-то предложение дяди Нико произвело на меня тягостное впечатление. Приско всего мне предстояло вести двойную игру с доктором Лилковым и злоупотреблять его добротой. Кроме того, я, видно, уже слишком вжился в свою позу смиренной гордыни.

— Нет, не могу! — решительно ответил я. — Не хочу отличаться от других.

Лицо дяди Нико снова окаменело, но это меня уже не интересовало. Так или иначе, по я добился реабилитации.

— Ты не прав! — сухо заметил дядя Нико. — Сознательный человек никогда не поступил бы, как ты! Мы не принадлежим себе.

— А я всегда буду принадлежать себе! — сердито отрезал я. — Иначе я стану не человеком, а какой-то воображаемой величиной. А такие величины лишены реальной стоимости и потому никому не нужны.

— Ты плохо разбираешься в математике, — хмуро заметил дядя Нико. — Но уговаривать тебя я не буду. Такие дела доверяют только убежденным людям.

Расстались мы холодно, и случилось так, что в тот же день мне пришлось вести с ним еще один неприятный разговор. Я впервые получил посылку. Согласно заведенному порядку я тотчас же отнес ее дяде Нико. Все полученное с воли делилось поровну между заключенными. Владельцу доставалась лишь небольшая часть. Сам я не раз получал то кусочек сахара, то ломтик сала, несколько кусочков колбасы или же еще что-нибудь. Без этих добавочных порций мы бы пропали.

Дядя Нико чуть ли не испуганно поглядел на меня.

— Есть решение, доктор, не принимать от тебя посылок.

— Что это значит? — спросил я с недоумением.

— Ничего не значит, — неохотно ответил он. — Люди считают, что ты очень ослаб и тебе нужно усиленное питание.

Вечное заблуждение — я был очень худ, но вовсе не слаб.

— Слушай, дядя Нико, ясно, что этому не бывать, —

сказал я как можно спокойнее. — Если вы не примете мою посылку, я ее просто выброшу.

— Бросай, если хочешь! — со злостью ответил дядя Нико. — Я не могу измеить общего решения.

Поняв, что иного выхода нет, я принялся упрямивать и в конце концов добился своего. Правда, мне оставили солидную часть посылки, в том числе две большие плитки шоколада — сущая роскошь по тем временам. Одну плитку я попытался подсунуть Спасу, но он наотрез отказался. Пришлось искать другого человека. Старик показался мне наиболее подходящим.

— Дед Штиляп, возьми эту штуковину, — сказал я с напускной ласковостью. — Как раз для беззубых вроде тебя...

— А у меня все зубы целы! — ответил, удивившись, старик. — Все до одного.

Он даже оскалился, чтоб убедить меня. Действительно, все зубы у старика были крепкие, хотя и далеко не чистые, цвета лежалой брызны.

— Бери, коли дают! — заорал я, издерганный долгим препирательством.

Старик испуганно поглядел на меня и взял плитку. Но я так и не видел, как он ел ее, — шоколад бесследно исчез в одном из его стариковских тайников.

Чем больше лет проходит, тем чаще я вспоминаю те дни, и мне кажется, что никогда время так незаметно не уходило сквозь пальцы, как в тюрьме. Едва светало — и тотчас наступали сумерки. Только зародится какая-нибудь мысль — и тут же рассыпается, как фигурка из песка. Не было никакой возможности сосредоточиться и отсеять значительные события от пустяков. Я не мог отделаться от тягостного чувства, что теряю себя, распадаюсь и сливаюсь в общую массу со всеми другими.

Нужно сказать, что дядя Нико постарался отнять у нас и последнюю минуту свободного времени. Тюрьму он считал школой, а на нас смотрел как на учеников, притом нерадивых и несознательных, как и все школьники. Была выработана строгая учебная программа, запытия шли одно за другим, разделенные краткими перебеками. Чего только не изучалось у нас в кружках — диамат, политэкономия, «Краткий курс» и даже начальный курс естественных наук, который вел Виктор. Он преподавал

деревенским парням физику, после чего мне предстояло учить их химии и биологии. Разумеется, дядя Нико сразу же попытался вовлечь меня в свой кружок по диамату, но я решительно отказался. И даже намекнул ему, что немного бестактно поучать человека с высшим философским образованием.

— Ты изучал буржуазную философию! — сухо заметил он.

— Вот как? — рассмеялся я. — Что-то не помню, чтобы Платон и Демокрит были капиталистами.

Итак, меня освободили от обязательных занятий, но это вовсе не значило, что я остался в стороне. Все в камере происходило у меня под посом, так что волей-неволей приходилось слушать. Да мне и любопытно было, что за лекции читает дядя Нико. Вначале они забавляли меня своей примитивностью, но я терпел, понимая, что лектор вынужден приравниваться к уровню аудитории. Но вскоре я начал злиться. Дядя Нико разглагольствовал с таким апломбом, словно раскрывал перед нами, простофилями, некие неведомые, великие и неоспоримые истины. Я стал избегать его, прятался в самых отдаленных углах камеры, пытался играть в шахматы с Виктором, но меня всюду настигал назидательный голос дяди Нико.

Наибольшим успехом пользовались беседы Виктора. Конечно, элементарная физика не слишком увлекательная наука, но ему удалось заинтересовать ею даже такого человека, как я. И не только потому, что он говорил с искренним увлечением, которое невольно захватывало и слушателей. Он умел делать интересными самые очевидные истины, раскрывая их глубокий смысл. Постепенно в своих популярных беседах он простейшими средствами раскрыл мне такие тайны природы, о которых я, к стыду своему, даже не подозревал.

Виктор умело связывал известные физические законы с жизнью великих ученых, их открывателей. Очень запятой была беседа об Архимеде, которая в его устах превратилась чуть ли не в сказку. Но верхом его вдохновения были беседы о жизни и великих открытиях Галилео Галилея. Узники слушали его с таким увлечением, что казалось, глаза их вот-вот засветятся в сером предвечернем сумраке камеры. Люди переживали каждое его слово. Даже скептик Спас сидел красный как рак. Самое страшное было то, что и дед Штилян слушал, не сводя с лектора широко раскрытых глаз. Что-то жуткое было в его

взгляде... Тогда мне впервые пришло в голову, что в жизни моего соседа, вероятно, есть нечто трагическое, о чем другие даже не подозревают. Когда Виктор закончил беседу, я, подкараулив Спаса, спросил его без обиняков:

— Слушай, ты знаешь, за что дед Штилян попал сюда?

Спас рассмеялся и махнул рукой:

— Спрашивай тех, кто посадил его! Они взяли грех на душу!

— А я тебя спрашиваю! — нетерпеливо сказал я.

— Да что там... хозяйственный мужичок! Когда югославская армия отступала, кто-то забросил в кусты ручной пулемет. И дед Штилян прибрал его — просто чтоб добро не пропадало. А потом, ясное дело, отдал нашим.

— Какой у него срок?

— Он сам не знает, — пожал плечами Спас. — Но при чем тут срок? Либо выйдет вместе с нами, либо погибнет вместе с нами. Сейчас все зависит от братушек.

Вскоре произошло небольшое событие, которое снова заставило меня призадуматься над судьбой старика. И на этот раз косвенной причиной оказался Виктор. Растянувшись на парах, я прислушивался к его ясному спокойному голосу.

— Мы все по природе материалисты, — говорил он, глядя невидящими глазами на окружавших его материалистов. — И в этом мы не ошибаемся, ибо материя — всесторонняя основа всего, что мы называем бытием. Какова бы ни была ее сущность, она остается вечной и неизменной основой, или, говоря философским языком, субстанцией...

На миг он приумолк, словно сообразив, что слова эти слишком мудрены для слушателей.

— Дело в том, что мы недостаточно знаем эту материю, о которой говорим каждый день. Точнее говоря, мы знаем ее пока односторонне и поверхностно. Представьте себе, что мы даем слепцу какой-то незнакомый ему предмет. Единственное, что он может сказать об этом предмете, — это то, что он держит в руках какую-то вещь. Это, конечно, верно, но далеко еще не все. Так же и мы на современном этапе развития науки знаем лишь одну из форм существования материи, а именно — предметную. Но будьте уверены, что это не единственная форма ее существования. Каковы другие, мы пока не знаем, и в этом отношении ничем не отличаемся от нашего слепца...

— Это агностицизм! — внезапно вмешался дядя Нико.

Виктор удивленно поглядел на него — он явно не ожидал такой реплики.

— Извините, почему? — любезно спросил он.

— Как почему? Надеясь материю таинственностью — это значит швырнуть ее в руки метафизики. Что значит «не знаем»? Чистейший агностицизм!

Я певольно усмехнулся. Как бы то ни было, для бывшего швейпика реплика была неплоха. Виктор смущенно заморгал, видно соображая, как бы ответить, чтобы не подорвать авторитет нашего руководителя.

— Это не совсем точно, — осторожно сказал он. — Что такое, в сущности, познание? Бесконечный процесс приближения к истине.

— То есть как бесконечный? — сердито отозвался с места дядя Нико. — Если бесконечный, значит, никогда никуда не приведет.

Виктор покраснел и смущенно поглядел на меня. И именно в этот момент неожиданное событие пришло на помощь его незадачливому оппоненту. Послышалось знакомое шелкашье замка, дверь распахнулась, и на пороге встал Ахтунг.

Я забыл упомянуть, что наши кружковые занятия были строжайше запрещены тюремной администрацией. Поэтому во время беседы у двери всегда стоял дежурный и глядел в глазок. Если в коридоре появлялся кто-нибудь из падзирателей, дежурный предупреждал всех возгласом:

— Ахтунг!

И мы рассыпались в стороны.

Но на этот раз и дежурный, верно, увлекся необыкновенным спором, и теперь перед нами стоял в натуре пастоящий Ахтунг. Он мрачно оглядел всех нас, задержал взгляд на деде Штиляне и после этого изрек:

— А ну, кого в карцер?

Мы молчали. Он снова взглянул на деда Штиляна и вдруг набросился на него:

— Эй ты, сморчок! Ты-то чего затесался к ним?

Старик онемел, как парализованный страхом зайчопок.

— Смотри у меня! — добавил мрачно Ахтунг. — Сам знаешь, что ты у меня на особом счету!

Я не обратил было внимания на его слова, считая их обычной угрозой. Но, взглянув на старика, я увидел, как он побелел. Дверь захлопнулась, но Виктор прекратил

беседу. Старик тихонько побрел к постели и бесшумно повалился на тюфяк. Глаза наши встретились, и я впутренне вздрогнул — такая беспомощность и отчаяние были в его взгляде, исполненном непонятной мольбы. Я направился к нему, но он проворно, как мышь, юркнул под одеяло. Что бы все это значило? Только теперь я осознал, что этот взгляд преследовал меня весь месяц — то робкий, то настойчивый и вопросительный, то, как только что, о чем-то тихо молящий. Я замер в перешителности. Если он хотел чем-то поделиться со мной, то почему он так поспешно сирятался?

Но вечером старик сам подошел ко мне. «Ко мне» означало, что в тот момент никто нас не слушал, хотя со всех сторон были люди. Все же старик осторожно огляделся вокруг и тихонько шепнул:

— Доктор, я хочу тебе что-то сказать...

Он еще раз со страхом огляделся по сторонам.

— Говори, дед Штиляп, не бойся! — одобрително прошептал я.

— Извело меня это дело, доктор. Надо кому-то высказать, — торопливо заговорил он, будто опасаясь, что я убежу. — Все думал — кому? Душа у тебя, я вижу, широкая, к тому ж я человек ты ученый, значит, сможешь меня падоумить.

Он снова умолк, но губы его дрожали от волнения. Напряжение его передалось и мне.

— Говори спокойнее, дед Штиляп! — сказал я. — Нас никто не слышит.

Он опять заговорил, лихорадочно и торопливо:

— Судили нас девятерых: все свои люди, из одной деревни. Судили в какой-то казарме, три дня подряд. В конце прочли нам приговор. До сих пор помню — все как перед глазами стоит. Назвали меня по имени, отчеству и фамилии, и все другое, как положено по закону...

Он умолк на миг и потом упавшим голосом добавил:

— Меня осудили на смерть, доктор.

Я приготовился услышать что угодно, только не это. Я оторопело поглядел на деда:

— Как так на смерть? Когда это было?

— Шесть месяцев тому пазад. Других, которых осудили на смерть, всех расстреляли. Они были в другой камере. Вывели их утром — и поминай как звали. А меня посадили вместе с другими — не смертниками. И вот пока еще никто меня не хватился.

Он умолк. Молчал и я, совершенно растерянный.

— Сколько осудили на смерть? — наконец спросил я.

— Шестерых, — тихо ответил он.

— А другие трое где?

— Двое в камере под нами. Третий не знаю где...

Я призадумался. Возможна ли такая нелепость, чтобы его забыли? История казалась невероятной. Скорее всего, старик или толком не расслышал, или что-то напутал.

— Почему ты не расспросил других? Может быть, они ясней расслышали.

— Не посмел, — едва выговорил старик.

— Как так «не посмел»? — не понял я.

— Вот так — не посмел! — уныло повторил старик. — Что я мог подумать? Только одно — что меня забыли... Зачем же тогда напоминать о себе?

— Думаешь, выдали бы?

— Не думаю... Зачем им выдавать меня? Но дело житейское, могут случайно проговориться.

Довод показался мне глупым, но лишь впоследствии я понял, насколько старик был прав. Вдруг меня оцепила простая мысль:

— А может, тебе по возрасту замешали казнь пожизненным заключением?

Старик печально покачал головой:

— Тогда бы мне сказали. Да и возраст у меня не тот. Еще два года мне ходить под смертью.

Я с трудом перевел дух. Чем мог помочь ему я — такой же заключенный, крепко запертый за тяжелыми сырыми стенами? Но что-то надо было придумать.

— Слушай, дед Штиляп, ты верно говоришь, что надо молчать. Я подумаю и, может быть, соображу, с какого конца подобраться к этому делу. А пока самое главное — помалкивай, ни слова никому.

Он пугливо посмотрел на меня и прошептал:

— Бахтун знает!

— Какой Бахтун?

— Ну этот, надзиратель. Наш падзиратель, Дипко, вы его Бахтупом прозвали...

— Откуда ты знаешь? — вздрогнул я.

— Да это видно, — заморгал старик. — По всему видно, и по глазам... Знает он, знает, — безутешно заключил он.

— Брось эти глупости! — раздраженно сказал я. — По

глазам его видно, что он лютый зверь. Если б он знал, тебя б уже трижды повесили.

— Хоть и зверь, но хитрый, — тихо ответил старик. — У него всегда выгода на уме. Прошлый месяц получил я сто левов из деревни. Нет у меня близких, по ваши товарищи догадались и собрали. Ладно, по Бахтуп забрал их. «Зачем тебе деньги? — говорит. — Такому, как ты, деньги ни к чему!» И забрал все, до стотинки.

— Ну, это еще ничего не значит, — неуверенно возразил я. — Напал на слабого человека и обобрал. И у других, наверно, отнимал, только они боятся жаловаться.

— А сегодня слышал, что он сказал? — упыло спросил старик.

Мне мгновенно вспомнились слова, на которые я утром не обратил внимания. В самом деле, что могли означать слова «на особом счету»? Могли они быть сказаны и так, вообще, но как нельзя лучше подходили и к данному случаю. Сбитый с толку, я молчал. Однако надо было хоть как-то успокоить старика.

— Мне все-таки кажется, дед Штилян, что твои страхи напрасны. Ты, наверное, чего-нибудь не расслышал, не понял. Власти не ошибаются.

— И я думал, что не ошибаются, — с усилием проговорил старик. — А вот видишь, ошиблись...

— Ну ладно, я обещаю это проверить! А пока тебе печего беспокоиться.

Обещать легко, всегда труднее выполнить обещанное. Допоздна я размышлял о своих возможностях. Я рассчитывал главным образом на отца. Он писал, что на будущей неделе навестит меня, и тогда можно будет поручить ему проверку. Но скоро я отказался от этого недалекого замысла. Отец мой ничего не понимал в таких делах, вернее, испытывал к ним органическое отвращение. Я был уверен, что у него подкосятся колени, как только он переступит порог суда. И кто знает, какая из всей этой истории заварится каша...

После долгих размышлений я остановился на докторе Лилкове. Неловко было впутывать в такую неприятную историю человека, с которым я лишь недавно познакомился, но иного выхода не было. Доктор выглядел добряком, и, может быть, мне удастся подсластить ему пилюлю. На следующее же утро я сказался больным, не слишком надеясь, что на меня обратят внимание. К доктору Лилкову больных отправляли лишь тогда, когда опи

уже были при смерти. Но, к моему удивлению, сразу же после завтрака тяжелая дверь распахнулась и на пороге встал Ахтунг.

— Пошли, доктор! — произнес он своим бездушным голосом.

Я поспешно вышел. Пока мы двигались по пустынным коридорам, я украдкой поглядывал на него, словно мог прочесть по его лицу, знает ли он о тайне старика. Мне казалось, что он, невозмутимо шагая вперед, не замечает моих взглядов, но он вдруг спросил:

— Ты чего на меня плишься, доктор?

— Ничего, — пробормотал я равнодушно. — Но советую тебе проверить печень. Твое лицо мне очень не нравится.

— А я-то думал тебе понравиться! — криво усмехнулся он. — Но о моей печенке не заботься. Ем и пью вволю, и от этого мне только лучше делается.

— Значит, исхитришься даже при нынешней дороговизне?

Он мельком взглянул на меня. Я понял, что мой недуманный намек дошел до него, хоть этого и трудно было ждать от такого толстокожего животного.

— Пока есть дураки, перебежусь как-нибудь, — ответил он своим мертвенным голосом. — На этом свете все ловчат.

Теперь Ахтунг повел меня другим, более коротким путем. Мы пересекли двор и направились к административному корпусу. Низко нависло серое небо, дождь мелкой пылью кропил каменные степы. Меня вдруг охватило неведомое волнение, опьяняющее чувство свободы. Быть может, оно появилось оттого, что я был почти один на безлюдном дворе, или же оттого, что я впервые увидел лица за железными решетками. На миг мне почудилось, что я здесь обычный посетитель и немного погодя покину жуткое зданье. Вздурораженный этими мыслями, я услышал за спиной ехидный голос надзирателя:

— Голова закружилась, доктор? Ничего, это от чистого воздуха.

С этим типом надо было всегда быть пачеку. Не глядя на меня, он открыл дверь, и мы оказались в знакомом помещении. По обоям стенам длинного тихого коридора почетным эскортом выстроилось не меньше дюжины начищенных до блеска плевательниц. Как и в первый раз, в этой необычной обстановке фигура Ахтунга

сразу поблекла, и он стал похож на убогого рассильного.

Доктор Лилков уже поджидал меня. Он искренне обрадовался, его желтые глазки весело засверкали.

— Входи, коллега! — сказал он, не удостоив Ахтушга даже взглядом. — А ты подожди!

Я с комфортом устроился на своем прежнем месте, и притом нарочито небрежно, чтобы показать Ахтушгу свое временное превосходство. А он послушно стоял у двери, как собака, которая ждет подачки. Доктор Лилков взглянул на него и небрежно бросил:

— Два кофе! Скажи этим болванам, что для меня и чтобы не спутали коробки.

— Сушаюсь, доктор, — смиренно ответил Ахтушг.

Доктор Лилков уселся напротив и сказал с улыбкой:

— У меня тут свой запас кофе — бразильского. Но эти махровые пройдохи у нас на кухне смешивают его со своим. Ворье, браток, как на подбор, почище нашего директора.

— Еще бы! — пробормотал я. — Если даже вас обкрадывают.

— Вот еще — опять «вас»! — воскликнул он, неодобрительно поглядев на меня. — Коли распили бутыл, давай пора перейти на «ты».

Он опять улыбнулся, но взгляде его появилось любопытство.

— Ну и как? Передумал?

— Нет-нет! — вздрогнул я. — Просто так...

Мне не хотелось сразу же выкладывать ему цель моего прихода. Не заметив моего смущения, он весело продолжал:

— По правде говоря, я не ожидал, что ты так скоро обратишься ко мне. Вы не любите якшаться с властями, считаете это унижительным.

— Во-первых, ты не власть, — сказал я. — И в конце концов, я свободный интеллигент, которому все позволено.

— Вовсе нет, никто из вас не свободен! — возразил он, покачав седой головой. — Уж тут ты меня не обманешь.

— Может быть, и так, — сказал я. — Но ограничения, которые мы сами на себя накладываем, не тяготят.

— Как раз наоборот, коллега, — живо возразил доктор Лилков. — Они самые тягостные. Именно потому, что мы сами накладываем их на себя. Запрись сам в этой тюрьме — ты и дня не выдержишь.

Я промолчал. Пожалуй, он был прав. Иногда мы, не вникая, бездумно повторяем старые истины и даже верим в них. Доктор Лилков, заметив, что я дрогнул, энергично продолжал:

— Или возьмем, к примеру, семейные обязанности. Это тоже добровольные ограничения. А они нам поперек горла, хотя, как правило, идут нам же на пользу. Сравни их с нашими гражданскими или служебными обязанностями. Мы горбимся под ними, как грузчики, и даже не спрашиваем зачем. Но отставим в сторону умные разговоры; скажи, как ты себя чувствуешь? Болела после того голова?

— Ни капельки.

— Вот видишь! — с гордостью воскликнул он. — Випо что падо! Когда будешь уезжать, подарю тебе на память целый бочонок.

Я рассмеялся:

— К тому времени оно хорошо выдержится. Придется пить с содой.

— Как знать, — сказал он, покачав головой. — Глядь, через год-другой выпорхнешь отсюда.

Он задумался и слегка помрачнел.

— Похоже, что немцы влипли под Сталинградом, — озабоченно заметил он. — И, пожалуй, им оттуда не выбраться.

— Я не знал, что ты им сочувствуешь, — удивился я.

— Кто? Я? Знаешь, как я им сочувствую? Так же, как и вам. Но стране нашей придется худо, браток. Спова обкорнают ее. Сгонят нас в два-три округа.

— Все же лучше, чем в железную клетку.

— Тут ты прав, — угрюмо сказал он. — Ничего не скажешь.

Немного погодя в дверь постучали, и появился Ахтунг с жестяным подпосом в руках. Забавно было глядеть, как он изо всех сил старается не опрокинуть две чашки кофе по-турецки. Поставив их на стол, он вздохнул с таким облегчением, будто свалил со спины жернов. Наше тюремное чудовище превратилось в жалкого ручного медведя.

— Можешь идти! — сказал доктор, не взглянув на него.

Ахтунг бесшумно удалился, осторожно закрыв за собой дверь. Лишь когда его тяжелые, неуклюжие шаги за-

глохли в глубине коридора, я рассказал Лилкову о цели своего прихода. Он с любопытством выслушал меня, но ничуть не удивился, как человек, давно свыкшийся с мерзостями жизни. Когда я закончил свой рассказ, он озабоченно почесал в затылке.

— Почем знать, у нас все может случиться... Любая дикость, я хотел сказать, о хорошем говорить не приходится...

— Ты думаешь, что произошла ошибка?

— Ничего я не думаю. Проверю, тогда скажу.

— Надоедать так надоедать,— помявшись, продолжал я.— Есть у меня еще одна маленькая просьба: нельзя ли его как-нибудь выкупать?

— Его... что? — Лилков удивленно поглядел на меня.

— Выкупать его,— повторил я.— Он, по-видимому, с рождения не был в бапе.

— В том-то и дело! — усмехнулся доктор.— Такие старики через неделю после бапы обычно отправляются на тот свет. Очевидно, как-то подрывается естественная устойчивость организма.

— Эту теорию я слышал еще от отца,— сказал я.— Мать чуть ли не со слезами выпроваживает его раза два в год в баню. Но отец дома спит в отдельной комнате, а мне приходится лежать рядом со стариком. И вообще, должен тебе заметить, что вся камера провожала, как барсучья пора. Ведь в инструкции предусмотрена баня для заключенных?

— Есть такой пункт,— пробормотал доктор.— Но начальство глаза выдерет, если им напомнишь. И не за дерзость, а потому, что мошенничают с топливом.

— Все же...

— Ладно, я что-нибудь устрою! — сказал он, ткнув в воздух мясистым пальцем.— В конце концов, баня входит в мои обязанности.

Через полчаса Ахтунг отвел меня обратно в камеру. Когда мы перешли в здание самой тюрьмы, он снова преобразился, фигура его словно раздалась и выросла у меня на глазах.

— На этот раз, доктор, видно, обошлось без выпивки,— с ехидцей заметил Ахтунг.

— Это тебе не кабак! — сердито буркнул я.

— Может и кабаком стать. Если исхитришься...

— Я не умею хитрить! — сердито ответил я.

— Известно, что не умсешь. Иначе не сидел бы здесь с этими дураками!

После посещения доктора Лялкова мне оставалось только ждать. Дед Штилян совсем осунулся, приумолк и лишился сна. Он потерял интерес и к беседам Виктора. Впрочем, ему там и делать было печего. Виктор, покончив с классической физикой, занимал просвещенную публику теориями де Бройля и Эйнштейна. Дело шло туго, но Виктор не отчаивался. Он говорил с еще большим увлечением, приводил как можно более простые и наглядные примеры, стараясь объяснить теорию относительности, но его не понимали. Набравшись терпения, он пачинал все сначала.

— Представим себе обыкновенный диск, который вращается вокруг своей оси, — терпеливо повторял он. — Положим, этот диск совершает один полный оборот в секунду. Это значит, что каждая точка диска совершает свой оборот тоже за секунду. До сих пор ясно?

Да, до сих пор всем было ясно.

— Теперь выберем две точки на диске — одну на периферии, а другую рядом с осью. Точка на периферии движется гораздо быстрее и пройдет гораздо больший путь, но каждая из точек пройдет свой путь за секунду. Я думаю, что это вполне очевидно.

Да, действительно, и это было вполне очевидно.

— Но кто отсчитывает время? — продолжал, поодушевившись, Виктор. — Мы, стоящие вне диска с часами в руках. Представим себе, что у нас часы с маятником. За секунду маятник переходит из одного крайнего положения в другое, не так ли?

— Так! — пробормотал Спас, не спуская глаз с Виктора.

— Теперь представим себе, что наши точки — не просто точки, а часы с маятником, хоть и уменьшенные в миллион раз. Как только часы двинутся из своих исходных точек, пускаем в ход оба маятника. Но маятник на периферии должен соответствовать своим часам, которые движутся с большей скоростью по гораздо большей орбите. Он должен замедлить свое движение относительно другого маятника, чьи часы пройдут меньший путь с гораздо меньшей скоростью. В конце концов и те и другие часы одновременно вернутся на исходные позиции и оба маятника окажутся в другом крайнем положении. Но все дело в том, что секунда внешних часов окажется более

длинной, то есть внешние часы будут идти медленнее. Разве это не ясно?

Нет, это никому не было ясно, даже мне.

— Виктор, ты нас морочишь,— мрачно проговорил Спас.— Как так: время зависит от скорости? Если ты сядешь на самого паршивого осла, а я — на самый скорый самолет, то, проезди мы хоть целый год, все равно наши часы будут показывать одно и то же время, если они, конечно, не немецкое барахло.

Виктор улыбнулся:

— Все так, Спас. Но ведь я вас предупредил, что такие явления наблюдаются только при огромных скоростях и на гигантских расстояниях.

— Ерунда! — пренебрежительно отмахнулся Спас.— Пусть даже по-твоему. Кому от этого польза? Ты болтай что хочешь, а я буду обходиться своими часами.

Единственным заметным результатом этих бесед Виктора было то, что ему удалось заинтересовать меня и привлечь на себя подозрения дяди Нико, который однажды спросил его напрямик:

— Ты все это по-марксистски рассказываешь?

— Как тебе сказать... — замялся Виктор.— Пока все это еще гипотезы, физики не пришли к единому мнению.

— Не прикидывайся дурачком! — перебил его дядя Нико.— Я спрашиваю тебя: какова ваша установка по этому вопросу?

— У нас пока нет официальной установки,— терпеливо ответил Виктор с усмешкой в глазах.

— Если нет установки, незачем мутить мозги людям! — сердито отрезал дядя Нико.— Все это попахивает идеалистической брехней.

Но Виктор не послушался и в следующей беседе рассказал нам об эквивалентности массы и энергии. Дядя Нико даже не дослушал до конца и резко прервал его:

— Нет, Виктор, это уже форменное идиотство! Да разве может материя превратиться в ничто? Это чистейший идеализм!

— Энергия не ничто! — спокойно возразил Виктор.— Одного стручка гороха достаточно, чтобы взорвать целую тюрьму, если найти способ освободить заключенную в нем энергию. Это тебе не ничто.

Дядя Нико так усиленно задумался, что по лицу его пошли глубокие, необычные для него морщины.

— Ну ладно, а практически это возможно? — вдруг спросил он.

— Конечно! И тот, кто первый добьется успеха, станет властелином мира.

Мне показалось, что дядя Нико чуть ли не с пепавистью взглянул на своего первого помощника. Я думал, что он вот-вот взорвется, но, овладев собой, он холодно сказал:

— Властелином мира будет только мировой пролетариат. И никто другой — заруби это себе на носу!

— Разумеется! — ответил Виктор. — Но без Эйпштейна ничего не получится. Это ты себе заруби на носу.

Беседа опять оказалась испорченной, по вечером мы с Виктором проговорили почти до полуночи. Теперь я понимаю, как много знал этот оборванный, изможденный узник захолустной тюрьмы, какой огромный заряд мыслей и предвидений таился в его рыжей голове. Постепенно я стал проникаться его мыслями, хотя многое казалось мне невообразимым.

Для через два свершилось чудо — нас повели в баню. И там я чуть было не пожалел о своей опрометчивой выдумке. Жалкая бетопированная конура выстыла, как холодильник, вода была чуть теплой. Голые, дрожащие от холода, мы стояли в очереди к трем полуразвалившимся душам. Я чувствовал себя бесконечно униженным в этой толпе голых мужчин, смешных и жалких своей паготой. Среди всех выделялась тонкая, как у девушки, фигура Виктора, до жути белая, с торчащими ключицами. Дядя Нико тоже отличался худобой, но от его жилистого, мускулистого тела веяло железным здоровьем. Под конец нашего купания вдруг хлынула горячая вода, и, хотя мы буквально ошпарились, все же это было лучше, чем мерзнуть.

После бани дед Штилин, как нарочно, простудился, и теперь по почам меня беспокоил уже не привычный запах, а мучительный, сотрясающий стены кашель. Впрочем, простудились почти все. Днем кашель был еще терпим, но по почам превращался в кошмар.

— Это тебе взбрела на ум баня, доктор? — укорял меня Спас. — Будешь знать, что баня не для болгар. Мы потому пять веков рабства перенесли, что в баню не ходили...

От Лилкова вестей не было, и я начал тревожиться не на шутку. И без того мрачное настроение усугубилось

после свидания с отцом. Он был владельцем небольшой провинциальной типографии с ручной печатной машиной, на которой печатал визитные карточки, некрологи и мелкие торговые рекламы. Много горьких мальчишеских часов провел я за колесом этой опостылевшей машины, которая тем не менее кормила всю нашу семью. Когда мои сверстники беззаботно играли на улице или купались в реке, я часами до изнеможения крутил проклятое колесо под омерзительный металлический стук машины. К счастью, когда я поступил в гимназию, отцу удалось купить какой-то моторчик и избавить меня от каторжного труда. Тогда я почти ненавидел этого молчаливого, замкнутого человека и лишь позже понял, как был несправедлив к нему. Кто в его положении согласился бы учить сына за свой счет на двух факультетах университета, да еще в условиях столичной дороговизны?

Когда он увидел меня за двойной решеткой, на глаза у него навернулись слезы и потекли по худым, наспех побритым щекам. Сейчас я почти ничего не помню из нашего тягостного и беспорядочного разговора. Помню лишь, что, когда время истекло и нас поволокли обратно, он крепко уцепился за решетку побелевшими от напряжения пальцами и хрипло крикнул мне вслед:

— Помни о матери! Обо мне не думаешь — о ней подумай!

В камеру я вернулся совсем разбитый. Очевидно, дядя Нико заметил мой расстроенный вид, потому что вскоре подошел ко мне. Молчаливый и удрученный, он присел на нары, недвижно уставившись в грязный пол.

— Что ж, доктор, падо терпеть! — промолвил он наконец. — То, что с родными нашими делают, это тяжелей и горше всего. Но, как ни трудно, и это надо перетерпеть.

Впоследствии Виктор рассказал мне, что у дяди Нико четверо детей, старшему двенадцать лет. Они остались на руках у матери, отец не знал, каким образом удавалось ей сводить концы с концами. Несмотря на страшную нужду, она не пропускала ни одного свидания, хотя приходилось расходовать и на поезд. Наконец дядя Нико запретил ей приезжать чаще, чем раз в месяц. Жена послушалась, но теперь вместо нее стали регулярно прибывать посылки.

— По-моему, революционер не должен жепиться! — заключил дядя Нико наш короткий разговор. — А близким падо держаться подальше от нас!

Я совсем уже не знал, что думать о судьбе деда Штиляпа, когда однажды утром дверь с шумом распахнулась.

— Пошли, доктор! — хмуро сказал Ахтупг.

В тот день он был в кислом настроении и за всю дорогу не сказал ни слова. Но, шагнув за порог кабинета врача, я по взволнованному лицу Лилкова сразу догадался, что меня ожидают интересные новости. С терпением выждав, пока заглохнут шаги Ахтупга, он уселся напротив меня и быстро заговорил:

— Ты знаешь, с твоим свихнувшимся стариком произошла просто невероятная ошибка — вместо него расстреляли другого!

Надо сказать, что эта потрясающая новость не очень удивила меня — я как-то внутренне уже подготовился к ней.

— Неужели это возможно? — спросил я.

Лилков в недоумении всплеснул своими короткими ручками.

— Почему бы и нет! — гневно просопел он. — Я-то давно знаю, что мы не государство, а недоразумение! Но чтоб до такой степени...

— Но все-таки — как расстрелять другого? Какой дурак подставит свою голову?

Доктор так резко откинулся назад, что спинка стула закричала. Казалось, он был расстроен больше, чем я; лицо его пылало от сле сдерживаемого возмущения.

— И я не могу себе точно представить, как все это произошло! — в сердцах продолжал он. — Все осужденные были простые, темные людишки, полуболгары, полусербы из одной освобожденной деревни. Некоторые, помолodge, по-видимому, даже толком не понимали болгарского. Как ты уже знаешь, шестерых приговорили к смерти — и твой старик действительно был в их числе. Его звать... — Лилков стал перерывать в своих бездонных карманах.

— Штилян Костадинов Славов, — подсказал я.

— Совершенно верно! А вместо него расстреляли Саву Костадинова Савова. Просто спутали имена, хотя сходство не ахти какое... Больше всего мне жалко парня — простой пастушок, полуграмотный и, вероятно, пасмерть запуганный.

— Сколько ему дали?

— Восемь лет... И притом ни за что! В дядькиной кошаре нашли оружие, но, судя по всему, парень даже не

слыхал о нем. Его арестовали, били, приговорили. И по-
нял ли он, какой был приговор, один бог знает.

— Разве не было адвоката?

— Был государственный защитник. Но дело закончи-
лось, и он умыл руки: дескать, сделал все, что мог. На
беду, судила их военная коллегия верховного кассацион-
ного суда, так что приговор был окончательный и обжа-
лованию не подлежал. Однажды ночью их, как овец, вы-
вели из тюрьмы, и не успели они понять, что к чему, как
их расстреляли на военном полигоне.

— Но разве им еще раз не прочитали приговор? Разве
не было представителей закона?

— Черт знает, что там было и чего не было! — с преж-
ним раздражением воскликнул Лилков. — Могу спросить
у прокурора, но боюсь, как бы он не усомнился.

Меня передернуло. Страшное все-таки и сумбурное су-
щество человек — справедливость чужда ему. Слушая
жуткий рассказ доктора, я невольно испытывал смутное
чувство облегчения. Я знал старика, а не паршишку и не
мог не порадоваться за старика — как-никак ему удалось
спастись. Лишь последние слова доктора снова меня
встревожили.

— Ну а если ошибка обнаружится? спросил я.

— Тогда плохо!

— Что значит «плохо»?

— Плохо — расстреляют и старика.

— Этого нельзя допустить! — воскликнул я.

— Нельзя-то нельзя, но что тут зависит от нас? — хму-
ро возразил Лилков.

Голова у меня лихорадочно заработала. Я думал, пред-
полагал, сопоставлял все эти потрясающие факты, но ни
к чему не приходил.

— Итак, значит, старик не фигурирует в ваших спи-
сках? — спросил я. — Его считают расстрелянным?

— Во все нет! Я забыл тебе сказать — фигурирует! По-
хоже, что основная ошибка совершена здесь, в тюрьме.
Старик числится в наших списках осужденным на восемь
лет. Если никто не поднимет шума, то он отсидит свой
срок и выйдет.

— Ты уверен?

— Ну, не очень-то, — уныло ответил Лилков. — Воз-
можно, что именно тогда произведут сверку с подлип-
ным документом.

Я снова призадумался.

— Но если ошибка вскроется раньше, то виновникам придется серьезно отвечать за это! — рассудил я вслух.

— Вероятно... Ты все о старике. А мне жаль парня. Расстреляли за здорово живешь...

— Мне тоже жаль парня, — ответил я. — Но его нам не вернуть. Единственное, что мы можем сделать, — это спасти старика. Я думаю, что тут у нас есть крохотный шанс. Если они даже обнаружат ошибку, то в их же интересах будет замять ее. Возможно, что именно так и обстоит дело.

— Не знаю, — пожал плечами Лилков. — От таких зверей всего можно ожидать.

Наш затяжной разговор окончился впустую. Наконец на пороге появился мрачный, с кислым видом Ахтунг и отвел меня обратно в камеру. Увидев осунувшееся, испуганное лицо старика, я сразу понял, что ничего не смогу ему сказать. Наша общая тайна переросла мои силы и возможности, один я с ней справиться не мог. Пораздумав, я решил поделиться с Нико. Я отозвал его в укромный уголок и рассказал ему все. Дядя Нико внимательно слушал меня; лицо его становилось все более хмурым и мрачным, под сухой кожей беспокойно шевелились желваки. Я давно уже кончил, но он по-прежнему молчал, опустив голову. Я боялся, что он сейчас вспылит, но он неожиданно спокойно заметил:

— Такого я еще не видел — чтобы человек дал себя резать, как ягненка. Наверно, он до этого уже умер от страха.

Вот, оказывается, что произвело на него впечатление во всей этой необыкновенной истории. Я поморщился:

— Не совсем так. То был простой паренек, и, наверное, все показалось ему дурным сном...

— Да, это верно, — сказал, покачав головой, дядя Нико. — Видно, так и было.

— У меня другое не укладывается в голове! — с гневом сказал я. — Ведь их прикончили, как овец, без соблюдения элементарной законной процедуры, не установив даже их личность.

— А ты чего от них ждал? — сухо возразил дядя Нико. — Меня другое удивляет — почему до сих пор не расстреляли и старика.

— Ты думаешь, осмелятся?

— А что им мешает?

— Призадумайся над простым фактом — расстрелять двоих по одному приговору. Они скомпрометируют себя как власть...

— Глупости! — отмахнулся дядя Нико. — Их власть держится не на справедливости, а на силе. И они это знают лучше тебя.

— Ну и что же?

— Что «что же»?

— Что мы можем сделать, чтобы спасти старика?

Дядя Нико пожал плечами:

— Ничего. Только ждать и надеяться. И если мы узнаем, что они догадались и что-то готовят, предпримем решительные коллективные действия.

На этот раз я его не понял.

— Что это значит?

— Решим дополнительно. Лучше всего будет объявить всеобщую голодовку.

Немного подумав, он добавил:

— Очень подходящий случай мобилизовать людей. И агитировать не придется — все будут достаточно возмущены.

Меня покорило, но я смолчал.

— Как ты считаешь, сказать старику или нет?

— Да, конечно.

— Тогда скажи ты. Я не могу.

Мы подозвали деда Штиляна. Он подошел к нам своей несмелой походкой и так робко взглянул на нас, что у меня сжалось сердце. Даже дядя Нико почесал в затылке: видно, только сейчас понял, насколько тяжела его задача.

— Ты знаешь такого — Саву Костадинова Савова? — наконец спросил он. — Вместе с тобой судили.

Старик заморгал; это имя явно ни о чем ему не говорило.

— А кто он будет?

— Это ты нам скажешь! — нетерпеливо ответил дядя Нико. — Вы вместе с ним были.

— Уж не Савчо ли?

— Может быть, и он. Отца его как звали?

— Костадином вроде звали! — вспомнил старик. — Взяли его вместе с запасными еще перед войной. Так и пропал в армии — ни слуху ни духу...

— Да-а, — недовольно процедил дядя Нико. — А ты

знаешь, что стало? Расстреляли этого Савчо вместо тебя. По ошибке, потому что имена у вас похожие.

Старик вытаращил глаза. Как и все бесхитростные люди, он ни на миг не усомнился, сразу же поверив нам на слово. Лицо его стало медленно паливаться кровью, глаза подернулись мутной влагой.

— Ой, горемыка! — воскликнул он неожиданно высоким голосом. — Ой, бедняжка!

— Тише! — прикрикнул на него дядя Нико.

— Из-за меня, ты говоришь? — сказал старик, умоляюще глядя на дядю Нико. — Неужто из-за меня?

— Не из-за тебя, а вместо тебя! — поправил его я.

Но старику было не до языковых тонкостей. Пошатнувшись, он переступил с ноги на ногу, будто у него закружилась голова.

— Господи, бедный Савчо! — продолжал причитать дед Штилян. — Ох, несчастный парень!

— Ты хорошо его знал? — спросил дядя Нико.

— Как не знать! Ведь мы из одной деревни!

Старик вдруг взглянул на нас с таким ужасом и отвращением, будто мы убили Савчо.

— Неужто бывает такое смертоубийство? — спросил оп. — Ведь Савчо ни в чем не виноват. Ну ли капельки!

С большим трудом нам удалось успокоить его и уложить на нары. Мне показалось, что дед Штилян всю ночь не спал. Когда бы я ни проснулся, я видел, что оп лежит на спине, глядя в потолок, и слышал его подавленные вздохи. Наступило утро, серое, мутное, за окном мелькали редкие влажные снежинки, но старик так и не сомкнул глаз. Осунувшийся и еще больше постаревший, он лежал без движения.

На другой день сильно похолодало, но снега не было, лишь на ребрах крыш белели тонкие полоски инея. По утрам окопное стекло затягивалось ледяными узорами, которые таяли только к обеду. Лишь тогда нам удавалось взглянуть на мир — на кусочек убогого мира бедняков, перскрещенного тюремной решеткой. Людей почти не было видно, девушка исчезла. Только петух по-прежнему иногда взбирался на стожок сена, такой же мрачный и погруженный в себя, как живая эмблема пессимизма и отчаяния. Изредка тучи размыкались, но в такие минуты даже лучи солнца казались колючими и враждебными. Хотя

я был одет намного лучше других, я мерз все ночи напролет и по утрам еле поднимался окоченевший, не чувствуя рук и ног. Одному только Спасу стужа была ни о чем, он беспробудно спал, небрежно закутавшись в свое тонкое одеяло. Ночью его мощная фигура лучилась таким теплом, что я инстинктивно старался придвинуться поближе к нему. Виктор же совсем посинел, он весь съежился и стал похож на мальчишку. Однажды утром, увидев его тонкие посиневшие ноги, я вдруг сообразил, что у меня целых две пары байкового белья. Не без труда мне удалось всучить ему лишнюю пару. Виктор приободрился, лицо прояснилось, и его хриплый простуженный голос зазвучал увереннее.

Но, несмотря на холода, настроение в эти дни у нас было превосходное и с каждым днем словно повышалось на несколько градусов. Согревали новости с фронта, которые, кстати говоря, доходили до нас в сильно приукрашенном виде. Впервые за дни заключения у меня в глубине души забрезжила надежда на избавление и стала крепнуть и светлеть с каждым днем. Люди вставали ото сна веселые, подтрунивали над своими сизыми от холода лицами, и даже ледяное умывание не гасило шуток и прибауток. Ахтунг мрачно наблюдал за нами, становясь изо дня в день все грубее и злее. Он, конечно, догадывался, откуда у нас такое приподнятое настроение, потому что однажды утром злобно процедил:

— А ну, кого в карцер? Как бы он вам поперек горла не встал, этот Сталинград!

Дядя Нико с холодным достоинством поглядел на него.

— Похоже, что на этот раз он тебе поперек горла встанет! — сказал он. — Так что подумай хорошенько.

Я думал, что Ахтунг взбоится и набросится на дядю Нико, но он лишь мрачно оглядел его волчьим взглядом. Не успел я порадоваться этой симптоматичной победе, как дядю Нико запрятали в карцер. Только тогда все поняли, как плохо нам без него, сколько уверенности вносил он в наше жалкое житье-бытье. Общее настроение сразу упало, и вся жизнь пошла кувырком. Из-за пустяков возникали споры, для решения самых простых вопросов приходилось созывать собрания. Виктор, заменявший дядю Нико, пасовал перед своей трудной задачей. Его просто никто не слушал.

Пока дядя Нико сидел в карцере, в нашей камере произошла первая и последняя кража. Дело было пустяко-

вое — у одного из крестьянских парней украли домашнюю колбасу; событие можно было бы обратить в шутку, но Виктор оказался непреклонным. Кража среди заключенных считалась весьма серьезным преступлением и, по традиции, наказывалась очень строго. Мы провели обыск, который длился около трех часов, и в конце концов пропажа нашлась. Вор оказался из новичков — хилый парень, возчик по профессии, один из тех, кто вечно недоедает и с завистью глядит в чужую миску. Все заключенные были не на шутку возмущены — не столько кражей, сколько тем, что из-за вора пришлось до два перерывать их убогие пожитки. Когда злополучную колбасу извлекли из подушки, виновник лишь презрительно пожал плечами и сказал:

— С голоду! Жрать хотел!

— Все мы голодны! — отрезал Спас.

— Не все! — с ехидной злобой возразил вор. — Или я не вижу, сколько ест доктор... Суп лучше выплеснет, а другому не даст.

Это было верно. Я часто, даже не пробуя, выплескивал отвратительную тюремную похлебку. Разумеется, мне и в голову не приходило отдать свою порцию другому, мне казалось, что я обидел бы человека.

Мы стали обсуждать, какое наказание определить преступнику. Но тут маленький возчик снова подал голос:

— А почему меня одного наказывать? Эту колбасу он тоже украл. По уговору посылки общие, а он сначала припрятал колбасу, а потом уже отдал посылку.

И это было верно. Поломав голову, мы решили наказать обоих — лишить их на месяц нашего общего снабжения. Это небольшое событие взбудоражило всю камеру; о нем говорили несколько дней. Только дед Штилян был глух и слеп ко всему. Он перестал разговаривать; глядя перед собой унылым невидящим взглядом, он бесшумно, как привидение, бродил по камере. Я не знал, за себя он боится или жалеет безвинно погибшего пастушка. Однажды вечером я попытался заговорить с ним.

— Развейся немного, дед Штилян, — сказал я. — Разболесешься от дум... Я уверен, что все обойдется.

Старик с недоумением поглядел на меня:

— А Савчо?

— Что Савчо? В его смерти ты меньше всех повинен.

— Как бы не так! — с тоской воскликнул старик. — Если не я, то кто другой? Известное дело — я виноват.

Я не сразу уловил его мысль.

— Но ведь ты ничего не знал? — спросил я, удивленный.

Старик с такой укоризной поглядел на меня, что мне стало стыдно.

— Нехорошо так говорить, сыпок! Если бы я не притаился, Савчо и сейчас был бы жив. Он ведь совсем был не виноват, ну ни капельки, мне сам дядька его говорил.

Лучше бы я не начинал этого разговора! Старик опять всю ночь не сомкнул глаз. На следующее утро вернулся из карцера дядя Нико, такой бледный и изможденный, что мы испугались за него. Лицо у него еще более заострилось, глаза горели недобрым огнем.

— Чего я только не наслушался об этом карцере, но не верил, — медленно начал он глухим голосом. — Это не карцер, а катакомбы в десятке метров под землей. На полу вода до щиколоток... Хорошо, что нашлось сухое местечко в уголке, чтобы присесть на одной ноге.

Как он ни ослаб, он подробно расспросил нас обо всех событиях в его отсутствие. Кроме кражи, рассказывать было не о чем. Выслушав нас, он мрачно пахмурился:

— Мало их наказали! Я вот что вам скажу — за кражей идет предательство. Всякое моральное разложение надо пресекать в зародыше, потому что никто не знает, куда оно заведет.

— Как пресекать? — недовольно пробормотал Виктор.

— Строжайшими мерами! — ответил дядя Нико. — Как же еще?

Когда все разошлись, он пристально взглянул на меня и тихо спросил:

— Как дед Штилян? Отошел он?

Я стал рассказывать ему о недавнем разговоре, по у меня было ощущение, что дядя Нико слушает меня невнимательно, думая о чем-то своем. Когда я кончил, он мельком взглянул на меня и сказал с какой-то особенной усмешкой:

— Знаешь, что пришло мне в голову, пока я сидел в той дыре? Наверно, старик знал, что его спутали с другим. И нарочно помалкивал. А теперь ломает перед нами комедию.

Я посмотрел на него, пораженный, и сердито возразил:

— Этого не может быть!

— Доктор, ты привык сидеть в своем кабинете! — сказал, медленно покачав головой, дядя Нико. — Люди вовсе не то, что ты о них думаешь. Жизнь приучила меня держать ухо востро.

Я хмуρο молчал.

— Знал бы ты, что за хитрецы такие деревенские старики! — продолжал он. — Я не сержусь на них: рабство приучило их к этому. Прикидываются дураками, а хитрости в них хоть отбавляй.

— Может быть, — ответил я. — Но мы не имеем права так рассуждать.

— Почему? — резко спросил он.

— Если не верить людям, то не построить никакого нового общества.

— Построим и без веры в людей, — ответил дядя Нико. — Построим! Пусть ошибаются — мы их будем наказывать! Нас будут обманывать, а мы не поверим, будут хныкать, а мы их не послушаем. Иначе мы изменим и себе, и революции и утопим ее в своей глупости и наивности.

Я давно не слышал, чтобы он говорил с таким глубоким внутренним убеждением.

— Пусть даже так, — проговорил я. — И все же я предпочитаю трижды обмануться, чем один раз оказаться несправедливым.

— Я-то ни разу не обманусь! — строго заявил дядя Нико. — Дать себя обмануть — значит совершить ошибку. А несправедливость тебе простят и забудут, когда увидят результаты.

И на этот раз мы расстались, не появив друг друга. Но слова дяди Нико не прошли бесследно. Я уже другими глазами глядел на старика — мрачными глазами сомнения. Я внимательно прислушивался к его словам, следил за его поступками, пытаюсь открыть в них хотя бы малейший признак двуличия или притворства. Но ничего не обнаруживал. Старик по-прежнему бесшумно и безмолвно бродил по камере, все так же тихонько вздыхал по почам. В конце концов и это начало казаться мне подозрительным: неужели человек с чистой совестью стал бы так мучительно переживать смерть чужого человека, в которой он не виноват?

Потом я открыл еще кое-что паводящее на неприятные размышления. Старик всегда ел мало, а узнав дур-

ную новость, совсем лишился аппетита. Я видел, как он с отвращением жует, как едва проглатывает куски. Но теперь, глядя на него другими глазами, я заметил, что он ни с кем не делится добавками из наших посылок. Более того, все излишки он запихивал в маленький мешочек, который прятал под тюфяком. Эта деталь произвела на меня очень тягостное впечатление. Похоже было, что дядя Нико недалеко от истины и дед Штилян в какой-то степени лишь изображает из себя страдальца. Очевидно, старик надеялся, что рано или поздно опасность минует и тогда у него снова разыграется старческий аппетит. Так или иначе, но он заботливо запасался продуктами, чтобы в желанный день поесть в свое удовольствие. Нет, тот, кто истинно страдает, не станет делать запасы на будущее. По всему было видно, что дело со стариком не чисто.

Однажды вечером он извлек из-под тюфяка свой замусолопный мешочек и украдкой спрятал за пазуху. Мне стало противно. Даже не глядя, я знал, что будет дальше: старик забьется в укромный уголок и там подкрепится на славу. И в самом деле, пугливо озираясь, он направился в дальний угол камеры. Подойдя к наказанному возчику, он поспешно сунул ему мешочек. Камера была битком набита, но никто не обратил внимания на эту вылазку.

Я вздохнул с таким облегчением, что Спас, с которым мы играли в шашки, изумленно поглядел на меня.

— Ты еще думаешь выиграть? — спросил он, сделав неожиданный ход.

— А... пет-пет, — пробормотал я. — Я подумал, что худо ли, хорошо ли, но человек должен оставаться верным себе...

В тот вечер я был в таком приподнятом настроении, что решил расшевелить немного и деда Штиляна. Когда мы укладывались спать, я наклонился над ним.

— Ты зачем подкармливаешь вора? — спросил я. — Ты же знаешь, что мы его показали!

Старик, застигнутый врасплох, вытаращил на меня глаза и молчал.

— Ты откуда знаешь? — наконец спросил он.

— Видел.

— Нехорошо подсматривать за другими, — сказал старик с укоризной. — Не надо соваться не в свое дело.

— Я случайно заметил, — соврал я.

— Ну и что ж? Дал ему, — нехотя ответил он. — Отчего бы не дать? Никакой он не вор, а просто голодный человек. И вы плохо сделали, что наказали его.

— А по-твоему, его надо было похвалить?

Старик призадумался.

— Наказание что хворь, — сказал он. — Раз переболеешь, второй раз не берет. Нельзя наказывать ни за что ни про что. Придумали бы лучше что-нибудь другое.

— Вот ты и придумал? — спросил я с усмешкой.

— Пожалел человека, вот и все, — сказал дед Штиляп. — Грех перед богом оставить человека голодным.

Только я стал засыпать, как он вдруг толкнул меня в плечо. Повернувшись, я увидел его тощее, необычно взволнованное и сосредоточенное лицо.

— Слушай, доктор, ты ученый человек, растолкуй мне, — проговорил он. — Верно ли, что нет бога?

Такого вопроса я не ожидал. Что я мог ответить этому старому человеку, у которого осталась лишь крупица надежды? Чем я заменю ему веру, если его завтра, как барапа, поволокут на полигон?

— Говори, но только правду! — настаивал он.

— Как быть богу, дед Штиляп? — сказал я со вздохом. — Будь бог, не было б таких ужасов на свете.

— Может быть, он есть, но хочет проучить нас...

— Старая выдумка, дед Штиляп. Даже те, кто повторяет эти сказки, не верят в них. Почему же бог, как нарочно, наказывает самых бедных и самых слабых? За что он наказал Савчо? Какие такие грехи были у пастушонка?

— Так... — задумчиво протянул старик. — По-твоему выходит: что бы ты ни сделал, доброе или худое, ни от чего следа не останется? И никто с тебя не спросит — так, что ли?

Лишь тогда я понял, что за мысли будоражат его.

— Не совсем так, — осторожно заметил я. — Есть кому мерить добро и зло, но весы в наших руках. Любое добро оборачивается тебе на пользу, и весы сразу же отмерят его. Добром питается душа. Иначе она иссохнет и зачахнет.

Я испытующе глядел на него — понял ли он, что я хотел сказать? Старик глядел в потолок и размышлял.

— Должно быть, так, — промолвил он наконец. — Выходит, что только самого себя человеку не обмануть. Перед самим собой он всегда должен быть прав...

— Именно так! — обрадованно заметил я. — Только от тебя зависит, на что станет похожа твоя душа — на жабу или на соловья.

— Но ведь она умрет вместе с нами — так, что ли?

— Наверно, — ответил я. — Правда, этого еще никто не доказал.

— А я не верю! — убежденно заявил старик. — Должно же что-то остаться от нас на этом свете — хоть жаба, хоть соловей... Иначе какой смысл?

Я ничего не ответил. Пусть думает по-своему. Кто сможет доказать ему обратное? Никто, ни один мудрец, никакая из наук. Если это дает ему утешение, пусть думает так, и его истина будет ничуть не хуже любой нашей предположительной версии.

В те дни произошло еще одно событие — ко мне на свидание приехала Жанна. Картина, которую я увидел за проволочными решетками, была поистине неповторимой: передо мной стояла элегантная дама в безукоризненном костюме, в шапочке с вуалеткой. Вуалетка была приспущена над глазами, и, лишь заметив меня, она откинула ее грациозным жестом. Только Жанна могла отколоть такой номер — заявиться в тюрьму, раздевшись по последней моде, будто с картинки вешского журнала. Она действительно выглядела прекрасно: белизна нежной кожи выгодно оттенялась вуалеткой, пухлые губы были умело подрисованы, глаза от волнения светились живостью и участием, как никогда раньше. Ухватившись за решетку своими нежными пальчиками, затынутыми в черную шелковую перчатку, она стояла передо мной, молчаливая и потрясенная. Я тоже был поражен. Столь элегантной она не появлялась даже в самых изысканных софийских увеселительных заведениях.

— Здравствуй, Ян Гус! — проговорила наконец она.

— Здравствуй, Лукреция Борджа!

По ее хорошенькому личику пробежала чуть заметная тень.

— Ты хочешь обидеть меня! — капризно сказала она. — Знал бы ты, какой путь я проделала ради тебя! И где я ночевала!

— Очевидно, на вокзале! — шутливо ответил я.

— В гостинице! — сообщила она. — В самой отвратительной гостинице в мире! Даже уборной нет — надо спускаться вниз, к ресторану.

— И что, спускалась? — ухмыльнулся я.

— А как ты думаешь? Только открыла дверь, а там две крысы. Вот такие огромные и, главное, омерзительно грязные. Я вскрикнула и...

— Упала в обморок?

— Вот именно. Не помню, как меня приводили в чувство, но в помер я вернулась мокрая, как курица.

Она пыталась шутить, но глаза ее увлажнились. Мне вдруг стало стыдно за свое дурацкое поведение.

— Давай прекратим этот идиотский разговор, — заявил я. — Как бы то ни было, я очень рад, что ты приехала.

— Я тоже. И если хочешь знать, это единственный героический поступок в моей жизни. Я говорю даже не о гостепице, а о поезде. Его называют «черный поезд», потому что на нем ездят все деятели «черного рыпка», все столичные мешочники. Представляешь себе, какая там была давка?

— И ты ехала в этом изящном костюмчике?

— Что я, с ума сошла! Костюм я везла в чемодане, чтобы тут покрасоваться перед тобой.

Она умолкла. Шестым чувством я почуял, что позади появился Ахтунг и замер где-то за моей спиной. Я знал, что теперь он будет глазеть на Жанну и не двинется с места.

— Расскажи что-нибудь о Софии... Как поживают наши друзья?

— Они просто обалдели! — с гордостью усмехнулась она. — Они думали, что ты болтунишка вроде них. А оказалось, что это совсем не так.

— Ну и ну! Выходит, что я нарочно сунулся сюда, чтобы доказать им свое превосходство?

— Знаю, знаю! — сказала она. — Я всегда знала тебе цену.

— Ну копец! Но, сказать тебе по правде, я не связывался бы, если б знал, к чему это приведет.

Но она пропустила мои слова мимо ушей и вдруг вспомнила о чем-то своем.

— Постой, я тебе расскажу, пока не забыла... Перед поездкой сюда мне гадали на кофе. Одна чрезвычайно интересная старушка. Я непременно познакомлю тебя с пей, конечно, когда ты выйдешь отсюда. Она нагадала на тебя много интересного.

— Интересного или хорошего?

— И то и другое! Она сказала, что ты родился под

счастливой звездой. Все испытания скользнут над твоей головой и ни одно тебя не затронет.

— Пожалуй, это не совсем хорошо для тебя, — сказал я.

— Почему?

— Если все верно, ты выйдешь замуж за другого! А я останусь счастливым старым холостяком.

Тогда у меня и в мыслях не было, что мое пророчество сбудется. Она, надув губки, посмотрела на меня.

— А что ты воображаешь? Уж не думаешь ли ты, что я из-за тебя останусь старой девой? — Почувствовав, чтохватила через край, она снисходительно добавила: — Но я обещаю: как только ты выйдешь отсюда, я опять вернусь к тебе.

— Почти неподдержанной, — усмехнулся я.

— Почти! — серьезно ответила она. — Вряд ли есть лучшая гарантия целомудрия, чем брак. Так что ты можешь быть абсолютно спокоен.

— Уже успокоился! Что еще сказала старушка?

— Она сказала, что ты тут нашел пового друга, притом настоящего. Со звездой во лбу! Но он умрет у тебя на руках.

— Как так? — удивился я.

— Не знаю как! Только это нагадала плохое — все остальное хорошее. Она сказала, что ты спасешь кого-то от смерти. И он будто бы возвысит твою душу! Мне так было смешно!

— До чего интересная старушка! — подивился я. — Действительно, стоило бы с ней повидаться.

— И еще она сказала, чтобы ты остерегался одного человека без стыда и совести. И что еще? А! Тебе не следует раздражать его! Впрочем, для такого, как ты, это невозможно: раз я тебе сказала, ты нарочно стапешь его злить.

— Советую тебе говорить потише! — сказал я ей пофранцузски. — Этот человек у меня за спиной!

Она мельком взглянула на падзирателя, и в ее тонком лице что-то дрогнуло.

— Да, опасный тип! — робко заметила она. — Я очень, очень прошу тебя — остерегайся его. И не потому, что верю бабке, а потому, что он правда такой. Кто он?

— Сама видишь! Если я скажу, кто он, он поймет, что мы говорим о нем.

— Да, ты прав... Оставим старушку — поговорим о тебе! Между нами говоря, твои письма становятся весьма прохладными.

— Душа не лежит писать письма, которые будут читать другие.

— Хотя бы матери пиши по-людски! — сказала она. — Я вчера была у ваших — оказывается, им ты тоже пишешь идиотские письма!

— В этом ты права! — уныло ответил я.

— А обо мне ты думаешь?

— О ком же еще?

— Да, но с досадой! Знаешь, что завтра надо писать письмо, а тебе лень.

Она была близка к истине, но я с деланной шутливостью возразил:

— Ведь только письма придают смысл моей жизни здесь!

— Спасибо, — серьезно сказала она. — Больше всего мне хотелось бы, чтоб это была правда.

Когда свидание подошло к концу, она расплакалась. Но в этом плаче не было ни горя, ни отчаяния. Я чувствовал, что ей правится разыгрывать эту маленькую драматическую роль, хотя бы лишь в собственных глазах.

— Привет бабушке! — сказал я.

— А ты передай привет юноше со звездой.

— Откуда ты знаешь, что это юноша? — вздрогнул я.

— В чашке было видно.

— Пошли, доктор! — послышался за спиной лепивый голос Ахтунга.

Немного погодя он уже вел меня по коридору. Я шел медленно, чувствуя, что меня что-то гнет. Какая-то смутная тревога, смешанная со страхом, которую я не мог до конца осмыслить. Вдруг Ахтунг проговорил:

— А я не знал, доктор, что ты из богатеньких!

В его голосе звучало скорее уважение, чем насмешка.

— Это не так, — ответил я.

— Как же не так? Эта дамочка небось не с неба свалилась?

Я не ответил. Отвечать не имело смысла.

— Вот так и бывает, когда человек не понимает своего интереса, — прибавил он с обычной ноткой глубокого презрения.

— В этом мире никто не знает, в чем его интерес! — ответил я, начиная злиться.

— Я-то свой интерес знаю! — сказал Ахтунг. — Уж в этом будь уверен!

Я обернулся и взглянул на него. Он улыбался; в тусклом свете коридора виднелись его безобразные желтые зубы. И кожа у этого знатока собственных интересов была грязная и шероховатая. На миг я ощутил пропизывающий ледяной холод. Моя счастливая звезда оказывалась не такой уж счастливой. Очевидно, Ахтунг своим животным инстинктом догадался о моих мыслях и сказал:

— А насчет того, что ты родился счастливым, не обольщайся. Здесь вы все в моих руках.

— Возможно, — ответил я. — Но и ты тоже в чьих-то руках!

— Верно, — неожиданно согласился Ахтунг.

Мы подошли к нашей камере. Ахтунг сунул руку в карман, послышалось неприятное бряцание ключей.

— С тобой мы еще поговорим, — сказал он. — И по-серьезнее...

Я был так удручен, что не обратил внимания на его слова. Тяжелая дверь захлопнулась за моей спиной, я огляделся вокруг. Виктор сидел, поджав ноги, на нарах, его отсутствующий взгляд витал где-то над головами остальных. Он даже не взглянул на меня, хотя и слышал тяжелый скрип двери. Когда шаги Ахтунга замерли в отдалении, Виктор машинальным движением извлек из-под подушки узкую длинную тетрадку. По-прежнему не глядя на меня, он углубился в какие-то свои записи, покусывая губы в упорном раздумье.

Я поплелся к своему месту на нарах. Неприятные мысли не давали покоя, я отмахивался от них, до отвращения недовольный собой. Неужели серьезный человек может так расстроиться от выдумок какой-то бабки? Очевидно, за последние месяцы у меня не на шутку распались нервы. Наконец я не выдержал и подошел к Виктору. Он рассеянно поглядел на меня и, с трудом отогнав свои мысли, с участием спросил:

— Как прошло свидание?

— Хорошо, — сказал я. — А ты что читаешь?

Он показал мне тетрадку — она была вся испещрена математическими знаками и формулами.

— Это Риман, — ответил он. — Великая вещь! Кое-что я забыл и теперь восстанавливаю по памяти. Иногда я испытываю великое и идиотское чувство, будто я прихожу к его выводам самостоятельно.

Он и раньше говорил мне о Римане, но сейчас меня это мало интересовало.

— Послушай, Виктор, — серьезно начал я. — Как ты считаешь, можно предсказать будущее?

Он с удивлением поглядел на меня:

— В каком смысле?

— В самом обыкновенном. С помощью гороскопов, гадания на кофе и так далее...

— Этим делом занимаются шарлатаны, — ответил он.

— Но я спрашиваю в принципе. Возможно ли, чтобы некая сила пропикла в это так называемое будущее и передала нам о нем какую-нибудь информацию?

Виктор рассмеялся, глаза его лукаво сверкнули.

— Много знать захотел! — сказал он. — Но я не могу тебе ответить.

— Не можешь или не хочешь?

— Не могу. Потому что не знаю.

Я неодобрительно поглядел на него. Было ясно, что он хочет увильнуть от ответа.

— Виктор, мне просто хочется узнать, что ты думаешь об этом. Научных трактатов я от тебя не требую.

Он почесал в затылке.

— Ладно, объясни мне тогда сначала, что ты подразумеваешь под словом «будущее», — серьезно начал он. — Если ты более или менее сносно объяснишь значение этого слова, мне будет не так уж трудно ответить на твой вопрос. — И поскольку я ответил не сразу, он добавил: — Ну, я жду... Разумеется, даю тебе время подумать.

Я призадумался. Ответ не казался мне теперь таким простым, как вначале.

— Ну хорошо. Будущее — это все то, что не случилось, но случится...

— Это не ответ, — усмехнулся Виктор. — Ты просто употребляешь те самые глагольные формы, смысл которых ты хочешь узнать. Ты не отвечаешь на мой вопрос, а задаешь его в другой форме.

Мне пришлось согласиться, что он прав. Но я не мог придумать никакого другого определения.

— Хорошо, я помогу тебе, — сказал Виктор. — Что ты имеешь в виду, говори «случится»? Некое событие или некое существование?

Я не совсем понял его вопрос и сказал первое, что мне пришло в голову:

— Конечно, речь идет о событиях. Это меня интересует.

Виктор задумался.

— Мне кажется, что именно отсюда начинается вся путаница, — сказал он. — Мы не знаем подлинного смысла ни того, ни другого понятия. А в принципе это противоречие субъекта и его содержания...

Признаюсь, что я тогда почти ничего не понял из этих слов и сейчас, возможно, не совсем точно передаю ответ Виктора. Пока я раздумывал, он снова спросил меня:

— Двинемся дальше... Событие, о котором ты говоришь, непременно должно случиться, или же, возможно, оно и не произойдет?

— Скорее второе, — ответил я.

Он с таким укором посмотрел на меня, что я устыдился.

— Как же так? — спросил он. — Тогда выходит, что ты сам не понимаешь своего вопроса. Если можно предвидеть наступление какого-либо события, очевидно, что оно при всех положениях должно произойти. Иначе отпадает вопрос о предвидении.

— Да, это так, — пробормотал я.

— Тогда предвидение так называемого будущего, если оно вообще существует, включает в себе еще одну проблему: возможны ли случайные события, или же то, что мы привыкли называть будущим, строго детерминировано...

— Все зависит от точки зрения, — заметил я. — Если встать на точку зрения самого события, то оно может оказаться случайным, если же смотреть на него из прошлого, оно становится необходимым.

— Именно так! — с живостью воскликнул Виктор. — Значит, одна из сущностей этого вопроса, и, быть может, важнейшая, состоит в следующем: возможны ли обе точки зрения, и если так, то что они представляют как выражение объективной действительности?

— Я думаю, что ты прав, — смиренно согласился я.

Виктор расхохотался так неожиданно и громко, что я вздрогнул.

— Одному богу известно, насколько я прав! — ответил он. — Я лишь хочу сказать, что способы восприятия так называемой объективной действительности настолько несовершенны, что в настоящее время у меня нет никаких оснований считать себя правым...

Я невольно поморщился.

— Хорошо, что тебя не слышит дядя Нико, — сказал я. — Он слова припомнил бы тебе агностицизм.

— Можно найти тысячи оправданий своему незнанию, — сказал он. — Но изменится ли от этого суть дела?

Я по-прежнему озадаченно молчал, и он продолжал уже более спокойно:

— Мне кажется, что мы совершаем самую большую ошибку, когда пытаемся уяснить себе то, что пазываем временем. Вот тут-то мы, пожалуй, категоричны до предела. Мы с полной уверенностью говорим: прошедшее, настоящее, будущее. Но мы никогда глубоко не задумываемся над тем, что же, в сущности, означают эти понятия. Не задумываемся потому, что у нас сложилось о них вполне определенное, твердое представление чуть ли не аксиоматического характера... — Он на миг призадумался с крайне сосредоточенным видом. — Как люди представляют себе прошедшее? — продолжал он. — Как дым... как небытие... или, точнее говоря, существование представляется им как горящая свеча... Горение — это настоящее, текущий миг. Миг сжигает бытие и превращает его в дым, то есть в ничто. В этот миг я умираю, перестаю существовать, и нет силы, которая вернула бы мне минувший миг, то есть мою жизнь. Так люди представляют себе прошедшее.

— И не без основания, — сказал я.

— Не будем спорить об основаниях. Но дело в том, что, представляя себе будущее, они поступают как раз наоборот. Будущее им видится как рост и перерастание настоящего в ничто. Например, как рост стебелька в замедленных съемках паучного фильма. Макушка ползет вверх, растет, разрастается. Или, другими словами, она продвигается с течением времени в пезапятое, пустое пространство. Таким же образом и мы представляем себе наш материальный мир, который движется и эволюционирует из данного положения к неизвестности, вперед макушкой, которую я назвал бы условно творящим временем. Так?

— Похоже, что так! — пятапуто усмехнулся я.

— Если так, то оказывается, что все, пазываемое объективной действительностью, бытием или существованием, — в сущности, лишь одно мгновение, жестко заключенное между тем, что неозвратно минуло, и тем, что еще не случилось. Так или не так?

— Логически это так, — пробормотал я. — По крайней мере, по отношению к тому, что мы именуем событиями...

— Нехорошо, молодой человек, увиливаешь! — сказал, укоризненно подняв палец, Виктор. — А по-моему, ясное ясного, что мир не может делиться на какой-то кажущийся неподвижным неизменный фундамент и на события или явления, которые текут и изменяются. Вспышка молнии, извержение вулкана — это, как и все остальное, проявление материального существования. Но вопрос совсем не в том — в этих действиях, событиях или явлениях есть нечто неоспоримое. Ну например, их неповторимость и последовательность. С дерева падает лист, а за ним — другой. Все дело в том, что ни один лист не падает дважды, а между падением двух листов протекает то, что мы называем временем и измеряем часами.

— Значит, все же время течет? — уныло заметил я.

— Не течет! — с раздражением возразил Виктор. — Существует, но не течет. Если бы оно, по нашей ископной логике, текло, то нам пришлось бы вернуться на старую идиотскую позицию, что объективная действительность реальна лишь в краткий миг настоящего, который мы условно называли творящим временем... Материя действительно движется и изменяется, но она движется и изменяется в самой себе. Как совокупность она не может течь, ибо она всеобъемлюща, или, другими словами, содержит в себе и время, и пространство.

— Это я уже слышал! — сказал я. — Так говорил твой Эйнштейн.

— Именно так! Он первым сказал это и замутил еловые головы вроде твоей. Он лишь скромно заметил, что *естественнее*, вопреки сложившемуся мнению, рассматривать физическую действительность как сложное четырехмерное существование, а не как эволюцию трехмерного существования. Координата времени находится не вне материи, а, грубо говоря, включается в нее наравне с пространственными измерениями. Полученная субстанция объективно неделима, и понятие «сейчас» теряет смысл в пространственном мире.

Он умолк, и физиономия его показалась мне слишком торжественной для тех пустых слов, которые он мне наговорил.

— Это ты еловая голова! — сказал я. — Разве ты ответил мне на мой вопрос?

— На какой вопрос? — удивленно спросил он.

— На какой! Можно ли увидеть то, что будет завтра? Виктор укоризненно поглядел на меня:

— Глупости!

— Я спрашиваю тебя — да или нет?

— Нет, конечно.

— А почему? Ведь в твоём заумном четырехмерном пространстве, в котором ты сам ни черта не понимаешь, нет ни настоящего, ни будущего...

Он усмехнулся.

— Верно, в принципе это возможно. Но, чтобы увидеть будущее, наверно, придется затратить какую-то огромную энергию, пока еще неизвестную людям. Или же люди будут знать другие, еще не открытые формы существования материи.

— Неужели ты не видишь, как бездарно ты выкручиваешься? — злорадно сказал я. — То, что они не открыты, еще не значит, что их нет. И где гарантия, что они не существуют для кого-нибудь?

К моему удивлению, Виктор сразу сник.

— Конечно, никаких гарантий нет! — уныло ответил он. — Правда, слепо подозревать, что у человека может оказаться под рукой такая огромная энергия.

— Я тебя не понимаю, — сказал я. — Возможно, и не пужна столь огромная. Лишь бы была качественно отличной и в то же время столь же присущей субстанции, как и нам известные.

— Все возможно! — сказал он с расстроенным видом. — Но, когда речь идет о науке, истина лишь то, что доказано. В принципе я ничего не могу принять на веру и ничего не могу отвергнуть, если ни для одного, ни для другого у меня нет достаточно убедительных доказательств.

— Ты только не сердись! — сказал я. — В сущности, я бы тоже хотел, чтоб ты был прав. И я все думаю: то, что мы называем жизнью или сознанием, рано или поздно сыграет злую шутку с вами, физиками.

— Ахтунг! — воскликнул дежурный у двери.

Пятеро членов заседавшей в эту минуту санитарной комиссии кинулись врассыпную. Мы услышали в коридоре тяжелые шаги надзирателя, затихшие перед дверью. Минута тягостного ожидания — и шаги снова загрохотали по коридору. Очевидно, надзиратель лишь заглянул в глазок и пошел дальше. Но и не видя, я знал, что то был сам Ахтунг.

На следующий день пошел снег. Рано утром я увидел его в окно — несказанно чистый, будто из другого мира. Не прошло и часа, как все снаружи побелело, прикрыв свое убожество. И в камере стало необычно тихо, даже вечно беспокойные арестанты притаились на своих местах. Мы долго молчали, а свет все белел и белел, и сердце мое вдруг радостно забилося. То было одно из самых ярких моих тюремных переживаний, и я до сих пор вспоминаю о нем с любовью и благодарностью.

Но когда нас вскоре вывели на ежедневную прогулку в каменистый прямоугольник двора, очарование сразу рухнуло. Снег оказался самым обычным, отвратительно влажным и липким. Через несколько минут мы превратили его в гнусную серую кашу, которая проникала сквозь нашу хлипкую обувь, заставляя нас ходить чуть ли не на цыпочках. И небо было серым и мутным, а зеленоватые стены тюрьмы выглядели почти черными. Сказка копчилась, сердце умолкло. Но остальным все как будто было нипочем, они бодро шлепали по жидкой грязи, зябко поживаясь в своей потертой одежонке. Вскоре их настроение передалось и мне, но от утреннего восторга не осталось и следа. Когда мы разминулись с дядей Нико, он тихонько с ухмылкой проговорил:

— Снегу надо, снегу! Пусть увязнут до козырьков!

Я очень хорошо понял, на что он намекает. Конечно, он был готов хоть голый сколько угодно брести по сугробам, лишь бы в них заблудилась и навек утонула немецкая армия. Снег для него не был ни воспоминанием, ни красотой, а просто-напросто великолепным стратегическим подспорьем, которое хмурое небо посылало нашим армиям совершенно бесплатно. Когда нас загнали обратно в камеру, Виктор показал мне маленький сизый комочек снега, тающий в его кулаке.

— Сохратить бы его на всю жизнь! — вздохнул он.

Смутная тревога сжала мое сердце. Что значит «на всю жизнь»? Я понимал, как глупо верить лепету какой-то полоумной бабки, и все же беспокойство не оставляло меня. Он, очевидно, заметил тень, пробежавшую у меня по лицу, и спросил:

— Ты что?

— Ничего! — торопливо ответил я. — Скорее всего, вчера ты был прав: это пока еще не в силах человеческих.

— Тебе все еще не дают покоя эти глупости? — рассмеялся он. — На свете есть куда более занятные вещи.

Около одиннадцати явился Ахтунг и отвел меня к доктору Лилкову. Это внезапное и поспешное приглашение застало меня врасплох. Неужели еще одна неприятная новость камнем ляжет на мои плечи? Но когда я увидел оживленное и веселое лицо доктора, у меня отлегло от сердца.

— Что случилось, коллега?— шутливо спросил я.— Неужели немцы заняли Сталинград?

— Пожалуй, это ему не грозит, — ответил он мне в тон.— Но оставим в стороне политику. Ты догадываешься, зачем я тебя позвал?

— Ума не приложу...

— Не мудрено, вы святыми не занимаетесь. А сегодня Николип день — я именинник. Вот и надумал отметить этот день с тобой, но по-быстрому — через полчаса меня будут ждать другие.

Это было трогательно — в день именин он вспомнил прежде всего обо мне. Он вынул из шкафчика свою громадную английскую бутылку, наскоро соорудил закуску из копченых колбасок, благоухавших острыми приправами.

— У нас в календаре только двое толковых святых, — говорил он, разливая вино, — святой Николай и святой Георгий. Мужчины были; а не великопостные заморыши. Ну, на здоровье!

Вино в бутылке подходило к концу, но и обеденное время было уже на исходе. Наконец, поглядев на свои карманные часы, доктор с досадой пробормотал:

— Никак нам с тобой не удастся повеселиться как людям... Пора идти, ждут. Кто знает, как меня сейчас ругают в Гражданском клубе...

Он вызвал Ахтунга и с сожалением окинул взглядом недопитые стаканы. Очевидно, они и навели его на недобрую мысль:

— Садись, допьем быстренько вино! — нетерпеливо сказал доктор.— Не прокисать же ему тут.

Глаза Ахтунга алчно сверкнули.

— Я на службе, — осторожно заметил он.

Но Лилков, сделав вид, что не понял намека, лишь махнул рукой:

— Какая это служба? Садись и не болтай.

Лилков долил наши стаканы, а надзирателю налил почти до краешка. За несколько минут Ахтунг опрокинул три полных стакана и с наслаждением отер губы.

— Браво, доктор, понимаешь толк в вине,— наконец изрек он.

В его тоне уже не было прежнего подобострастия. Стоило ему сесть рядом с начальником, как он уже почувствовал себя ровней ему. Сразу появились свойские и дерзкие замашки, он наглед с каждой минутой. Ахтунг проглотил, не жуя, оставшуюся половину колбаски, сам налил себе еще стакан. И, может быть, именно этот последний стакан стал роковым, именно он развязал ему язык. Но обпаружилось это позже, когда он вел меня по пустынным коридорам.

— Я все проверил, лекары!— сказал он, все еще смачно пожевывая и чмокая губами. — И вышло так, как я думал.

Я почувствовал, что мгновенно протрезвел, но решил ничем не выдавать, что понял его с полуслова.

— Что это ты проверил? — спросил я безразличным тоном.

— Ладно, не прикидывайся! — ехидно ответил он. — Насчет старика проверил, о приговоре...

— Не знаю, о чем ты говоришь, — сказал я нарочито небрежно.

Я надеялся смутить его и выиграть время. Но не тут-то было, Ахтунг не попался на удочку.

— Знаешь, очень хорошо знаешь! — тихо, но неумолимо отозвалось у меня за спиной.

Мне очень хотелось взглянуть ему в лицо, но тогда и он увидел бы мое.

— Не знаю и знать не хочу, — сказал я.

Очевидно, я вывел его из себя. Он поравнялся со мной и злобно сказал:

— Такие штучки у меня не проходят! Если не скинетесь, завтра же отправлю его на виселицу, так и знай!

Тут уж и я вскипел и еле удержался, чтобы не огреть его по жирпой роже.

— Слушай, ты не больно заносись! — грубо отрезал я. — Ты тут простой падзиратель, и ничего больше! Ты не имеешь права повесить даже цыпленка!

— Куда мне до тебя, я не шишка! — язвительно сказал Ахтунг. — А если ты не дашь, то кто другой?

И все же мой резкий тон, видимо, произвел на него впечатление. Почти до порога камеры он молчал, а потом проговорил:

— Подумай до завтра, о чем я тебе сказал! Хорошень-

ко подумай, чтобы потом не кусать себе задницу! Сейчас все от тебя зависит!

Тяжелая дверь захлопнулась за моей спиной, и я растерянно побрел к своему месту. Старик сидел на нарах, обратив бледное лицо к окну. Не знаю, как я выглядел, но, увидев меня, он чуть заметно вздрогнул и спросил:

— Что случилось, доктор?

Голос его прозвучал кротко и грустно, как у человека, который покорился судьбе.

— Ничего не случилось, — спокойно ответил я.

Но мое притворство не обмануло его, как и Ахтунга.

— Не трави себя, сынок, — сказал он с чуть слышным вздохом. — Чему быть, того не миновать.

Те же горькие и убийственные слова. Неужели в этом мире все предопределено, как утверждал Виктор? Неужели каждой пуле в обойме предназначена своя траектория и цель? В ту минуту мне это казалось и гнусным, и бессмысленным. Наверно, скорее прав Ахтунг, уверяя, что все зависит от меня. Да разве могу я допустить, чтоб в одну из почей старика схватили и, словно скотину, поволокли на бойню? Я готов был сделать все, что в моих силах, чтобы этого не случилось.

Как врачу, мне не раз приходилось держать в руках жизнь какого-нибудь бедняги. Но тогда я так не волновался и не испытывал такой робости и неуверенности. Очевидно, профессиональные навыки убивают человеческие чувства. Наверно, так и надо, чтобы действовать спокойно и уверенно. А что я мог сделать сейчас, когда сам был так расстроен и взволнован?

Убедившись, что ни до чего не додумаюсь, я снова направился к дяде Нико. Он, как обычно, выслушал меня и надолго задумался.

— Этого нельзя допустить! — сказал он наконец. — Ни в коем случае!

— Конечно! — радостно воскликнул я. — Иначе мы станем сообщниками Ахтунга!

— Именно, — согласился дядя Нико. — И поэтому я считаю, что тебе незачем больше говорить с ним.

Я остолепело поглядел на него.

— Что ты хочешь сказать? Чего мы не можем допустить?

— Чтобы он нас шантажировал! — твердо заявил дядя Нико.

Лишь тогда я понял, что мы говорим о разных вещах.

— А кто будет говорить с ним? Ты?

— Да, я! И решительно отвергну его гнусное предложение!

Я не поверил своим ушам.

— Как то есть отвергнешь? — изумленно возразил я. — Это все равно что сунуть деда Штиляпа в петлю!

— Он не осмелится! — уверенно сказал дядя Нико. — Побоятся скомпрометировать свое начальство.

— А если осмелится?

— Я говорю, что нет! Ему это и в голову не приходит. Он самый обычный вымогатель. Поверь мне: я хорошо знаю эти мерзкие душонки. С нами они звери, а перед своими пачальниками пресмыкаются, как слизняки. Против их воли он не пойдет.

— Ему и не придется. Достаточно лишь намекнуть им.

— И даже этого не посмеет! — решительно заявил дядя Нико. — Раз это не в их интересах.

Я энергично покачал головой.

— Нет, так нельзя! Я против риска!

Дядя Нико пристально поглядел на меня.

— Эх, доктор, разве может доброе дело опираться на такое грязное соглашение? — внушительно сказал он. — В конце концов, это вопрос принципа!

— Принцип! Не знаю, что значит это слово! — сказал я в сердцах. — Когда нужно спасти жизнь человека, ни о каких принципах не может быть и речи.

— Как ты не понимаешь, что таким путем ты никого не спасешь? — сказал дядя Нико устало. — Рассчитывать на человечность Ахтупга — пустое дело. Тогда — на его жадность к деньгам? Ну ладно, оберет он пас до питки и, когда уже нечего будет содрать, опять-таки предаст старика. Это настолько ясно, что я удивляюсь, как ты не можешь понять.

Я знал, что спорить с ним бесполезно: дядя Нико никогда не сошел бы со своих позиций.

— Думай что хочешь! — мрачно заявил я. — Ахтупг разговаривал со мной, и в дальнейшем я беру это дело на себя.

Так закончился наш разговор. В моем распоряжении оставался еще день на размышления. Я долго бился в поисках выхода. Мои личные средства были ничтожны: около шестисот левов денег, часы «Зенит» и самописка — весьма скромный выкуп за человеческую жизнь, но не такой уж плохой аванс. Правда, я не знал запросов

Ахтунга и поэтому мог рассчитывать на отсрочку — для подыскания средств. Главное, надо было тянуть время и действовать разумно и тактично. Дядя Нико в одном был прав — нельзя сразу выкидывать белый флаг.

К вечеру снег перестал, и пришла морозная ночь. Я почти не спал, несмотря на байковое белье и два толстых одеяла. Всю ночь я провел в томительном полусне, то и дело затыкая малейшие щелочки под одеялами. Наутро все проснулись посиневшие, особенно Виктор, напоминавший вытесанную из льда фигурку. Все же он пашел в себе силы пошутить:

— Ночью у меня окопчательно заledenела левая почка! Авось веспой оттает...

За весь день Ахтунг ни разу не обратился ко мне, но я почти осязаемо чувствовал его даже на расстоянии. Следующая ночь выдалась еще холоднее. Непонятно было, откуда идет стужа, как она проникает сквозь толстые стены. Казалось, я очутился в холодильнике и у меня смерзаются внутренности. К утру все краны в умывальной замерзли, бетонный пол превратился в залитый льдом каток. Мы целый час ждали, пока отопреют краны. Умываясь, я все время ощущал на себе тяжелый взгляд Ахтунга, который бесцеремонно наблюдал за мной. Я нарочно задержался в обледенелой умывальной. Все ушли, настала тишина, лишь из какой-то лопнувшей трубы с неприятным шипением струилась вода. Ахтунг, быстро, как зверь, оглядевшись по сторонам, решительным шагом направился ко мне.

— Ну говори, доктор! — нетерпеливо прошепелявил он.

Я молча сунул ему в руку заранее приготовленные деньги.

— Сколько?

— Пятсот левов, — ответил я.

— Ерунда! — сердито сказал Ахтунг. — Мне деньги нужны, понимаешь, деньги!

Ничего другого я от него и не ждал.

— Могу отдать тебе и часы, — сказал я.

Он алчно поглядел на часы, но в следующее мгновение что-то сообразил.

— Очень мне нужны твои часы! — пропыхтел Ахтунг. — Тебе понятно, что мне нужны деньги? Добывай деньги!

— Сколько?

— Еще две тысячи левов.

— Придется подождать, — сказал я. — Откуда мне сразу достать такую сумму? Напишу нашим, чтобы выслали.

— Мне ждать некогда! — грубо сказал он. — За день-два достанешь!

Последнее слово осталось за ним. Но когда за мной хлопнула дверь, я ликовал. Две тысячи левов! Пустяковая сумма! В этом мире дешевле оценили разве что Иисуса Христа. Но, поразмыслив, я пришел к выводу, что дело не так уж просто. Как за день-два раздобыть столько денег? Наверно, вся камера собрала бы такую сумму, но для этого пришлось бы снова вступать в переговоры с дядей Нико. Откровенно говоря, я не надеялся на его согласие и помощь. Оставался лишь один выход — поговорить сначала с Виктором. Если удастся перетянуть его на свою сторону, то вдвоем легче будет сладить и с дядей Нико.

Так я и сделал. Виктор внимательно выслушал меня, не сводя с меня глаз, и наконец озадаченно произнес:

— Никогда я не смогу понять этого человека! Но не беспокойся, мы, конечно, уладим дело.

Не знаю, о чем они говорили, но через полчаса подзвали меня к себе. Хотя дядя Нико был явно не в духе, никакой враждебности в его голосе я не уловил.

— Соберем деньги! — коротко заявил он. — Но дело совсем не в этом...

Я тактично промолчал, а Виктор нахмурился:

— А в чем же дело?

— Я уже сказал. Он ни в коем случае на этом не остановится.

— Что поделаешь! — нетерпеливо возразил Виктор. — Будем бороться до конца, другого выхода нет.

— Будем бороться! — презрительно передразнил дядя Нико. — Это не борьба, а капитуляция!

— А что же, по-твоему, борьба? — все еще мягко отзывался Виктор, но я заметил, как глаза его сверкнули колким, суровым огоньком.

— Тебе очень хорошо известно! — ответил дядя Нико. — Уж тебя-то учить не надо.

— Твоей борьбой мы ему не поможем, дядя Нико, — сдержанно заметил я. — Кого спасли такой борьбой? Мы боремся, а они нас режут спокойно и безнаказанно, как агнят.

— Нет, не так! — твердо отрезал дядя Нико.

— А как?

— **Вовсе не снокойно, и безнаказанным это тоже не останется.**

— Пусть даже так, — согласился я. — Но жизнь убитым не вернуть.

Дядя Нико оглядел меня с головы до пят. Я чувствовал, что он хочет сказать нечто важное, но колеблется.

— Доктор, мы революционная партия, — наконец проговорил он. — Этого ты не понимаешь и вряд ли когда-нибудь поймешь. Если сегодня мы не принесем жертв, то завтра никто не будет верить в нашу правду. Даже древние христиане понимали это и взяли символом веры не сердце, а крест.

Ответ был неплох и, по правде говоря, изрядно меня озадачил. Собираясь с мыслями, я заметил, что Виктор еле заметно улыбается.

— Я не знал, что ты разбираешься в христианской религии, — шутливо сказал он. — Но должен тебе заметить, что ты неважно поплыл ее. Знаешь ли ты, что сделало христианскую идею бессмертной? Конечно, не божественное происхождение ее автора. И не жертвы в угоду насилию. И даже не социальные реформы, которые христиане проповедовали. Крест — символ не жертвы, а самопожертвования. Только себя мы имеем право припестить в жертву во имя великой идеи, и никого другого. В противном случае Христос на тайной вечере пожертвовал бы не собой, а своими учениками. Так, к сожалению, до сих пор поступают некоторые наши товарищи.

Дядя Нико, который до сих пор держался мирно и спокойно, вдруг вспыхнул.

— Да разве может так рассуждать настоящий революционер? — загремел он. — Что за идиотская логика! Иногда гораздо тяжелее именно послать на смерть других, как это делают сейчас под Сталинградом советские командиры.

— Это совсем другое, — сказал Виктор. — Война есть война. Там самопожертвование выливается в добровольное подчинение единой дисциплине.

— Говорим на одном языке, а не понимаем друг друга, — огорченно заметил дядя Нико. — Я уже сказал вам: делайте что хотите. Я спорю не для того, чтобы почесать язык, а лишь потому, что уверен в своей правоте. Жаль только, что мы не понимаем друг друга.

В тот же день мы собрали нужную сумму. Но взаимного понимания не достигли, в этом дядя Нико был совершенно прав.

Часть вторая

Уже смеркалось, когда мы возвращались с поля. День выдался знойный, и низкая, болотистая равнина буквально задыхалась в собственных испарениях. Днем их не было видно, мы только чуяли их в смеси с запахом пота. Но как только солнце опустилось за ракиты, в тени под ними тонкой полосой стал оседать сизый туман. С каждой минутой туман густел и волнами расползался по широким грядам бахчей. И деревья, и белые стены разбросанных по равнине усадеб вдруг потеряли свои четкие очертания. Вечерний сумрак поглотил все вокруг и погрузил окрестности в мягкую тишину и покой. Мы еле брели, окутанные дыханием тучной земли, и нам казалось, что она весь день выдыхала отраву, — с таким трудом мы переставляли ноги.

А солдаты торопились. Может быть, они проголодались, а может, опасались, как бы кто-нибудь из нас не растаял в вечернем сумраке. Время от времени они покрикивали на нас, но арестантская колонна по-прежнему еле колыхалась. Все же это был один из лучших наших вечеров — третий или четвертый с тех пор, как мы стали работать в поле. В сущности, весь день был хорош — бесконечно долгий летний день с жарким солнцем над головой. Нас пьянил и вольный воздух, и кисло-сладкий аромат заливного луга, с которого недавно сошла вода. С утра до вечера лезвия мотыг сверкали на ярком солнце и вбивались в землю. С утра до вечера потоки солнечных лучей заливали наши окоченевшие за зиму тела. Все мускулы ныли, голова кружилась, во рту горчило от усталости, но мы с каким-то непонятным упоением продолжали работать. Каждый миг мы выкладывались до конца, и каждый миг могучее дыхание земли восстанавливало наши силы. Мы наконец-то жили! Мы радовались всему вокруг: и нежным корешкам, и белеющим в рыхлой земле личинкам, и рассеченным мотыгами жирным земляным червям, которые корчились у нас под ногами. Небо исчезло, осталась лишь земля, и мы жили в ней, вместе с ней, как корешки, как личинки и земляные черви. Хорошо и спокойно было в ее влажном мраке, кипящем

жизнью, которая рождалась из всего, что погибло и истлело.

Перед обедом двоим заключенным стало дурно. Мы привели их в чувство, облив водой. Они обвели нас мутным взглядом и снова потянулись к своим мотыгам. И опять солнце, рыхлая земля, раздавленные черви и горечь во рту. Обедали мы, рассевшись в тени навеса, полураздетые, еле удерживая в дрожащих руках легкие алюминиевые миски. Квакали лягушки, как сквозь соп отзывались птицы. Под навесами резко пахло свежим навозом и помидорной рассадой. Кислая постная похлебка прибавляла сил. Проглотив ее одним духом, мы стали, как хищники, озираться вокруг — так хотелось прибавить хоть что-нибудь к скудному обеду.

— Не зевай! Пошевеливайся! — сердито покрикивал конвойный. — Живей, не то приклад по вашим спинам запляшет!

Солдаты стали торопить нас в обратный путь. Надо было собрать мотыги, помыться и одеться, и каждый, как мог, тянул время. Мы обливались водой у колодца и визжали, словно дети. Но солдаты сердитыми окриками собрали нас, трижды пересчитали и повели обратно. На душе стало мрачно, ноги налились свинцом. Я едва плелся рядом со Спасом, который шагал угрюмо и молча. Где-то впереди мелькал тощий затылок деда Штиляна, пропыленная голова Виктора.

— Не глазей по сторонам! — крикнул конвойный. — Шире шаг!

Никто его не слушал. Зачем они гнали нас обратно, создавая и себе лишние хлопоты? Спокойно можно было бы оставить нас в кандалах на почевку в поле. Как хотелось полежать под навесом, прислушиваясь к кваканью лягушек и сердитому гудению майских жуков, а на исходе ночи часами смотреть, как светлеет небо на востоке, как покрывается бледным румянцем, как поднимается пылающее красное солнце и как оно наконец засверкает белым блеском.

— О чем задумался, доктор? — вдруг спросил кто-то.

Я вздрогнул, узнав голос Ахтунга. Все было кончено, я снова вернулся к нашим жалким, отвратительным будням. Ахтунг поравнялся со мной и говорил, не глядя на меня. Я видел, как он скovyрнул с рукава приставший комочек грязи и сбил его небрежным щелчком.

— Не твое дело! — враждебно ответил я.

Он ухмыльнулся, не обратив внимания на мою грубость.

— Гляжу на тебя и думаю — не пущу я сына в университет. Что толку, если оттуда выходят такие дураки, как ты.

Не впервые он глумился надо мной, но на этот раз я пришел в бешенство. В конце концов, ведь я был не в тюрьме, где власть и сила Ахтунга были непреложны, а в поле.

— Не думай, что ты шибко хитрый! — грубо отрезал я. — Одного не понимаешь, что и ты в моих руках. Смотри, как бы у меня не лопнуло терпение. Мигом вылетишь на свалку, как тухлый помидор.

Я думал, он разозлится, но Ахтунг снова ухмыльнулся, еще презрительнее.

— Ай-ай-ай, какой ты страшный! — сказал он, даже не взглянув на меня. — Ошибаешься, доктор, ничего ты мне не можешь сделать. Мир так устроен, что без меня не обойтись. Кто-нибудь да должен делать черную работу.

— Ты хочешь сказать — грязную?

— Пусть так — слов я не боюсь. Таких лекарей с чистыми ручками на свете полным-полно. Но на грязную работу охотников мало.

— Не так уж мало, — возразил я. — В очереди стоят за твоим теплым местечком.

Ахтунг пренебрежительно сплюнул.

— Ну и дай им боже, — сказал он. — Мне предлагают местечко куда получше. И деньги все разом — незачем щипать по перышку.

— Вряд ли предложат, если узнают, какой ты взяточник.

Впервые за дорогу Ахтунг окинул меня пронзительным взглядом.

— Там именно такие и нужны! — ответил он. — Взятка — лучший пропуск.

Он ускорил шаг и ушел вперед. Ахтунг прикинулся спокойным, но я хорошо знал, что задел его больное место, иначе он продолжал бы идти рядом и издеваться надо мной. Спас искоса поглядел на меня и чуть слышно пробормотал:

— Если он когда-нибудь попадетсЯ мне в руки, посажу его на кол, так и знай...

— И этого ему будет мало, — со злостью добавил я.

Мы вошли в город, как обычно, со стороны самой бедной и грязной окраины — так называемого мусульманского квартала. Узкая улочка, мощенная громадными плитами с крепостной стены, провоняла гнилью и застоявшимися помоями. Большая ватага оборванных ребятишек пошла за нами, но никто из них не кричал и не кривлялся, как это бывает при уличных зрелищах. Они шли молча, с испугом глядя на нас, как на свою неизбежную судьбу. Сидящие на гнилых порогах старухи вставали, как перед погребальной процессией, и торопливо крестились. Кое-кто из мужчин с ненавистью поглядывал на конвойных. Из одного окна три женщины в черном — все три с желтыми звездами — молча, с участием кивнули нам своими лохматыми головами. После хорошего, спокойного дня эта горячая волна сочувствия подействовала на меня как-то угнетающе. Я украдкой оглядел нашу колонну, пытался представить себе, как мы выглядим в их глазах. И на самом деле, более скверно одетой шайки бледных, измученных и обросших горемык нельзя было собрать по всему городу. Но люди не пугались нас, они нам сочувствовали. И именно в этом было нечто жуткое, ибо это нагляднее всего говорило о нашей нищете.

Наконец мы подошли к тюрьме. Снова забряцали цепи и замки, тяжелая, окованная железом дверь проглотила нас. Многочисленные внутренние двери открывались и закрывались за нами; мы словно шли навстречу своей гибели. Помню, что в такие минуты меня охватывало чувство обреченности, я едва тащился по мрачным коридорам. За последней дверью, казалось, угасала и последняя надежда. Наскоро поев, мы, как тараканы, расползались по парам. Нам оставалось только забыться сном.

Лежа на спине на твердых нарах, я долго глядел в потолок, все такой же облупленный, в зеленоватых пятнах сырости. С наступлением жарких дней вонь в камере снова стала невыносимой. Но теперь она уже не так угнетала, гораздо больше мучила тоска по свободе.

— Доктор! — послышался голос рядом.

Я знал, что это дед Штилян, но медлил обернуться. Мерзкое, постыдное чувство раздражения охватило меня.

— Доктор, что тебе сказал Бахтун? — спросил старик.

Я искоса поглядел на него. Мне казалось, что ужасные испытания последних месяцев как-то не затронули его. Более того, старик выглядел так, будто оправился от долгой, мучительной болезни. Он немного пополнел, лицо у

него разгладилось, во взгляде появилась живость и уверенность. Эта невероятная перемена вначале озадачивала меня, а потом стала злить. Выходило, что дед Штилян, как ни странно, лишь поправлялся за счет наших тяжких забот и беспокойства за его жизнь. Ко всему в придачу, он совсем перестал интересоваться Ахтунгом и его угрозами, никогда больше не говорил и не спрашивал о нем. Вот почему в тот вечер его неожиданный вопрос застал меня врасплох.

— Ничего особенного, — ответил я. — Просто... цепляется.

— Да нет, — задумчиво возразил старик.

У меня не было настроения говорить с ним, и я промолчал.

— Похоже, что он метит повыше, — продолжал дед Штилян. — Собрался удирать от нас.

— Все равно, — сказал я. — Пусть хоть министром его делают.

Старик с удивлением поглядел на меня. Я совсем забыл, что он все сказанное принимает за чистую монету.

— Министром-то его не сделают, — убежденно заметил оп. — Но дадут в руки дубинку побольше.

— Что бы ни было, лишь бы убрался с глаз долой...

— Да нет, — опять не согласился старик.

Я тоже знал, что это не так, но промолчал. Очевидно, старик понял, что я не в духе, и впопыхах добавил:

— Не время сейчас разговоры разводить. Но я думаю, если оп решит уходить отсюда, то первым делом рассчитается за все.

Самое страшное было то, что в его голосе совсем не было страха.

— Не бойся, — сказал я. — Как-нибудь вывернемся.

Старик чуть слышно вздохнул.

— Я не боюсь, — тихо ответил оп. — Страх уже прошел.

Эти слова меня поразили. И снова тоска и горечь подступили к сердцу. В ту минуту я почувствовал себя безмерно подлым, бесчестным и лживым. К чему успокаивать старика, когда знаешь, что изнурительная борьба подходит к концу? Все наши ресурсы иссякли, а жадный зверь по-прежнему стоит против нас и ждет, разинув ненасытную пасть. В ней исчезло все, что у нас было, но зверь, не мигая, терпеливо ждет новой жертвы. Мы знали, что долго ждать он не будет.

К тому же длительная непосильная борьба истощила мои силы, я устал до смерти. Я уже смирился с бессмысленностью этой борьбы и со своим неизбежным поражением. С некоторых пор у меня в душе зародилось подленькое желание развязки, какова бы она ни была, лишь бы покончить с изнурительным напряжением. А какова будет развязка, было ясно, на этот счет у меня давно уже не осталось никаких иллюзий.

Мое собственное состояние приводило меня в отчаяние. Будучи врачом, я не раз замечал у людей такое же трагически мерзкое чувство. Попадались мне и родители, и дети, и супруги, которые ждали конца и желали смерти своим близким. Может быть, это слишком сильно сказано, но такова жестокая истина. Они просто свыкались с неизбежностью смерти близкого человека и ждали ее, как освобождения прежде всего для себя, как освобождения от своих мук и терзаний. Вначале это глубоко меня потрясало, но постепенно я стал привыкать и, чтобы не растревать себя мыслями, начал придумывать всякого рода философские оправдания. Может быть, именно так жизнь проявляет свою силу, отталкивая от себя муки, страдания и смерть? Иной путь ведет в тупик, к смерти.

Но в глубине души я был убежден, что я-то не такой. Мне приходилось видеть людей, которые с отчаянной решимостью и готовностью жертвовать собой до последнего мига сражались со смертью. Они как бы сливались с умирающим и боролись за него, как за самого себя. Я думал, что и я из таких людей, но оказалось, что мне далеко до них. Мне было стыдно за себя, и я не знал, как вести себя со стариком, что соврать ему.

— Дед Штиляп, ты слышал, о чем мы говорили? — спросил я. — Ты слышал, как я сказал, что и он у нас в руках?

— Слышал! — ответил старик. — Ты просто хотел попугать его.

— Не только попугать. Ведь это правда.

Старик недоверчиво молчал.

— Он никогда не выдаст тебя, — продолжал я. — Потому что побоится. Вся камера знает, что он брал взятки — деньги, вещи, все, что попало. Стоит нам открыть рот, как он полетит ко всем чертям.

— Но ведь он сказал, что ему дают другую службу?

— Врет, конечно. Но если и верно, то никуда его не примут. Кому нужен взяточник? А ты знаешь, что он

прежде всего шкурник. Узнай он, что ему грозит хоть малейшая опасность, сразу забудет про твой приговор.

— Хорошо бы, коли так! — пробормотал старик.

— Конечно так! — воскликнул я с удивительной бодростью. — Ты знаешь, что я подружился со здешним доктором. Мы так прижмем Ахтунга, что он руки нам будет целовать.

Увлечшись своей ложью, я сам начал в нее верить. Гнетущая тяжесть стала спадать с моих плеч. Я дышал уже легче и свободней.

— Ладно, хватит! — вмешался, не вытерпев, Спас. — Ясно, что мы его не бросим! Главное, протянуть еще недельку, а потом — или пан, или пропал.

Тогда я не обратил внимания на его слова. Меня поразили смиренный ответ старика:

— Не думайте, что я боюсь! Но больно мне глядеть на вас — столько бед вам на голову, и все из-за меня.

Вскоре я заснул, обессиленный, с легкой душой.

Зима в тот год выдалась тяжелая. Зима, которая принесла гибель немецким армиям под Сталинградом, чуть не унесла с собой и нас. Стужа, скудная пища, болезни превратили нас в скелеты. Но для меня гораздо тяжелее оказалась изнурительная война, которую пришлось вести с Ахтунгом. Он метко выразился в тот летний вечер, сказав, что всю зиму ошпыливал нас по перышку. Все мои личные средства растаяли уже через месяц, пропали в его пасти. То, что предсказывал дядя Нико, сбывалось. Разумеется, Виктор не оставил меня, похоже, что ему не пришлось оказывать какое-либо давление и на остальных. Вся камера объединилась в трогательной готовности помочь из последних сил. Общая тайна еще более сблизила нас, и за всю зиму я не слышал, чтобы хоть один пожаловался на то, что у него берут последнее. Даже дядя Нико молча помогал чем мог, но в его взгляде я всегда читал укор и неодобрение. Он ясно сознавал, что игра проиграна, но терпел, видя, что все, как один, поставили на карту не только свое имущество, но и сердца.

А игра припала Ахтунгу по вкусу. Он считал ее вполне естественной и ничуть не удивлялся своим успехам. Конечно, первым делом он отобрал у нас деньги, и притом спокойно, методично, без оскорблений. Со мной он не церемонился, но на других нажимал полегоньку, опасаясь,

как бы у них не лопнуло терпение. Он, конечно, ошибался — из всей камеры лишь я с каждым его выпадом алился, выходил из себя и ждал случая подложить ему свинью. Остальные заключенные с завидным терпением и легким сердцем позволяли обирать себя до нитки. Они знали, для чего это делают. Ахтунг как личность для них не существовал.

Очистив наши карманы, он заинтересовался вещами. Первой жертвой пали мои часы, затем самописка, которую я подарил Виктору, карманные часы дяди Нико, кожаный бумажник Спаса. Я получил новые денежные подкрепления, но их он тоже прибрал к рукам. В ожидании, пока мы снова соберем средства, Ахтунг стал бесцеремонно присваивать содержимое наших посылок, оставляя нам лишь крохи, чтобы мы не умерли с голоду. Только в конце зимы он дал нам дней на десять передышку. Когда я совсем было решил, что он оставил нас в покое, Ахтунг предъявил мне новый ультиматум. Он потребовал, чтобы я взял взаймы у доктора Лилкова. Конечно, я не объяснил ему, зачем мне деньги, но, по-моему, Лилков догадался.

— Не спеши вернуть! — добродушно сказал он. — Ты знаешь, что мне деньги давать некуда.

Примерно в это же время я получил письмо от отца, которое окончательно выбило меня из колеи. Жанна вышла замуж. Он писал об этом в снисходительном тоне, но я прочел между строк его собственное удивление и огорчение. Я всегда знал, что как будущая сноха она ему не нравится. Но теперь я был в его глазах героем, и ее поступок, видно, казался ему невероятной подлостью. Отец упоминал имя мужа, возможно, с тайным намерением хоть немного утешить меня. И действительно, ее избранник не отличался ни красотой, ни умом, ни богатством. Хотя мы с ним и поддерживали знакомство, я всегда считал его полукретинком. Еще юношами мы играли с ним в одной клубной баскетбольной команде — оба весьма посредственно, так что у меня было достаточно времени изучить его, сидя на скамейке для запасных игроков. Это был обыкновенный тупица, но его пришедшая в упадок семья была одна из известнейших в Софии. Он хорошо одевался и пользовался успехом у женщин. Но что он понравится именно Жанне, я никак не ожидал и был уверен, что ее выбором руководил лишь низкопробный снобизм.

Это событие, против ожидания, весьма взволновало меня. Казалось, особых причин для волнения не было. Хотя, на мой взгляд, дело шло к тому, что я рано или поздно должен был жепиться на ней, эта мысль всегда будила во мне тревогу и внутреннее сопротивление. Я любил ее, но в то же время в глубине души чувствовал, что такая жена не по мне. Особенно болезненно переживал я эту по-вость в первый вечер после получения письма. Мне вдруг показалось, что все мои сомнения были напрасны, что Жапна — единственная жена, которую я по-настоящему любил. В душе вдруг разверзлась жуткая пустота, которую, думалось мне, никогда и ничем не заполнить. Я чувствовал себя брошенным, обманутым. На воле такие чувства, быть может, и не так страшны, но измученному узнику можно простить склонность к преувеличениям.

Я стал рыться в памяти, стараясь восстановить истину. Разумеется, всплыло много воспоминаний, от которых щемило сердце, но нашлись и успокоительные. Жапна была, бесспорно, интеллигентной девушкой, все говорили, что она красива, у нее было множество талантов, правда немного сомнительных, и вкус, о котором не приходилось спорить. Некоторые ее качества просто раздражали меня. Прежде всего, она была довольно холодна как жена, хотя внешне и не производила такого впечатления. Наши редкие свидания она всегда обильно орошала восклицаниями, тихими ахами да охами. Она напоминала красивые по выделке и недурные на вкус немецкие конфеты военного времени — конфеты только по названию, ибо в них не было сахара. Наши воскресные прогулки по Виттоше зачастую превращались в сущий кошмар. Она, как впавшая в детство старая дева, бегала по цветущим лужайкам, восторгалась видами, расписывала мне красоты природы, как будто я был слепым, неспособным увидеть их самостоятельно. Она признавала все только «самое» — самые умные разговоры, самые утонченные чувства. Она все время держала меня на чеку, побуждая изощряться в остроумии, пока я не превращался в выжатый лимон. И все же Жапна была неплохой девушкой, она легко переносила мою бедность и никогда не требовала того, что было бы мне не по силам или не по карману.

Разобрав ее по косточкам, я так и не пришел к определенному выводу, но в подсознании, очевидно, произошел какой-то перелом, я вдруг успокоился. Вероятно, любовь немыслима без невинной лжи и преувеличений. Невоз-

можно подвергать желщину хладнокровлому и дотошному анализу и в то же время продолжать ее любить. Реализм хорош, может быть, только в браке, если все другие, лучшие возможности уже исчерпаны. Так или иначе, по за следующую ночь я прекрасно выспался и проснулся в свосном настроении. Что бы там ни было, а приближалась весна, немецкие армии откатывались на запад, надежда на избавление крепла с каждым днем. Если бы удалось одолеть и Ахтунга, жизнь оказалась бы совсем неплохой.

К сожалению, в игре против Ахтунга из моих рук выпал один из самых сильных козырей — доктор Лилков. Он внезапно слег от прободения язвы желудка, о которой, как я узнал позже, он и не подозревал. Я лишился надежной опоры в педрах тюрьмы. Я никогда не сомневался, что в трудную минуту он не оставит меня в беде. И теперь, когда лам грозило полное поражение, мой последний резерв вышел из строя. Я был так ошеломлен и удручен, что готов был сложить оружие.

Вскоре я узнал, что у постели Лилкова собрался солидный врачебный консилиум. Коллеги долго мудрили и в конце концов решили немедленно оперировать его. Лилков изъявил желание проконсультироваться и со мной, но консилиум с негодованием отверг такое предложение. Тем не менее моему другу удалось связаться с директором тюрьмы и взять с него честное слово, что тот немедленно пошлет меня к нему на дом. Директор обещал. Однажды утром меня вывели из тюрьмы и отправили под конвоем в город.

Не бывать бы счастьем, да несчастье помогло — я до сих пор помню тот чудесный, незабываемый день. С тех пор как я попал в этот город, я впервые вышел за стены тюрьмы, и все вокруг казалось мне необычайно заманчивым и интересным. Меня вели, как положено, посередине улицы, но это не мешало мне глазеть по сторонам, не стыдясь ни конвойных, ни своего жалкого вида. Я дышал свободной жизнью и не мог надышаться.

А в городе ничто даже не намекало на то, что где-то в мире бушует жестокая война. В тени только что распустившихся каштанов играли в таблу; щелкали фишки, игроки с увлечением сосали тянучки. Щупленький поваренок волочил огромное ведро с говяжьим рубцом. Старые глиняно-смуглые турки в замызганных фесках торговали на уголках жареными орешками. Перед маленькой невзрачной городской гостиницей расселась дебелая про-

ститутка, усталая, по, видимо, довольная своими сверхдоходами военного времени. Красная бархатная юбка задралась выше колен, и массивные, заплывшие ляжки демонстрировались, словно бесплатная реклама заведения. Попадались, конечно, и оборванные цыганята, бескладные гимназистки, грузчики с пристани, сидящие на своих «козах», чистильщики обуви, полицейские в жестких пыльных сапогах. Как и в добрые старые времена, перед мясной висела на огромном ржавом крюке половина свежесобранной воловьей туши, с которой капала черная кровь. Когда меня вели мимо высокой веранды Гражданского клуба, украшенной растениями в кадках и знаками «V», символизирующими фашистскую победу, несколько солидных мужчин мрачного вида поспешно надели очки и, вскочив, стали меня разглядывать. Очевидно, многие из них были друзьями доктора Лилкова и знали, кто я и куда иду.

А сам Лилков встретил меня таким испуганным и несчастным взглядом, какого я не замечал и у своих пациентов. Ничего удивительного — Лилков, как знающий врач, понимал, что дело его плохо. Однако, сердитоглянув на конвойных, он сухо скомацдовал:

— Ждите за дверью!

Конвойные заколебались, и он прикрикнул:

— Слышали, что вам сказано?!

Получаса мне было достаточно, чтобы полностью обследовать его. Оставаясь верным своей профессии, я для приличия призадумался.

— Что ты думаешь? — робко спросил мой пациент.

— По-моему, операция ни к чему, — сказал я.

Лицо у него прояснилось.

— Ты уверен?

— Ты сам знаешь, что в медицине нет абсолютных истин. Но я никоим образом не рекомендую тебе ложиться на операцию. Я считаю ее ненужной.

— Я так и знал! — воскликнул Лилков. — Знал, что ты единственный мой друг в этом городе.

— Коллеги просто решили ободрать тебя, — сказал я. — Или же рассчитаться с тобой за что-то. Сколько они хотели взять с тебя за операцию?

— Точно не знаю, не меньше двадцати тысяч... Но здоровье дороже денег.

— В том-то и дело. Да какая может быть операция, ведь тебя наркоз не возьмет, — пошутил я.

Но мгновение спустя он снова помрачнел.

— Ну а если все это плохо копчится?

— Плохо копчится, если ляжешь к ним на стол! — решительно заявил я. — Слушай меня — и все будет в порядке. Наберись сил, и через несколько дней я отправлю тебя к моему профессору в Софию.

— Вот это дело! — радостно закивал Лялков, глядя на меня как на пророка, изрекающего спасительные истины.

Как и все жизнерадостные люди, он, поняв, что опасность миновала, ободрился и стал весело болтать:

— Я давно знал, что они мошенники. Потому-то и по-звал тебя. Я знал, что только ты мне скажешь правду.

— А как же иначе! — шутливо ответил я. — Жалко было б, если б такое роскошное брюхо пропало ни за что. Еще сколько вина ты в него вольешь!

Он вдруг призадумался, и я несказанно удивился, увидев, как крупная слеза скатилась по его щеке.

— Верно говорят в народе, — промолвил он изменившимся голосом. — Сделай добро, хотя бы и не впрок... — Видимо, он тут же устыдился своих слов, потому что поспешно добавил: — А впрочем — какое добро я тебе сделал? Раз или два подпоил тебя, только и всего.

— Не в этом дело, — сказал я.

— Копечпо... Ты извини, что я разболтался: мне не по себе.

Я еще три раза навещал своего заболевшего коллегу. С каждым разом он все более мрачно поглядывал на солдатиков из конвоя, хотя ребята ни в чем не были виноваты. В последний раз он не удержался и сердито пробурчал:

— Срамота! Водить под конвоем такого человека!

Доктор Лялков поправлялся не по дням, а по часам. Неделию спустя он уехал в отдельном купе к моему профессору в Софию. Перед отъездом он пришел в тюрьму проведать меня. Он был весел, оживлен, словно пачинал жить запово. Но даже и в этот раз он не спросил меня о судьбе деда Штиляна. Я не обиделся, понимая, что он, как и все вырвавшиеся из лап смерти, думает только о себе. Врач никогда в таких случаях не укорит пациента за чрезмерный эгоизм.

Так или иначе, по я остался один на один с Ахтунгом. Все мои тайные ресурсы были исчерпаны, за исключением Жанны, которую я приберегал на самый крайний

случай. Но она вдруг вышла замуж. Казалось, сама судьба ополчилась против меня или, вернее, против моего старика. Одно время я стал подумывать: отчего бы не написать ей обо всем? В конце концов, если мы культурные люди, нам положено считать друг друга хотя бы добрыми друзьями. И в самый разгар моих колебаний она снова пришла ко мне на свидание в тюрьму. Ее поступок был таким странным и таким неожиданным, что я ушам своим не поверил, когда меня вызвали на свидание. Лишь увидев ее за частой железной решеткой, я убедился, что это не сон, а явь.

Внешний вид ее показался мне еще более странным, чем ее поступок. Она похудела и постарела, на лице не было и следа косметики. К тому же она была одета во все черное, и черная вуаль закрывала наполовину ее лицо. Хотя я и решил держаться холодно и неприступно, к решетке я подошел встревоженный. Она еще больше побледнела, но молчала, вцепившись тонкими пальцами в решетку. На этот раз она была без перчаток, и мне бросился в глаза облупленный маникюр. Нет, это было совершенно не в ее стиле!

— Что с тобой? — с удивлением спросил я. — Сказать по правде, ты ничуть не похожа на повобрачную.

— Не шути! — тихо ответила она. — Умерла моя мама...

Этого я никак не ждал. Мать ее была жизнерадостным существом, сотканым из пухлости и беззаботного легкомыслия.

— Очень жаль! — сказал я. — Отчего она скончалась?

— Рак матки...

— Искренне сожалею, — сказал я, состроив скорбную мину. — Она была прекрасной жепщипой...

— Знал бы ты, как я несчастна! — воскликнула она и расплакалась.

Слезы хлынули с такой силой, что сразу залили все лицо. Я с грустным видом наблюдал за ней, не зная, что сказать. Сказать было нечего, ибо сердце мое было холодно и слезы Жаппы до него не доходили.

— Не плачь. Слезами ничего не вернешь.

— Ничего? — вздрогнув, спросила она.

Очевидно, в это слово она вложила какой-то скрытый смысл, но я пропустил его мимо ушей.

— Да, ничего, — твердо ответил я. — И вообще, ты бы лучше плакала в жилетку мужу.

Слезы сразу прекратились, она с изумленным поглядом на меня:

— Ты грубиян!

— Вероятно! — ответил я. — Не стоило так далеко ехать, чтобы понять это.

Она так смотрела на меня, будто видела впервые.

— Ты... ты страшно изменился! — наконец проговорила она. — Ты совсем не такой, как прежде.

Я невольно расхохотался. Если она права, то каким же хлюпиком я был раньше!

— Слушай, моя девочка, ты хорошо понимаешь, где я нахожусь? — строго спросил я. — И что меня ждет? Не совсем красиво сваливать именно на меня свои беды и недовольство.

Она по-прежнему остолбенело глядела на меня:

— Какое недовольство? Что ты хочешь сказать?

— Ты очень хорошо понимаешь, что я хочу сказать. Полагаю, что ты пришла сюда не только для того, чтобы поделиться со мной скорбной новостью.

Лицо ее вспыхнуло. Задетое самолюбие пересилило.

— Много воображаешь из себя! — сердито сказала она.

— Ничего не воображаю! — холодно ответил я. — У меня и без тебя забот много.

Вероятно, я перестарался; губы у нее снова задрожали.

— Постыдись! — сказала она. — Я думала, что, несмотря ни на что, мы остались близкими людьми.

— И я так думал. Но, видимо, это не так. Близкие люди не устраивают друг другу свадебных сюрпризов.

— Да, ясно, больше нам говорить не о чем, — сказала она, — но ты ведешь себя отвратительно.

Не говоря больше ни слова, Жанна повернулась и пошла к выходу. Вся ее фигурка выражала такую беспомощность, что я еле удержался, чтобы не окликнуть ее. И все же я промолчал, глядя, как она, убитая горем, покидает помещение.

«Жестоко я обошелся с ней, — думал я, шагая по коридору. — Жестоко, но справедливо. Если я буду действовать так и дальше, то, пожалуй, из меня выйдет человек, с которым другие будут считаться». За спиной у меня шагал Ахтунг, хмурый и кислый, как кредитор, которому надоело потакать должникам.

— Доктор, таким манером ты далеко не уйдешь! —

сказал он. — Будешь так вести себя — тебя бросит не только жена, но и мать.

— Ну и что? — презрительно бросил я.

— Пожалуй, ты прав! — небрежно заметил Ахтунг. — Отец, мать, дети — все на этом свете лишь расходы.

— Прогони их тогда.

— Думаешь, не прогоню? Хорошо еще, что паходятся людишки, которые возмещают мне расходы.

— Ну а если ручеек пересохнет?

— Не пересохнет, — убежденно возразил Ахтунг. — Не думай, что, кроме тебя, дураков нет.

— Хитрая сорока попадаетеся до срока! — сказал я хмуро. — Не забывай об этом.

В ту ночь я спал плохо. И каждый раз, когда я просыпался, у меня в глазах стоял ее облупленный маникюр. Мне вспоминалось мокрое от слез лицо, сверлил душу испуганный взгляд детских глаз. «Господи, — думал я, — почему я ни разу в жизни не поступил по-людски? Почему всегда берусь за то, что мне не по силам? Что должно произойти, чтобы я здраво оценил себя?»

Но через неделю нас вывели в поле. И уже через час блеск солнца заставил меня забыть обо всем на свете.

Все произошло так неожиданно и быстро, что я не успел даже разволноваться.

Стоял знойный, душный день. Влажные речные испарения так изнурили меня, что к концу дня я еле поднимал мотыгу. Тяготило не только знойное марево: я смутно ощущал какую-то тревогу в поведении людей, в спертom воздухе таилась какая-то напряженность. Казалось, что вот-вот хлынет дождь и над головой с громом пронесется гроза. Я то и дело поглядывал на небо, но по-прежнему ни облачка не было на побелевшем от зноя горизонте.

Впоследствии я узнал, что был одним из немногих не-посвященных. Буря надвигалась не с себа, а совсем с другой стороны.

Незадолго до обеденного перерыва ко мне подошел Виктор, тощий, загорелый, с лихорадочными огоньками в глазах. Он оперся на свою тяжелую мотыгу и сказал:

— Не усердствуй! Береги силы!

— Зачем?

— Понадобятся!

Я поглядел на него. Вид его ни о чем не говорил. Лишь губы побелели и потрескались от жары.

— Не понадобятся, — ответил я. — Нарочно их не жалею, чтобы хоть ночью спать как следует.

— Слушай, что тебе говорят! — пробурчал Виктор и, с трудом подняв мотыгу, медленно зашагал прочь.

Откуда мне было знать, что меня ждет самая невероятная и страшная ночь в жизни? Я пропустил мимо ушей его слова, лишь поглядел ему вслед. Лопатки у него торчали, тощая спина сутулилась. Он перекинулся несколькими словами и с другими, но я в па это не обратил тогда внимания. Мне просто было жаль Виктора, я подумал, что еще несколько дней работы — и тяжелая мотыга сведет его в могилу.

На обед мы собрались, как обычно, под гнилым дощатым навесом. нас было ровно пятнадцать человек; остальные из камеры работали на соседней бахче возле ручья, скрытые от нас густыми раkitами. Мы встречались лишь вечером на пути к городу. Наша охрана состояла из трех солдат и караульного пачальника, обычно младшего унтер-офицера. Они менялись, но комбинации довольно часто повторялись. В городе остался небольшой гарнизон, и еще меньше было старых солдат, которым доверяли караульную службу. Мы знали их почти всех — и в лицо, и по имени, — и для нас было далеко не все равно, кто окажется в наряде. Среди солдат были и тихие, равнодушные ребята, которые позволяли нам делать что хотим, были трусы, ли па миг не выпускавшие из рук винтовки, были и усердные служаки, которые заставляли нас работать до полного изнеможения. В тот день караульным пачальником оказался худенький младший унтер-офицер с кислой физиономией, не слишком старательный, но его мрачный вид подхлестывал нас, будто кнут. Как всегда, с ним был один из надзирателей, конечно вооруженный, который следил за нашей работой. На этот раз выпал черед Ахтунга, он словно имел слабость к нашей компании. Его присутствие угнетало меня пуще всего, хотя Ахтунг и не был из особо старательных. Ему больше правилось доить нас себе на пользу, чем выматывать для кого-то другого. Обычно солдаты обедали посмепно, пока мы работали. Когда обедали мы, они отдыхали. В тот день еда была особенно отвратительной, но я упорно жевал все до последнего кусочка тухлой капусты, иначе к вечеру я бы свалился под тяжестью мотыги.

И во время обеда в воздухе посилось нечто тревожное. Заключение было молча, почти не глядя друг на друга. Особенно задумчивым и замкнутым выглядел дядя Нико. Он тоже сильно исхудал за последние месяцы; его высохшее лицо покрылось морщинами, которые так неравномерно почернели на солнце, что в вечернем сумраке лицо превращалось в трагическую театральную маску. В конце концов я тоже поддался общему смутному беспокойству, хотя и не понимал, в чем дело. После обеда нам полагался небольшой отдых. У каждого было свое место, и я поспешил в свой уголок. Не успел задремать, как меня разбудили грубые шаги. Я даже не открыл глаз, зная, что это мой мучитель.

— Доктор, ты спишь? — спросил он.

Я взглянул на него.

— Много времени прошло, доктор, — тихо сказал он. — Пора делать взнос.

Взнос! Мерзавец довольно запято выражался. По своему он был прав: вот уже дней десять, как я ничего не вносил. Я медлил с ответом, ибо чувствовал, что не в силах сказать ему то, что думаю.

— Подожди еще немного.

— Что значит «немного»?

— Еще несколько дней.

— Не выводи меня из себя! — недовольно заметил Ахтунг. — Всему есть граница...

Затем снова потянулись длинные жаркие послеобеденные часы — самая тяжелая часть дня. Первоначальное опьянение солнцем, запахом земли, чувством свободы прошло, как головокружение от первого бокала вина. Солнце жгло, а влажная земля высасывала из нас последние силы. Каждый день казался нам бесконечным, к вечеру мы еле держались на ногах. Заключение стали роптать, — в конце концов, никого из нас не осудили на каторгу. Я намекнул дяде Нико, что мы имеем право потребовать хотя бы небольшого увеличения хлебного пайка, но он почему-то на этот раз не обратил на меня внимания.

А день тянулся так, будто ему нет конца. Часы я отдал Ахтунгу и поэтому судил о времени по тени ракит. Но время словно застыло в какой-то мертвой точке, которая медленно паливалась, как чирей, готовая ежеминутно лопнуть, вспыхнув кровавым пламенем. Казалось, пройдет вечность, прежде чем темные тени ракит протянутся к нам. Солнце по-прежнему безжалостно припекало, но к

концу дна с реки повеяло влажным ветерком. Я опустил мотыгу и жадно дышал широко открытым ртом. Я чувствовал, как высыхает пот на лице, как морщится и обтягивается обессиленная кожа. Горько-соленая капля обожгла уголок губ, и я не знал, пот это или слеза.

Наконец тени ракит слились и поползли, как вода, по свежевзрытым бороздам. Солнце круто склонилось к западу. Пора было строиться, но Ахтунг не спешил. Уголкем глаза я видел, как он, присев на ящик, жевал сало с хлебом. Очевидно, ему попалась твердая кожица, потому что его здоровые челюсти работали на полную мощность. Не знаю почему, но это зрелище взбесило меня, я отшвырнул мотыгу и направился к нему. Мне захотелось заорать на него, нагрубить, выбить пинком ящик из-под его обтянутого зада. Но он, даже не взглянув на меня, продолжал машинально пережевывать свиную кожицу.

Дальнейшее разыгралось передо мной бесшумно и плавно, словно в неом фильме. Я увидел, как паш мрачный и молчаливый караульный начальник тихо подошел к Ахтунгу сзади, поднял винтовку и методично, как на учениях, обрушил приклад на его голову.

Я так и застыл на месте. В первый миг мне показалось, что я вижу сон, но на сон это не было похоже. Природа играла яркими красками, тусклый румянец заката горел, как живой, над крышей навеса. Я увидел, как Спас и еще один заключенный пабросились на надзирателя. Один подхватил его под мышки, другой — за ноги, но поднять его они никак не могли. Тогда они поволокли его по земле и исчезли в темной глубине навеса. Младший унтер-офицер поднял винтовку и, мрачно осмотрев приклад, закинул ее за плечо. Стоявший рядом солдат даже не шелохнулся, будто происходящее ничуть не касалось его. Затем я увидел, как дядя Нико вскочил на грубо сколоченный помост, засунул два пальца в рот и пронзительно свистнул, как какой-нибудь деревенский возчик. Его поступок поразил меня не меньше, чем все предыдущие.

Позади я вдруг услышал топот множества ног. Заключенные, побросав мотыги, бежали сломя голову к нам. Впереди всех с выкаченными от натуги глазами бежал Виктор. Часовой, сидевший на небольшой вышке в углу бахчи, неуклюже спрыгнул на распаханную землю, упал, а потом медленно поднялся, заглядывая в дуло своей винтовки.

Один я стоял как обалделый, не двигаясь с места.

Дядя Нико глянул на меня и сердито крикнул:

— Доктор, а тебе особое приглашение надо?!

Лишь тогда я очнулся и машинально поплелся к павесу. Один за другим подбегали заключенные, вспотевшие, еле переводя дух. Я заметил, что никто из них не выглядел удивленным или растерянным. Дядя Нико стоял на помосте, и взгляд его беспокойно блуждал по полю. Я тоже невольно огляделся, готовый к новым неожиданностям. Но в ту пору дня нигде не было видно ни души, лишь вдали виднелись две белые, как камешки, спутанные лошади. Посмотрев снова вперед, я увидел на помосте рядом с дядей Нико нашего караульного пачальника. Лицо у него было по-прежнему хмурое и кислое, как будто вся эта история случилась вопреки его желанию.

— Товарищи! — необычно хриплым голосом воскликнул дядя Нико. На миг он как будто смутился, затем прокашлялся и продолжал: — Товарищи, в эту ночь нам предстоит серьезное дело... Как вы знаете, к утру нам надо перейти старую границу, а дотуда около тридцати километров...

Я, конечно, ни о чем подобном не знал.

— Командиром отряда будет товарищ Пейчо. — Он кивнул головой на младшего унтер-офицера. — Обращайтесь к нему по партизанскому имени Боян, а настоящее забудьте. Политкомиссаром назначен я, и называть меня будете Максимом. Я требую от вас строгой дисциплины, как в настоящем партизанском отряде. — Взгляд его остановился на мне, пристальный и испытующий. — Так как доктор беспартийный, я даю ему право решать, остаться здесь или пойти с нами.

Я почувствовал, как краснею до корней волос от стыда и негодования.

— Меня интересует, желателен ли я для столь избранной компании, — желчно ответил я.

— Врач всюду нужен, — сдержанно ответил дядя Нико.

— Ах вот как? Ну, если я так нужен...

— Отставить разговоры! — строго сказал дядя Нико. — Всем приготовиться.

Заключенные бросились собирать свои жалкие пожитки. В это время на глаза мне попался дед Штилян, который с интересом разглядывал что-то в глубине павеса.

— А с этим что будем делать? — спросил он.

Все совсем забыли об Ахтупге, а он валялся на помидорной рассаде, окровавленный и недвижный, как труп.

Дядя Нико, поморщившись, приблизился к телу, а за ним и остальные.

— Жив? — пробормотал словно про себя дядя Нико.

— Наверно, — ответил Спас. — Такая дубовая голова...

Наступило томительное молчание. Я с омерзением глядел на своего мучителя, но не испытывал никакого злобства.

— Спас, хочешь, дам тебе кол? — ехидно спросил я. — Ведь ты так хотел с ним разделаться!

Я все еще кипел яростью, готовый наброситься на каждого, даже на Виктора. Спас сердито поглядел на меня, но ничего не сказал.

— Доктор, осмотри его! — приказал дядя Нико.

Я склонился над огромной тушей Ахтунга, от которой пахло тяжелым животным запахом. Осмотр занял не более полминуты.

— Возможно, оживет, — сказал я. — Но не наверняка. Череп треснул основательно.

— Ну и черт с ним! — сказал Спас. — Чего с ним еще пачкаться...

Мы выстроились попарно и тронулись в путь. Солдаты встали по бокам, как конвой. Но на этот раз мы двигались не к городу, а в обратном направлении. Через сотню метров мы вступили на бурую болотистую тропинку и оказались за высокой стеной камыша. Мы спешили, шли по разбирая дороги и вскоре все с ног до головы измазались жидкой желтой глиной.

И парочко встал рядом с Виктором, но долго шагал молча. Я был так глубоко обижен, что долго не знал, каким способом выразить свои чувства. Виктор тоже молчал, но время от времени виновато поглядывал на меня. Только когда мы выбрались на твердую дорогу вдоль берега реки, я тихо сказал:

— Ну что ж, спасибо тебе...

— За что, браток? — с еле заметной усмешкой спросил Виктор.

— За доверие, за что ж еще?

— Это от меня не зависело! — тихо ответил Виктор. — Дисциплина обязательна для всех.

Я понимал, что он не виноват, но простить его мне было очень трудно.

— Если бы вы мне сказали, я захватил бы с собой хотя бы аптечку, — сказал я.

— Именно этого и не следовало делать. Каждый не-

обдуманый шаг мог вызвать подозрения. Как видишь, никто ничего с собой не взял.

Впоследствии оказалось, что он не совсем прав — каждый захватил с собой кое-что. Даже сам Виктор успел спрятать в карман свою тетрадку.

— Давно задумал это дело? — спросил я.

Виктор с опаской поглядел вперед, где во главе колонны шагала дядя Нико.

— Не очень давно — в начале мая! — с неохотой ответил он. — И не по нашей инициативе. По партийной линии солдатской ячейке было дано указание вступить в контакт с нами. Договорились обо всем, но пришлось подождать. Труднее всего было собрать товарищей в одном паряде. Как видишь, мероприятие простенькое, но весьма эффективное.

— Куда мы идем?

— Ты слышал.

— Опять партийные тайны, — недовольно пробормотал я. — Ладно, не выдавайте их. Я буду слепцом у вас на поводу.

Виктор снова улыбнулся, еще сдержаннее.

— Все узнаешь, доктор, — сказал он. — Но я не вправе тебе рассказывать — дисциплина...

— Скажи мне хотя бы: случайно ли я попал в эту рабочую группу, которая должна была бежать?

— Нет, конечно...

— Ну и на том спасибо. А дед Штиляв?

— О нем мы позаботились в первую очередь. Неужели ты думаешь, что мы оставили бы его зверям на расправу?

С правой стороны блеснула река, все еще полузакрытая кустами. Над сверкающей гладью порхали ласточки, стрелой взмывая к небу. Где-то вдалеке полз буксир с баржами, и дым из трубы сложился над рекой, как туман. Мы шли уже более часа и, как ни странно, не встретили ни души. Я с тревогой поглядывал на небо — до каких же пор будут тянуться эти бесконечные сумерки? Но вечер был все так же тих и спокоен, небо темнело все так же медленно, и у меня было странное ощущение, что почти никогда не будет.

Лишь когда уже стемнело, мы встретились с тремя рыбаками. Это были пожилые люди, молчаливые и хмурые, в длинных валашских рубахах и в штатах из чертовой кожи. Их лица так загорели и задубели от солнца, что, не

будь на них светлой одежды, мы бы не разглядели их в сумраке. Солдаты остановили их, и дядя Нико направился к ним. Завязался краткий разговор, вернее, дядя Нико спрашивал, а самый пожилой рыбак отвечал сдержанно и недоверчиво. Остальные двое явно озадаченно поглядывали на нас. Рыбаки оказались из ближней деревни и шли на реку, к своему рыбацкому шалашу.

— А сейчас идите своей дорогой! — закончил разговор дядя Нико. — Если будут спрашивать, вы ничего не видели, ничего не слышали.

Мне показалось, что лица у рыбаков прояснились.

— Конечно, — ответил старик. — В темноте что увидишь...

— В ваших же интересах молчать, — добавил дядя Нико. — Не дай боже проговоритесь — от жандармов не отделаетесь, потащат за собой: авось кого-нибудь опознаете. Засвистят пули, а они не спрашивают...

Довод был убедительный.

— Не беспокойтесь! — сказал старый рыбак. — Мы с властями всю жизнь не в ладах.

Мы снова погрузились в сумрак, который начал быстро сгущаться. Через полчаса мы перешли небольшую речушку и свернули на запад — маневр, не лишенный смысла. Обнаружив наше бегство, преследователи станут искать нас на кратчайшей дороге, ведущей в горы. Мы же углубились в равнину, в те места, где партизанские отряды никогда не появлялись. Теперь я понимал, что мы должны пересечь старую границу где-то в самой спокойной ее части. Лишь бы хватило сил!

Но в своих силах я начал сомневаться. Мы шли по каким-то бесконечным вспаханым полям, и мне все время казалось, что мы топчемся на месте. Ноги у меня заплетались от усталости, и, несмотря на страх и тягостное ожидание залпа из засады, неудержимо хотелось спать. Никогда в жизни меня так не клонило ко сну. Отяжелевшие веки опускались, на мгновение я засыпал, машинально переступая ногами. Быстрый темп ходьбы задавали солдаты. Они весь день ничего не делали, плотно пообедали, сапоги у них были удобные, сказывалась и армейская трепировка. Подгоняемые страхом, они, казалось, с каждым часом ускорили шаг, а мы, выбиваясь из сил, пошатываясь, еле поспевали за ними.

Лишь к десяти часам мы остановились минут на десять, и то лишь потому, что кому-то показалось, будто мы

сбились с пути. Солдат, который вел нас, ушел вперед, и мы присели, ожидая его возвращения. Не успел я коснуться теплой влажной земли, как сразу же заснул. Десять минут — и пустяк, и огромное благо для смертельно уставшего человека. Я спал как убитый, и, когда солдат вернулся, меня еле разбудили. Я с трудом поднялся, отяжелевшая голова со страшной силой тянула к земле. Мне казалось, что я выбираюсь из каких-то цепких корней, которые вплелись в меня и не пускают. Но когда я окончательно проснулся, кризис миновал, и я с прояснившимся сознанием зашагал со всеми по темной тропинке.

Много времени спустя выяснилось, что наши опасения были немного преувеличены. Случилось нечто маловероятное: остальные две группы, работавшие в поле, вернулись в тюрьму, не хватившись нас. Рассерженные караульные начальники решили, что мы опаздываем из-за своей разболтанности, что, кстати, не раз случалось. Некоторое время нас прождали, не поднимая тревоги, а затем послали нам навстречу надзирателя на велосипеде. Надзиратель доехал до самой бахчи и только тогда понял, что произошло. Фактически серьезную тревогу подняли лишь к десяти часам, но и она не затронула деревень. В то время еще не было почтой телефонной связи с небольшими населенными пунктами, и сообщение о побеге было разослано только в некоторые крупные воинские части.

К одиннадцати часам мы подошли к селу Рыжево, и колонна наша остановилась. Ночь выдалась на редкость темная и глухая. На бесконечном безлюдном поле не виднелось ни огонька. Бедные валаишские деревушки не были электрифицированы. Лишь время от времени голубоватые светлячки зигзагами перелетали нам дорогу и исчезали во мраке. Как только колонна остановилась, все тотчас же повалились на землю. Ноги у меня дрожали, мучительно хотелось пить. Я знал, что у некоторых есть манерки, но не хватало духу отправиться на поиски. Вдруг в непроглядном мраке послышались шаги, кто-то спросил:

— Доктор, ты здесь?

Я узнал голос Виктора.

— Здесь! — отозвался я.

— Пойдем со мной!

Я молча двинулся за ним. В этом неожиданном приглашении явно сквозило раскаяние в нетоварищеском отношении ко мне. Теперь они, очевидно, решили каким-то

образом выказать мне доверие. В стороне собралось только четверо: Боян, дядя Нико, Виктор и я. Вскоре мы вышли на проселочную дорогу. Виктор тихо сказал мне:

— Идем к одному нашему товарищу, мельнику. Возьмем у него кое-что из оружия.

Мигнул через пять-шесть мы вышли к мельнице, смутно темпеющей в ночном мраке. Внезапно громко и яростно залаяла собака.

— Балкан! — тихо окликнул собаку Боян.

Собака продолжала остервенело лаять. К счастью, скоро скрипнула дверь, и мы услышали спокойный голос:

— Кто там?

— Это ты, дядя Флоро?

— Я. А ты кто такой?

— Пейчо. Пришел за черепицей.

Таков был, очевидно, пароль. Мы услышали, как человек дыкнул на собаку, и осторожно двинулись вперед. Нам пришлось сильно пагнуться, чтобы пройти в дверь водяной мельнички. Засветилась закопченная керосиновая лампочка, и мы увидели худое небритое лицо дяди Флоро, с сомнением всматривавшегося в нас. Наш вид ему явно не понравился, казалось, он раскаивался в том, что впустил нас.

— Давай, дядя Флоро, пошевеливайся! — нетерпеливо заговорил Боян. — Пошевеливайся — время не ждет.

Мельник обиженно взглянул на него и молча направился в дальний угол мельницы. Пришлось нам всем помогать — так основательно было запрятано оружие в мешки и под мешками. Запасы оказались скромными: два карабина и немецкий автомат, несколько ящиков с патронами, два офицерских планшета, бинокль и всякая мелочь, больше годная для забавы, чем для боя. Дядя Нико, хотя и не рассчитывал на большее, был разочарован.

— Это пустяки, все равно что пичего! — пробормотал он.

Боян сердито поглядел на него.

— Нет, не пустяки! — сухо возразил он. — Шесть винтовок и автомат не пустяки.

Очевидно, дядя Нико не принимал в расчет солдатские винтовки. Он лишь пожал плечами и спросил:

— Как мы их распределим?

— Потом скажу, — коротко ответил Боян.

Лишь тогда я впервые внимательно разглядел его. Этот щуплый, мрачный, недружелюбный парень мог ока-

заться либо очень хорошим, либо никудышным командиром. Последнее казалось мне более вероятным. Я был почти уверен, что в отряде невзлюбят его. До сих пор он даже не взглянул ни на кого из нас и вряд ли отличал одного от другого. У меня зародилось неприятное чувство, что он прячет от нас не только глаза, но и какие-то дурные замыслы. Почему-то он казался мне похожим на провокатора, который через несколько часов заманит нас в полицейскую засаду.

— Бери оружие и выходи! — нетерпеливо скомандовал Боян.

— Куда подадитесь? — спросил мельник.

— Чем меньше будешь знать, тем лучше для твоих детишек, — сдержанно ответил наш командир.

Мельник с достоинством оглядел его.

— Сказал бы так, когда принес мне винтовки, — сердито заметил он. — Но тогда, видно, забыл напомнить!

— Не забыл. Но я не люблю учить старых людей.

— А сейчас-то взялся меня учить...

— Раз ты сам не понимаешь! — начиная выходить из себя, сказал Боян. — Куда мы подадимся, оттуда, дядя Флоро, если один из нас вернется, и то будет хорошо...

На это мельник не нашелся что ответить. Боян склонился, вытащил из павалешной кучи плащет и подал его мне. Мне показалось, что в его маленьких прозительных глазах притаилась насмешка.

— Возьми, доктор, это тебе!

— Мальчонке для забавы, — сказал я. — Пусть себе играет.

Боян впервые улыбнулся, и улыбка была доброй.

— Претендуешь на винтовку?

— Нет, не претендую, — ответил я.

— Так в чем же дело?

— Все же надо что-то иметь для самообороны.

— Да, ты прав, — задумчиво согласился Боян. — Если кого схватят, живьем шкуру сдерут...

Он сунул руку в сумку с сухарями и извлек оттуда старенький, хорошо смазанный пистолет.

— Возьми! — сказал Боян. — И пошли, нас ждут.

Он лишь кивнул мельнику на прощание и вышел первым. Я оказался последним. Старый связной партизан проводил нас грустным взглядом, вздохнул и перекрестился. Только теперь мне в голову пришла и прочно засела в ней простая мысль: мы идем на смерть. Быть может,

мы обречены. До того для я мог представить себя кем угодно, только не партизаном. Может, дядя Нико был прав, спрашивая меня, готов ли я пойти с ними? Готов ли я взглянуть смерти в глаза? Нет, не готов. Я вдруг осознал, что в глубине души всегда чувствовал себя в безопасности. Я знал, что рано или поздно придет день, когда я навсегда вырвусь из кошмара. И вот неожиданно для себя я вступил на роковой и страшный путь. Я не был подготовлен к этому пути, но другого выхода уже не было. Что бы ни случилось с нами, мне оставалось держаться со всеми заодно. В этом был мой единственный шанс на спасение.

Когда мы вернулись к своим, я сразу понял, что мы ничуть не походим пока на партизанский отряд. Все, не исключая и солдат, заснули, в тишине ясно слышался общий храп. С большим трудом нам удалось разбудить их и поставить на ноги. Боян быстро раздал оружие. Автомат он оставил себе, свою винтовку отдал Спасу. Карабины получили дядя Нико и один из деревенских парнишек, служивший в армии. Четверо вооруженных заняли место во главе колонны, другие двое пошли сзади. Теперь мы быстро двигались по проселочной дороге прямо на запад. Я шагал рядом с Виктором, слыша во мраке его прерывистое дыхание. Физически он был самым слабым в отряде, но до сих пор не вздремнул ни на минуту. Напрасно я старался разглядеть в темноте его лицо. Хотелось сказать ему что-нибудь ободряющее, но разговоры были запрещены. Все же я не выдержал и шепнул ему:

— Как бы там ни было, а без нас им не обойтись. Рано или поздно понадобится.

— Почему рано или поздно? — с удивлением спросил он. — Мы и сейчас им пужны.

— С голыми-то руками!

— У тебя есть пистолет! — сказал Виктор. В голосе его чувствовалась с трудом скрываемая горечь. Словно спохватившись, что выдал себя, он поспешно добавил: — Всю жизнь мечтал держать в руках хоть какое-нибудь оружие. И до сих пор так и не посчастливилось...

— Возьми мой пистолет, — сказал я.

— Нет, что ты...

— Бери, раз дают.

Я сунул пистолет ему в руку, но он резко отдернул ее, словно обжегся. Присев на корточки, я долго шарил по земле, пока не нашел пистолет.

— Нет-нет, прошу тебя, — шептал он у меня над головой. — Мы в отряде, надо соблюдать дисциплину...

— И все-таки ты возьмешь его! — сказал я. — Завтра я поговорю с командиром.

Через полчаса наш отряд снова остановился. Шагая в хвосте колонны, мы не сразу поняли, от чего заминка, и поспешили подтянуться вперед. Оказалось, что мы вышли к речке, и притом довольно глубокой. Между дядей Нико и Бояном разгорелся спор. Дядя Нико предлагал обойти мост и поискать брод, а Боян по соглашался.

— Потеряем много времени! — говорил он. — И если зашлепаем по воде, поднимем еще больше шуму.

— А если мост охраняют?

— Проверим.

Эти заключительные слова расслышали и мы с Виктором. К мосту послали разведчиков — Бояна и Спаса. Они шагнули в темноту и через десять шагов скрылись из глаз, будто провалились сквозь землю. Мы присели на обочине, кто-то закурил, но дядя Нико с гневом набросился на курильщика, и огонек тотчас же угас. Нарушителем был оди́н из солдат, и я так и не узнал, сыграла ли эта крохотная вспышка какую-то роль во всем том, что случилось позже. Тогда мы просто сидели и молчали: у меня не было никакого предчувствия опасности. Впервые в нашем походе я упивался приятной, ласкающей почной прохладой. Какая-то круглая светящаяся букашка ползала у меня в ногах. Когда я протянул к ней руку, вдруг сухо затрещали выстрелы.

Впрочем, сначала слышалось только два выстрела, почти одновременных. За ними коротко и нервно прострочил автомат, затем несколько одиночных выстрелов — и тишина.

— Кто с оружием, за мной! — громко скомандовал дядя Нико.

Я видел, как он побежал к мосту, несколько неясных фигур последовали за ним. Только тогда я сообразил, что тоже вооружен. Я со всех ног пустился за бегущими и стал быстро нагонять их. Со стороны моста снова затрещали выстрелы, потом — автоматная очередь. Кто-то из бежавших передо мной пошатнулся и упал ничком на землю. Увлеченный общим порывом, я чуть было не пробежал мимо, но сознание врачебного долга одернуло меня, как узда. Я остановился и склонился над упавшим. Я думал, что ранили одного из солдат, но вдруг разгля-

дел смятый пиджак, а над ним знакомую, в мелких кудряшках, голову.

— Виктор! — вскрикнул я в ужасе.

Я даже не заметил, когда он бросился вперед. Ему-то и не надо было — ведь он был безоружен. Я опустился на колени на посыпанную щебенкой дорогу и осторожно повернул его на спину. При тусклом свете неба я разглядел его застывшее, смертельно бледное лицо.

— Виктор! — закричал я снова.

Он вдруг открыл глаза, поглядел на меня угасшим взглядом и тихо сказал:

— Меня ранили.

— Куда?

— В живот.

Лихорадочно дрожащими пальцами я расстегнул на нем одежду. Стрельба прекратилась, я слышал только хриплые выкрики, но слов не понимал. Приподняв намокшую от крови сорочку Виктора, я увидел жуткую рану чуть ниже солнечного сплетения. Я сунул руку за спину — пуля прошла насквозь чуть выше почки. Не знаю почему, но я тупо сообразил, что враг, очевидно, стрелял лежа.

— Что со мной? — тихо спросил Виктор.

— Ничего, рана скверная, но не безнадёжная! — ответил я. — Не бойся, я с тобой и спасу тебя.

Да, разумеется, я мог его спасти. Но Виктора падо было оперировать как можно скорее, немедленно, тотчас же. Приподняв голову, я прислушался. Кто-то спешил к нам, я слышал разгневанный голос дяди Нико:

— Я вас спрашиваю — кто стрелял? Где Боян?

Никто ему не ответил. Какая-то фигура возникла передо мной, я узнал Спаса.

— Кого ранили? — спрашивал он. — Виктора? Господи, неужели Виктора?

Он опустился на колени на щебенку рядом со мной. Он так побледнел, будто его тоже тяжело ранили.

— Он жив?

— Жив, — сказал я. — Но его падо немедленно отвести в ближайшую деревню.

В эту минуту откуда-то из темноты выбежал взбешенный дядя Нико и завопил во весь голос:

— Ты чего молчишь, дубина?! Где Боян?

— Побежал за ними! — глухо ответил Спас.

— За кем за ними? Говори, как человек!

— За теми, кто стрелял! — Поднявшись на ноги, Спас крикнул ему в лицо: — Хватит орать! Ранили Виктора...

Лишь тогда дядя Нико поглядел на нас. Ярость его мгновенно исчезла, ее сменили уныние и беспомощность.

— Почему его ранили? — ошеломленно спросил он. — Как он попал сюда?

Я не слушал его — мысль у меня работала с лихорадочной быстротой. Конечно, прежде всего нужно тампировать рану и сделать носилки. Тампировать — по чем? Нельзя ни грязным посовым платком, ни лоскутами промокших от пота рубах. Я беспомощно огляделся по сторонам. Я не видел людей, не слышал их голосов — передо мной безбрежным морем расстилалась безлюдная и враждебная ночная пустыня. Желудок вдруг так свело, что мне чуть не стало дурно.

— Как вам не стыдно! — глухо проговорил я. — Ничего мне не сказать... Где у вас медикаменты?

Массивная шея Спаса ушла в плечи.

— Я говорил им, — тихо ответил он. — Говорил им, что так нельзя...

— И почему? — с отчаянием спрашивал я. — Почему, почему? Боялся, что я вас выдам, дурачье вы этокое... Ну ладно! Почему хотя бы аптечку не взяли?

— Доктор, ты не прав! — чуть слышно, но спокойно сказал Виктор.

— Ты помалкивай! — прикрикнул на него я. Бессмысленная ярость, более страшная, чем чувство безнадежности, вдруг охватила меня. — Убирайтесь, что вы торчите над головой? Не видите, что мешаете мне?

— Они тебе не мешают, — тихо промолвил Виктор.

В самом деле, мне никто не мешал. Ведь я ничего не делал! Как во сне, я увидел медленно идущего вдоль берега Бояна с двумя маплихеровскими винтовками за плечом. Дядя Нико бросился к нему, отрывисто и нервно заговорил, но я ничего не разобрал. Я услышал только раздосадованный ответ командира:

— Брось ты эту затею. Не до этого сейчас.

Появление Бояна вдохнуло в меня надежду. Я подошел к ним. Боян в нескольких словах рассказал, что произошло. Наши разведчики спокойно перешли мост, осмотрели местность и повернули обратно. В это время и раздались первые два выстрела.

— Я видел, как вспыхнули огоньки винтовочных выстрелов, — тихо рассказывал Боян. — Они засели рядом,

в ближайших кустах. Я залег и выстрелил. Один из них был, очевидно, впереди, и я прострелил ему башку. Второй не выдержал и бросился бежать. Я выждал, пока он не выбежал на открытое место, и тогда прострочил его сверху донизу...

Я без малейшего интереса слушал жестокий рассказ. Какое отношение имело все это ко мне и Виктору?

— Кто они? — спросил дядя Нико вполголоса.

— Жандармы. Надо раздеть их и раздать одежду. Во всем повенком, мерзавцы. Сапоги добротные, шевровые...

Даже сапоги успел разглядеть! Я не стерпел.

— Разве это самое важное? — вспыхнул я. — Постыдитесь...

— Что с тобой, доктор? — удивленно спросил Боян.

— Со мной ничего. Но Виктор умирает...

Сбивчиво, в нескольких словах я рассказал ему о несчастье. Боян слушал молча.

— Я должен немедленно оперировать его, — нервно заключил я. — Сейчас же.

Боян с недоумением поглядел на меня, словно не слышав:

— Где ты будешь его оперировать?

— Это вы скажете!

В эту минуту я снова верил в свои слова, будто в самом деле все зависело от них.

— Что мы можем сказать? — смущенно ответил Боян. — Разве можно здесь, прямо в поле?

— Ты хорошо знаешь, что нельзя. Надо как можно скорее добраться до ближайшей деревни.

— Еще чего! — серьезно отозвался Боян. — Сейчас в деревнях полно жандармов.

— Ну и что ж такого? А винтовки у нас па что? Если надо, вступим в бой. Возьмем деревню.

Боян призадумался, как будто в моем безумном предложении было нечто реальное.

— Взять-то мы можем, — все так же серьезно ответил он. — Или хотя бы задержать их, пока ты будешь оперировать. Ну а что потом? Если утро застанет нас на равнине, все пропало. К утру нас окружит целый полк.

Он говорил со мной спокойно и рассудительно, как с неразумным ребенком, к которому нужно припоровиться.

— Ну и что ж такого? По-вашему, надо бросить его на погибель?

— А по-твоему, лучше всем нам погибнуть?

— Какое мне дело до всех! — взорвался я. — Мы все не стоим его мизинца...

Но Боян нелегко было вывести из гернепия.

— Может быть, ты и прав, доктор. Но тогда что толку в твоей операции? Если его схватят после операции, ты думаешь, его помилуют?

Я вдруг очнулся — моя вера в чудеса развеялась как дым. И моя правда, в которую я до сих пор так слепо верил. Я смутно чувствовал, что проснулся в каком-то ином, более жалком, слепом и ничтожном мире. В этот миг я сравнялся с остальными и не понимал уже, каким я был прежде.

— Неужели так и оставим его умирать? — робко спросил я.

Боян потер лоб в мучительном раздумье:

— Я просто не вижу выхода...

— Надо пайти выход, — умоляюще сказал я. — Надо что-то придумать.

— Как думаешь, сколько он проживет без помощи?

— Не знаю! Быть может, несколько часов... Или чуть дольше...

— Несколько часов! — машинально повторил Боян. — Этого мало. Если б он мог протянуть до утра...

— Нет, не сможет! — с отчаянием воскликнул я.

— Плохо! — сказал со вздохом Боян.

Он вдруг словно забыл о моем присутствии. Быстро оглядев окруживших нас людей, он заметил Спаса и коротко распорядился:

— Возьми на себя охрану отряда. Мы, вероятно, задержимся. — Вид у него был по-прежнему озабоченный, его маленькие глазки испытующе впились в дядю Нико. — Я вижу только один выход — им надо незаметно обратиться в Рыжево. Там наверняка есть амбулатория.

Дядя Нико мрачно молчал.

— Опасно! — наконец проговорил он.

— В конце концов, положимся на счастье, — терпеливо продолжал Боян. — Люди всякие бывают. Если нападём на хороших, спасут парня. Доктор, ты согласен с этим?

— Какой может быть разговор! — восторженно воскликнул я. — Конечно согласен.

— Тогда ступай и распорядись, чтобы сделали посылки. У тех свиней хорошие плащ-палатки — пригодятся вам.

Плащ-палатки убитых жандармов действительно оказались удобными. Мы связали их веревками, а поясные ремни приспособили как ляжки. Я смутно понимал, что нарочно суежусь возле носилок, хотя мои помощники действуют достаточно быстро и умело. Я боялся подойти к Виктору, не знал, что ему сказать. Я был уверен, что ему будет страшно отделиться от отряда. А я, перестав верить в чудеса, уже не верил и в свои силы, и в счастливый исход полночной авантюры. Мог ли я объяснить ему, что предстоит нам? Не мог... Но что-то скрывать от него я тоже не имел права. Собравшись с духом, я нетвердым шагом направился к нему. Ребята постелили ему какую-то одежонку, подложили что-то и под голову. Я склонился над ним, но он не заметил меня.

— Виктор! — робко позвал я.

Виктор с трудом открыл глаза.

— Как себя чувствуешь?

— Не очень болит, — чуть слышно прошептал он. — Если и тебе достанется, знай, что не так уж это страшно.

— Виктор, мы спасем тебя! — сказал я. — Мы кое-что придумали...

— Хорошо, доктор, — ответил он.

В голосе его не было ни надежды, ни отчаяния. Оп, видно, сильно ослаб и смирился со своей участью.

— Виктор, не распускайся! — сказал я. — Ни на миг... Ты должен бороться, возьми себя в руки.

Он улыбнулся. От этой неожиданной жуткой улыбки у меня мороз пробежал по коже.

— Да, я знаю, — тихо промолвил он. — И в книгах так пишут...

— Немного терпения — и мы тронемся.

Ребята принесли носилки и бережно положили на них обессилившее тело Виктора. Оглядевшись по сторонам, я подбежал к Бояну. Он говорил с дядей Нико, но, услышав мои шаги, умолк. Они оба замолчали, наконец Боян, словно через силу, заговорил:

— Доктор, мы оставим вас на краю села. Но ты уверен, что тебе хватит того, что найдется в деревенской амбулатории?

— Мне нужно совсем немного, — сказал я. — Ты даже не представляешь, как мало мне нужно...

Глаза Бояна как-то странно заблестели.

— Мы дадим тебе еще одного человека, — продолжал он. — Вдвоем вы понесете его. Он пойдет в село и разы-

щет местного фельдшера. Ты не возражаешь, если мы оставим тебе Спаса?

Пожалуй, лучшего и более надежного напарника мне было и не выбрать.

— Он мужик смывленный, деревенскую жизнь знает. Если ты пойдешь в село, то засыплешься.

— А он согласен? — спросил я.

— Что значит «согласен»? — удивился Боян. — Дано задание, он должен его выполнить.

— Нет! — возразил я. — Непременно спросите его. Тут нужна добрая воля, а не приказ.

— Доктор, возьми меня с собой! — раздался из темноты чей-то просящий голос.

Я всмотрелся — то был дед Штилян. Лицо его сжалось в кулачок — столько было в нем мольбы и мучительной надежды.

— Возьми меня, доктор! — повторил он.

Я чуть было не кипучился панически в темноту. Я знал, что не в силах отказать ему. А чем мог мне помочь этот хилый, изможденный старик?

— Не знаю, — сказал я упавшим голом. — Ты стар и не выдержишь.

— Не так уж я стар, есть еще сила! — тихо возразил старик. — Если я не справлюсь, то и никто другой не справится. На меня ни одна собака не тявкает...

Я беспомощно посмотрел на Бояна. К моему удивлению, он с живым интересом разглядывал старика, всем своим видом соглашаясь с ним.

— Вот это идея! — воскликнул он. — Как это мне раньше не пришло в голову? Он и мимо тигров незаметно пройдет.

В принципе он был прав. Незаметно в деревню мог проникнуть лишь старик или ребенок. Но дед Штилян казался мне чересчур робким и беззащитным.

— Если ты не возражаешь, я согласен, — неуверенно сказал я.

— Чудесно! — живо откликнулся Боян. — Дайте ему винтовку.

— Винтовку? — изумился старик. — Зачем мне винтовка? Только в ногах будет путаться...

Боян мельком взглянул на меня:

— В сущности, он прав. Это дело можно сделать только по-хорошему или никак. Среди зверей одна винтовка не оружие.

— Не совсем так! — внезапно вмешался дядя Нико. — Оружие им необходимо, хотя бы на крайний случай...

Командир нахмурился, жестокий смысл этих слов был слишком очевидным.

— У доктора есть пистолет! — сухо сказал он. — Но я уверен, что не придется...

— В таких делах все пужно предвидеть! — неохотно пробормотал дядя Нико.

— Хватит об этом! — решительно заявил Боян. — Пошли, не будем терять времени.

Наша колонна снова двинулась в путь, но гораздо медленнее, потому что мы несли Виктора. Боян объяснил мне свой нехитрый план: незаметно пробраться в деревню, сделать Виктору операцию и через день-два, оставив его у кого-нибудь из своих, так же незаметно выбраться. Самое главное было запомнить место будущей явки, пароль и часы трех контрольных встреч.

— Двигайтесь только ночью! — заключил Боян. — Дед Штиляп знает эти места, он проведет тебя.

Я остановился на обочине, дожидаясь посылка. Виктор совсем побледнел, мне казалось, что он еле дышит. Вдруг вспомнилось идиотское предсказание бабки, но я отогнал от себя эту мысль. Я был жив и здоров и чувствовал в себе силы. Лишь бы добраться до села и найти амбулаторию...

— Доктор, тебя зовут! — шепнул кто-то спереди.

На этот раз меня звал дядя Нико. Увидев меня, Боян парочко замедлил шаг. Мне стало ясно, что наш политкомиссар хочет поговорить со мной наедине. Дядя Нико помолчал немного, а затем тихо, с неохотой заговорил:

— Доктор, я хочу, чтобы ты хорошо меня понял, — сказал он. — И без препирательств и обид...

— Я слушаю тебя, — ответил я.

— Тебе ясно, что ты взялся за очень тяжелую задачу? Я бы сказал — непосильную. Ты теперь держишь в руках не только жизнь Виктора, но и судьбу всего отряда...

— Что же, по-твоему, может случиться? — холодно спросил я.

— Все! — резко ответил он. — Вас могут поймать живьем, пытать, измываться над вами, как захотят. Ты человек экзальтированный, поэтому подумай хорошенько. Ты должен трезво дать себе отчет — сможешь ли ты выдержать? Ведь тебе известно местонахождение отряда, явка...

— Ты лучше скажи: за отряд боишься или за себя?

— Сейчас дам тебе в зубы! — с ненавистью сказал дядя Нико. — Дурак.

Оскорбление ничуть меня не задело.

— Ступай! Убирайся! — грубо прикрикнул оп.

Я снова вышел на обочину, поджидая носилки.

Та почь возникает в моих воспоминаниях вовсе по темной и глухой, какой она была на самом деле. Она живет во мне, озаренная каким-то голубоватым сиянием, мертвым и холодным. По бесконечному небу, усеянному мерцающими звездами, изредка пролетали с далеким рокотом невидимые самолеты. Узенький серп луны, повисший над ракетами, почему-то напоминал мне старинные часы с музыкой, звучащей в ночи. Помню журчание воды, неподвижные ветви кустов, могучее дыхание земли, остывающей под нами. Вдалеке пели петухи, ночные птицы пролетали над головой, будоража душу своими жуткими криками. Долго и зловеще кричала где-то рядом сова, наконец я не стерпел и бросил в нее камнем. Камень просвистел во мраке и глухо шлепнулся на землю. Сова мигнул на десять умолкла, а затем снова принялась за свои тоскливые предсказания.

Рядом со мной на носилках лежал Виктор. Больше вокруг не было ни души.

Старик давно ушел. Я проводил его до шоссе, подходившего к селу с северной стороны, противоположной городу, откуда мы бежали. Мы с ним остановились в черной тени огромного дерева и внимательно огляделись по сторонам. Шоссе простиралось перед нами, белое и гладкое, словно ослепленная ночным небом мертвая река. Было тихо. Стояла немая тишина, все вокруг как будто вымерло. У меня возникло страшное чувство, что по этой дороге уже многие века не проходил ни зверь, ни человек. Может быть, эта дорога вела не к жизни, а к смерти...

— Ступай! — сказал я. — И помни, что любой ценой надо добиться своего.

Ничего не ответив, оп бесшумно тронулся в путь. Я следил за ним взглядом, пока оп не вышел на мертвую белизну дороги, тонкий и бесплотный, как душа праведника, смиренно уходящая на небо. Я чуть не закричал — так остро было чувство, что старик идет на гибель. Когда я вернулся, Виктор спал.

Вначале я испугался, решив, что он потерял сознание. Я низко наклонился над ним: раненый дышал сравнительно ровно и спокойно, лоб был теплый, но не воспаленный. Нет, напрасно я считал себя хорошим врачом; в сущности, я почти ничего не знал, а не догадывался об этом потому, что никогда по-настоящему не волновался. Я не знал, хорошо это или плохо, что Виктор сейчас заснул. А если и знал, то все равно боялся. Меня пугали тишина и безмолвие, пугал и сон раненого, так похожий на смерть. Мне хотелось, чтобы он проснулся и заговорил со мной — слова всегда означают жизнь. Я давно заметил, что умирающие ненавидят слова. Так ненавидят, что упосят с собой даже те тайны и истины, которые всю жизнь берегли для своего смертного часа.

Прошел целый час, а он не просыпался. Я с тревогой наблюдал за ним — он лежал, не шелохнувшись, лишь время от времени глухо стонал; это был признак жизни, но он не радовал меня, я вздрагивал, по спине пробегал нервный холодок. Вот тогда-то я не выдержал и бросил камнем в сову. Когда я снова подсел к нему, он сказал:

— Ты, оказывается, суеверный...

Я чуть не подпрыгнул от радости. Он заговорил очень тихо, но неожиданно ясно и отчетливо.

— Да,— сказал я.— То есть нет, с чего бы... Но ты молчи, тебе нельзя разговаривать.

Несколько минут он молчал, а потом снова чуть слышно проговорил:

— Звезды...

— Что «звезды»? — спросил я.

— Звезды над нами,— сказал он.— Они самая большая загадка... Они больше всего напоминают мне о вечности, которая нам не принадлежит...

Я невольно поглядел на звезды. До чего ненавистно мне было в эту минуту их проклятое, безучастное мерцание!

— Тебе нельзя говорить! — сказал я.

— Не мешай, мне так легче,— ответил Виктор слабым голосом.— Гораздо легче, чем смотреть на звезды...

Дрожь пробежала у него по лицу, побелевшие губы скривились в мучительной спазме.

— Тебе нельзя говорить! — настаивал я.— Разговор истощает тебя.

Он глотнул воздух, медленно выдохнул и снова заговорил — все тише и невятей:

— Разве можно представить себе небо без звезд? Конечно, нельзя. Звезды в нас, в нашей судьбе... Недаром судьбу людей связывали с созвездиями. Ты под каким знаком?

— Скорпиона...

— Похоже, — сказал он. — Хотя и не верится, но все же... Трудно отделить конечное от бесконечного, мимолетное от вечности. В конце концов, это, вероятно, одно и то же...

— Именно так! — с живостью воскликнул я.

Впервые за время этой проклятой стоянки он с мучительным усилием повернул голову и посмотрел на меня. Страшным был этот полный внутренней силы взгляд — в нем таились и мольба, и надежда, и смирение, и ликование, и отчаяние.

— Ты понял? — спросил он.

Голос его совсем угас, и я опять испугался. И в то же время мне очень хотелось сказать ему что-нибудь веское и убедительное, как математическая формула, что-нибудь более сильное, чем все то, что до сих пор придумало человечество, стремясь успокоить и вселить надежду перед смертью.

— Слушай, Виктор, тебе нельзя больше говорить! — повторил я. — Теперь ты помолчи, а я буду говорить.

Он ничего не ответил, лишь медленно опустил веки. Очевидно, последнее усилие окончательно истощило его. Я должен был спешить, я должен был сказать ему все, пока у него были еще силы слушать.

— Ты помнишь, Виктор, наш разговор с тобой о времени и пространстве? — начал я. — Ты, может, забыл, но я помню все до последнего слова. Для вас, Виктор, все эти вещи, видимо, просто физические понятия. Лишь более глубокое и верное объяснение так называемого физического мира... Вы очень радуетесь, что выдумали нечто новое. Но я не знаю, отдаете ли вы себе отчет в том, что это ваше открытие перевертывает вверх ногами самые элементарные наши представления о жизни и бытии. Лично меня формулы мало интересуют. Я хочу представить их в реальном воплощении. И тут я сталкиваюсь с вещами, которые изумляют меня.

— Стена... — чуть слышно прошептал Виктор.

Я не понял, что он хотел сказать. Глотнув пересохшим горлом, я продолжал:

— Что, в сущности, представляет из себя этот ваш четырехмерный континуум? Я хорошо представляю себе трехмерное пространство. Это нечто законченное, я всегда могу сказать, что передо мной — параллелепипед или цилиндр. Вы вдруг добавляете новое измерение — время. Хорошо, я согласен, все ваши доводы убедительны. Я, правда, не могу воспринять ваше представление о мире как некую конкретность, но отношу это на счет своего убожества и несовершенства... И все-таки, как ни рассматривай ваш четырехмерный континуум, он не может не быть конкретностью, данностью или реальностью — выбирай любое слово. Что бы ты ни выбрал, это будет нечто ограниченное и завершенное.

Я замолчал в перешпительности. Нет, меня испугала не неточность моих выражений. Но меня понесло развивать какую-то научную теорию, а мне надо было сочинить надежду — последнюю надежду для умирающего.

— Ты слышишь меня, Виктор?

Виктор ничего не ответил. Меня вдруг охватила паника — неужели я не успею высказать ему то, что надумал?

— Хорошо, Виктор, допустим, что все имеемое материальным существованием не есть некий предмет, лежащий во времени и пространстве. Оно содержит в себе и время, и пространство. Но отсюда следует совсем простенький вывод. Все то, что, по нашему мнению, совершается с течением времени, в сущности, есть нечто данное...

Помню, что именно в этот миг снова закричала сова, но на этот раз она меня не напугала.

— Дальнейшее очень просто, — продолжал я. — Если бытие есть нечто данное, то мы должны его принять как абсолютное совершенство, так как вне его и за ним нет ничего иного и в нем исчерпываются все мыслимые и немыслимые возможности. Развитие, как мы его понимали до сих пор, — это всегда движение в бессмыслицу, которую мы называем неизвестностью, движение к мнимой цели или без цели — в неопределенном направлении. Выходит же, что мы просто осуществляем совершенство, которое, как всякая данность, неизбежно и закончено. Правильно я рассуждаю?

Виктор снова ничего не ответил.

— И еще одно, Виктор! — лихорадочно продолжал

я.— Если мы существуем в этой данности, то в принципе ничем от нее не отличаемся. Какой бы жалкой точечкой на ее огромном лице я ни был, в конце концов я все же одна из точек, из которых она составлена. Выходит, что я не рождался и не умру, хотя в известном смысле и то и другое верно. Самое главное то, что я существую. Я всегда существовал и всегда буду существовать, в буквальном смысле этого слова. Как твои микрочастицы, я всегда где-то и нигде. Через тысячи лет какой-нибудь ученый запустит руки в эту данность, которую мы условно называем прошедшим, и вытащит меня оттуда, как свой носовой платок. А может быть, он как раз это и делает и ты существуешь где-то еще, но только в претворенном виде. Все зависит от возможностей овладеть материей во всех формах ее существования.

Высказавшись, я почувствовал немомверное облегчение. Мне показалось, что я спас не только его, но и себя. Я умолк, не спуская с него торжествующего взгляда. Хотя я и раньше смутно ощущал то, что я сейчас сказал, я никогда бы не поверил, что сумею сформулировать что-нибудь подобное. Слова вдруг превратили смутное чувство в истину, а истина привела меня в ликование.

— Ведь так, Виктор? — спросил я.

Но Виктор молчал. Густая тень от куста закрывала часть его лица. Тогда я наклонился над посылками, с нетерпением ожидая ответа. Виктор приоткрыл угасающие глаза и снова закрыл их, не сказав ни слова. В них не было ни искорки надежды, никакого признака того, что он слышал меня. Наверно, в этот миг он потерял сознание.

Меня вдруг охватил ужас. Слова вылетели из головы, осталась лишь действительность, которой я так легкомысленно пытался пренебречь. Машинально я коснулся его лица — оно показалось мне разгоряченным. Низко склонившись над ним, я уловил слабое дыхание. Если я хотел его спасти, я должен был немедленно предпринять какие-то решительные меры. Я совсем забыл про замкнутый круг неизбежности, о котором только что толковал.

Не раздумывая больше, я как безумный кинулся к шоссе. Я совсем забыл про осторожность — под ногами у меня трещали сухие сучки, с шумом плеснула вода в кювете. Вбежав в тень дерева, я замер в ошолбелении. Я просто не поверил своим глазам. По белой дороге, словно

ведущей с неба, бесплотный и невесомый, шел старик. Он не торопился. От всей его фигуры веяло таким страданием и безнадежностью, что я сразу понял все. Ноги у меня подкосились, я медленно сполз по стволу огромного старого дерева. Сухая кора полоснула меня по спине, но я ничего не почувствовал. Я сидел как окаменелый в тепле и молчал.

Подойдя ближе, старик остановился у кювета и глянул в мою сторону.

— Доктор! — тихо позвал он.

Я не откликнулся.

— Доктор, где ты? — уже с тревогой спросил он.

Он, наверно, слышал, как я бежал к шоссе. Он по-прежнему пристально вглядывался в тень под деревом, но не двигался с места. Я едва разомкнул скованные губы.

— Здесь я, — хрипло отозвался я. — Здесь, иди сюда.

Он перебрался через кювет и сел рядом со мной. Мы долго молчали, даже не глядя друг на друга. Я слышал лишь его тяжелое, прерывистое дыхание.

— Ничего! — проговорил он сквозь одышку. — Нет людей на этом свете, нет...

Я молчал. Он с тревогой поглядел на меня и тотчас спросил:

— Неужто умер?

— Нет, еще жив, — глухо ответил я.

— Ведь я принес лекарства. Посмотри, может, хорошие...

Он вынул из-за пазухи какие-то пузырьки и пакетики. Мне пришлось чиркнуть спичкой, чтобы рассмотреть: йод, риванол, стрептоцид в порошке, два пакетика ваты, бинт. Поздно, слишком поздно. Сейчас ничто уже не могло помочь — даже лапчет.

— Пригодятся?

— Нет, не пригодятся...

Он вдруг зарыдал — сдавленно, с каким-то глухим кашлем, как старая простуженная собака. Ничто во мне не дрогнуло, я сидел на месте, одцепенелый и бессильный. Небо светлело, в ветвях закопошились птички. Я слышал шелест листьев и их звонкие голоса. Быть может, они искали друг друга после душной ночи или же рассказывали друг другу свои безмятежные птичьи сны. Так или иначе, их предрассветное ликование трогало меня так же мало, как и рыдания старика.

Дед Штилян рассказал мне обо всем, что с ним случилось, но я тогда едва его слушал. Он, не таясь, беспрепятственно вошел в село. Ночь казалась еще глуше и непроглядней, чем в поле. В сплошном мраке еле различались улицы, не говоря уж о домах. Наконец он вышел на какую-то площадь, но и здесь ни огонька. Смутно выделялись силуэты нескольких более высоких домов, — очевидно, здания сельской общины, почты. Куда идти, в какую дверь стучать? Нигде не виднелось ни малейшего признака жизни. Наконец старик догадался, что в общине или на почте должен быть дежурный. Он постучал в одну дверь, потом в другую, но никто не откликнулся.

Тогда, привлеченные шумом, из мрака появились двое патрульных жандармов. Старик расплакался, объяснил, что пришел из соседнего села Гуляпци, что внучек вот-вот испустит дух и он должен немедленно, как можно скорей, привести к нему врача.

— Но ведь у вас в деревне есть свой врач? — спросил один из жандармов.

— Нет его, наверно, загулял где-то в городе! — плакал старик. — Отдаст внучек богу душу, не додержится до утра...

— Ну и что ж, если не додержится! — прикрикнули патрульные. — Здесь врача нет, есть какой-то фельдшер.

— Фершел не фершел, все больше нас понимает, глядь, и поможет...

— Он поможет, а мы его завтра посадим. Сам знаешь, запрещено выходить из села ночью.

— Знаю, как не зпать! — лепетал старик.

— Зпать-то знаешь, а вот я не знаю, почему тебя до сих пор не прихлопнули.

Старик стал упрашивать, умолять. Ему влепили пару пощечин, надавали пинков, но все же сказали, где амбулатория. «Возьми снадобье и проваливай!» Старик понял, что дело складывается неплохо: фельдшер был из городских и жил в комнатке за амбулаторией.

— Когда я услышал про это, то чуть не подпрыгнул, — продолжал старик. — Растолкал я фельдшера и рассказал все, как родному брату. С виду добрый человек — крепкий, кровь с молоком. Хорошего человека сразу видно. Но перепугался — вот в чем беда. Покраснел, вот-вот лопнет и лишь одно твердит: «Уходи, пока не позвал жандармов». — Дед Штилян огорченно вздохнул, взглянул на меня и продолжал: — Уж как я его упраси-

вал! «Христом-богом молю,—говорю,—помоги человеку, добро пикто не забывает. И денег тебе дадим...» Денег у нас всего ничего, но что ему еще сказать? А он все свое: «Убирайся, детей моих погубишь!..» Известное дело — дети, у кого их нет... На все лады его упрашивал, под конец бухнулся ему в ноги, как перед владыкой. «Не двинусь отсюда,—говорю,—если не пойдешь со мной...» Тут он совсем взбесился, поднял меня и стал бить головой об стенку. Наверно, я обмер, потому что не заметил, как он выкинул меня во двор. Тогда он ушел к себе и вынес мне лекарства. Делать было печего: я взял и пошел обратно...

Старик снова умолк. Молчал и я, а небо над нами светлело, и звезды гасли одна за другой.

— Нет людей, пет! — промолвил убитым голосом старик. — Запуганный человек хуже зверя.

Я молчал. Старик беспомощно поглядел на меня.

— Нешто так его и бросим? Лекарство, может, и не то, что надо, но коли хоть на волосок поможет — все дело. Кто знает, что будет: может, и ангел с неба спустится...

Старик был прав, но я был не в силах снова облажить страшную рапу, я совсем выдохся. Я не смог бы даже взглянуть на лицо Виктора, на посиневшие и опухшие веки, воспаленные губы. Мы долго просидели рядом, наконец старик сказал:

— Надо идти, доктор, нельзя здесь оставаться. Как рассветет, нас увидят.

Он был прав, как всегда. В ту минуту я не видел его, потому что он все же выполнил свой долг. А я ничего не сделал — только сыпал словами, обманывая себя и других. Виктор, наверно, давно понял это, давно почувствовал мое бессилие.

— Пойдем! — сказал я.

Мы медленно поднялись с места. Небо на востоке порозовело, с невидимых гор тянуло холодком. Маленькая птичка выпорхнула у нас из-под ног и, трепеща крыльями, исчезла в ближайших кустах.

Измощенные, мы лежали в коноплянике неподалеку от берега реки. Солнце еще не взошло, но река уже блестела под побелевшим утренним небом. Не слышалось ни малейшего плеска, река медленно и спокойно катила свои воды мимо травянистого берега. Да, старик и на этот раз оказался прав — воды у нас было вдоволь, а высокая конопля надежно укрывала нас от посторонних взглядов. Я

темного успокоился, хотя никакой надежды не было. Некоторое время назад я перевязал Виктора. Осмотрев внимательно рану, я промыл ее и присыпал толченым стрептоцидом. Это не имело уже никакого смысла, но я работал с необыкновенным усердием. Затем я затамповывал рану и сделал перевязку. Виктор даже не шелохнулся в моих руках, неподвижный и бесчувственный, с окаменевшим лицом смертника. Сделав все, что можно было сделать, я в изнеможении опустился рядом с посылками. На душе стало чуть легче, хотя оставалось только ждать конца.

Скоро взошло солнце — огромное, но все еще холодное. Я с тревогой смотрел, как оно поднимается в небе из-за тонких полосок красных облаков. Все еще тянуло свежим ветерком. Но я знал, что не пройдет и часа, как солнце засверкает ослепительно ярко и зальет нас своим жаром. Мы-то как-нибудь выдержим, но Виктор? Я спял рубаху, и старик с помощью нескольких прутьев устроил ему небольшой навес над головой. Жалкая помощь, но что мы могли сделать еще?

Когда я вспоминаю тот день, мне всегда кажется, что это был необыкновенный день. А день был самый заурядный — ничего, кроме убийственного блеска солнца и томительного жужжания шмелей. Временами просто печем было дышать. Солнце, словно горячей подушкой, пригибало к земле, жгло глаза, выжимало последние капли влаги из измученного тела. Река была рядом, но я не хотел идти к воде. Нет, я не боялся за себя; за эти дни я ни разу не испугался. Я просто не хотел, мне казалось, что у меня нет права облегчить свою участь, если я ничем не могу помочь Виктору.

Все же к полудню я не выдержал и подполз к реке, которая все так же лениво несла свои зеленоватые воды по тинистому дну. Я осторожно огляделся — нигде на ровном открытом поле не виднелось ни единого живого существа. Не раздеваясь, я погрузился в воду. Мне показалось, что я воскресаю. Я набрал воздуха, пырнул на дно и, ухватившись за какую-то корягу, задержался под водой. Прохладные струи обтекали меня со всех сторон, как живые. Жизнь в полную силу заиграла во мне, мысли прояснились. Высунувшись на мгновение из воды, я снова погрузился на дно. Все во мне оживало: и тело, и страстная жажда жизни, и страх. Именно страх выгнал меня из воды обратно в конопляник.

— Иди искупайся! — сказал я старику. — Искупаешься и придешь в себя.

— Увидят меня! — осторожно возразил он.

— Меня никто не видел.

— Одного могли и не увидеть. Если станет невмоготу от жары, окупись еще раз. Я старый человек, мне жара пипочем.

— Ступай, я тебе говорю! — прикрикнул я.

Но старик не послушался. Теперь я думаю, что мы были чересчур осторожны. Мы то и дело прислушивались и оглядывались по сторонам, но за весь день на равнине не появилось ни души. Возможно, что село было оцеплено и крестьян не пустили в поле, я так никогда этого и не узнал. Вокруг было так тихо и безлюдно, словно на всей земле остались в живых только мы одни.

Лишь раз мы услышали далекий гул мотора. Немного погодя над нами пролетел самолет, по очень высоко. Очевидно, его не интересовали никакие беглецы. Еле дождавшись, пока он пролетит мимо, я снова подполз к реке. Когда я вернулся, Виктор был мертв. Старик с угасшим лицом сидел рядом, колени его дрожали. Увидев меня, он перекрестился.

— Отошел человек! — сокрушенно сказал он. — Вздохнул напоследок, и все. Даже глаз не открыл...

Я смотрел, потрясенный, на опухшее мертвое лицо, на большие посиневшие веки. Я давно знал, что конец неизбежен, но, видимо, в глубине души еще надеялся на что-то. Человек никогда не верит в смерть, она, очевидно, единственное, во что он никогда не поверит. Он знает, что, подобно всем, смертен, и все же не верит. Каждый внутренне убежден, что каким-то чудом переселится в вечность, — может быть, только он, единственный из всех.

— Когда? — глупо спросил я, ощущая зияющую пустоту в сердце.

— Вот только что, пока ты купался.

Пока я купался, пока я собирал силы, чтобы жить дальше! Я бросился ничком на вонючую коноплю, жилистую и крепкую, как сама жизнь; мне нестерпимо хотелось заплакать. Но глаза мои остались сухи, лишь горло сжалось в мучительной спазме. А жизнь текла мимо, и река текла по своему грязному дну, зеленоватая и спокойная. Над головой жужжали шмели, изредка квакали лягушки. Все жило своей жизнью, все, кроме Виктора.

Когда солнце склонилось к западу, старик снова заговорил:

— Надо похоронить его, доктор.

Эта простая мысль не приходила мне в голову.

— Похоропить? — спросил я, вздрогнув.

— А как же? — с укоризной сказал старик. — Неужто бросить его собакам? Похоропим его как положено, похристиански.

— Он не был христианином, — сказал я.

— Ничего ты не знаешь, — убежденно пробормотал старик. — Мне говорили, что он хоть и еврей, по держится нашей веры. Да и по нему было видно.

— По нему было видно! — со злостью воскликнул я. — Было видно, что он человек. А твой фельдшер, который его убил, по-твоему, тоже христианин?

— Ну что ж, по такой уж он плохой человек...

Я с гневом поглядел на него.

— Ты понимаешь, что говоришь? — едва выговорил я. — Скотина ты этакая!

— Не такой уж плохой! — упрямо повторил старик. — Другой сразу бы позвал жандармов. А он лекарства дал. Если б меня поймали, неужто не догадались бы, кто их дал?

Гнев и отвращение мои вдруг угасли.

— Надо похоронить его, — сказал я. — Нельзя оставлять его этим выродкам.

— Пусть сперва стемнеет, — ответил старик. — Как стемнеет, я найду что-нибудь...

Часа два мы не промолвили ни слова. Когда совсем стемнело, старик поднялся с места.

— Я пойду! — сказал он.

Вначале я не понял и встревожился:

— Куда пойдешь?

— Как куда? Надо же раздобыть лопату, — нетерпеливо сказал он.

Я заколебался.

— Ступай... Но смотри, место потом сумеешь пайти?

Он пошел не прицась, во весь рост, как и накануне. Я чуть было не окликнул его, чтоб он вернулся, но не решился. Вскоре совсем стемнело, и поле исчезло во мраке. Где-то в траве порхнула куропатка и с шумом пролетела над головой. Я вздрогнул в испуге и схватил комок земли. Прошло около часа, а старик не появлялся. Напрасно я вслушивался в тишину, ожидая услышать шаги,

далекие голоса или выстрелы. Ночь была еще безмолвнее дня, лишь время от времени пронзительно верещали кузнечики. Я вынул пистолет, зарядил его и поставил на предохранитель. Впервые с тех пор, как мы вышли, я приготовился к обороне.

— Кто?

— Я, доктор! — устало отозвался старик.

Он, видимо, очень торопился, потому что еле переводил дух и отирал рукавом вспотевший лоб. В правой руке он держал лопату с короткой сломанной ручкой.

— Где взял? — с удивлением спросил я.

— Дал один человек, — ответил старик.

— Человек? — встрепнулся я. — Какой человек?

— Человек как человек... У него вон там шалаш. Летом в нем живет...

Это показалось мне подозрительным. Я знал, что власти давно запретили крестьянам почевать в поле. Старик тем временем, взяв лопату, направился к реке. Я видел, как он, внимательно осмотрев берег, вопзил лопату во влажную землю.

— А если этот человек побежит в деревню? — спросил я. — И поднимет на ноги жандармов?

— Не побежит! — спокойно возразил старик, отбрасывая землю.

— Откуда ты знаешь? — спросил я, начиная злиться.

— Это видно, — ответил старик. — А если и скажет, что толку? В такой тьме верблюда не найти, не то что людей, которые прячутся. — И так как я не сводил с него сердитого взгляда, он оперся на лопату и серьезно добавил: — Ты не бойся, доктор. Вы разгадываете болезни, чабаны — погоду, а мы, старики, — людей. Жизнь нас хоть этому научила.

— Ты ведь и фельдшера разгадал... — мрачно сказал я. — Хорошо разгадал...

— Ну что ж, и разгадал... Просто он перепугался. А испуганному человеку комар осой кажется.

Я сердито промолчал. Последние слова могли относиться и ко мне. Старик продолжал копать, аккуратно складывая землю в кучу. Несмотря на усталость, он добрых полчаса копал без передышки, и я чуть не силком отнял у него лопату. Сломанная ручка очень мешала работе, и я вскоре почувствовал, что раскровянил ладонь.

— Это он тебе дал такую лопату? — спросил я. — Или другой не было?

— Как не было, были,— виновато пробормотал старик.— Я сам выбрал такую...

— Потому что решил не возвращать?

— Непременно верну! — с живостью возразил старик.— Но оп, может, сомпевається. Так чтоб не жалел о лопате...

Такая деликатность была, конечно, достойна веяческо-го уважения, но в ту минуту мне очень хотелось стукнуть его сломанной ручкой по голове. К счастью, он выхватил у меня лопату из рук, приговаривая:

— Не для тебя такая работа, доктор. Руки тебе для другого дела понадобятся.

Выкопав неглубокую яму, мы положили в нее пострадавшее тело Виктора. Не в силах смотреть на него, я убежал в поле. Старик, паверпое, уже закапывал его, но земля падала в могилу беззвучно — падала на грудь, на его топкое лицо, на волосы, на его изящные пальцы, на его остывшее сердце. И тогда впервые слезы потекли по моему лицу, я стирал их, стыдясь своей слабости. Когда я вернулся на берег, старик уже устилал свежую могилу пластами дерна, которые он заранее отложил в сторону.

— Крест бы падо! — вздохнул старик.— Но пеллзя, злодеи догадаются и выкопают его...

Дед Штилян скинул в реку оставшуюся землю, исто-во перекрестился и сказал:

— А теперь пойдём. В эту почь путь у нас немалый.

Мы собрали свои нехитрые пожитки, старик взял и лопату. Я в последний раз поглядел на могилу Виктора. В сущности, никакой могилы не было — так тщательно старик замаскировал место. Я увидел лишь пизкую, как мох, траву, несколько нежных побегов камыша и темную воду, которая спокойно, без плеска текла по равнине. Виктор словно никогда и не существовал. Звезды, которые так поразили его, все так же спокойно мерцали в вышине, ни одна не исчезла с неба. С гор дул живительный ветер. Тысячи кузнечиков, перскликаясь друг с другом, стрекотали во мраке, зигзагами проносились летучие мыши. Крохотные полуслепые светлячки мигали, как и накануне почью, и только Виктора не было.

Мы долго шли по узким тропинкам в высокой кукурузе — старик впереди, а я за ним. Мы шли быстро и молча. Вдруг старик остановился.

— Здесь,— сказал он.

— Что здесь?

Я все время ошарашивал его своими глупыми вопросами.

— Да тот человек... У которого я взял лопату...

Я совсем забыл про лопату, да и не думал, что старик так далеко ходил за ней. Меня снова охватило беспокойство. Вправо от нас чуть виднелся низкий шалаш, но света в нем не было.

— Брось лопату в кукурузу,— сказал я.— Завтра он пайдет се.

— Попрошу у него хлеба,— сказал старик.

Действительно, как же мы забыли взять с собой хоть какой-нибудь еды. Весь день я об этом не вспоминал, но теперь почувствовал, что проголодался.

— Иди! — перешитительно сказал я.— Неразумно соваться туда вдвоем.

— Знаю, знаю! — перебил меня старик.— Ты спрячься и подожди, я сейчас вернусь.

Я присел в тени куста и стал ждать. Было тихо; откуда-то рядом веяло легким горьковатым запахом зверобоя. Я чувствовал себя таким опустошенным, будто во мне ничего не осталось. И все же мне было легко и спокойно. Не хотелось ни о чем думать, даже о себе, разве лишь о ломтике теплого хлеба и кусочке брынзы.

Затем меня со всех сторон плотно окутал теплый мрак.

— ...И брынзы немножко дал! — услышал я сквозь сон голос деда Штиляна.— Немного, но дал... Добрый человек, но бедняк, чего с бедняка возьмешь!

Старик замолчал, а потом с удивлением спросил:

— Доктор, да ты, никак, заснул?

— А? Нет,— зашевелился я.— Просто задумался.

— Спал, спал! — с удовлетворением сказал старик.— Ну что ж, оно и хорошо — прошлую ночь ты глаз не сомкнул.

А я-то думал, что стою на посту и оберегаю его!

— Надо малость отойти в сторонку! — добавил старик.— Чтоб не торчать у них под посом... А потом, если хочешь, можем проспать всю ночь — все равно нам больше делать нечего.

Но выспаться не удалось ни в ту ночь, ни в следующую.

Тяжелее всего было вначале, ибо я чувствовал себя смертельно усталым. Поддерживавшее меня нервное напряжение вдруг спикло, и я еле переставлял ноги. Лишь подкрепившись на ходу, я немного прибодрился, по все равно идти было тяжело.

Вел меня по-прежнему дед Штиляп. Как ни странно, тяжкие испытания минувшей ночи не только не сокрушили его, но словно влили новые силы в его старческое тело. Он вел меня так проворно и уверенно, будто мы брели не по пезведомым местам, а по полям его родной деревни. Умение ориентироваться, видимо, было у него в крови; он ни разу не остановился, чтобы оглядеться или поразмыслить, верно ли мы идем. С трудом тащась за ним, я боялся даже подумать, что стало бы со мной без такого надежного проводника. Я паверняка в первый же час наткнулся бы на какую-нибудь засаду. Но старик словно кончиками пальцев улавливал все возможные опасности. Иногда мы осторожно ползли вдоль межи, а иногда свободно шагали по добротной проселочной дороге. Чем он руководствовался — обостренными чувствами или же интуицией, — было выше моего понимания.

За всю ночь мы не встретили ни одного живого существа, если не считать внезапно выскочившей из мрака собаки, которая залилась злобным лаем. Старик на миг приостановился, тихо и ласково что-то сказал и, даже не обернувшись, пошел дальше. Собака присмирела и, поскулив, исчезла так же внезапно, как и появилась.

— Наверно, поблизости люди, — сказал я с беспокойством.

— Никого нет, — уверенно ответил старик. — Это собака бездомная, пуганая. Может, ей банку к хвосту привязывали или стреляли по ней, как в бешепую. К зиме очухается и вернется в деревню.

Собака была чем-то похожа на пас. Мне даже стало ее жалко.

— Чем же она кормится?

— Найдет чем... — списходительно сказал дед Штиляп. — То зайчонка поймает, то суслика...

Вскоре после полуночи он впервые остановился и прислушался.

— Впереди мельница. Моторная. Слышишь?

Я весь превратился в слух, но ничего не услышал, кроме слабого шороха в кустах.

— А это что такое?

— Наверное, черепаха... или ежик... — Внимательно послушав, он добавил: — Нет, не ежик, черепаха...

И, не теряя времени, безжалостно заспешил вперед. Я сле поспевал за ним. Мы пересекли несколько бескопечных пашен и снова вышли на глухую, заросшую колючками тропинку.

— И сейчас не слышишь? — спросил старик.

Я по-прежнему ничего не слышал.

— Запахло мукой! — с какой-то покорной грустью сказал он. — Пшеницу мелют...

Передо мной был совсем не тот старик, что лежал рядом со мной в тюрьме — смиренный, беспомощный человек, которого я так жалел. Он шагал проворно, как мальчишка, весь сотканный из чувств и нервов. Он все видел, все слышал. Таинственное поле, окутанное мраком и неизвестностью, было для него знакомой, прочитанной сотни раз книжкой. Лишь когда стало светать, старик стал внимательно оглядываться по сторонам, очевидно подыскивал место для дневки. Через четверть часа даль стала проявляться. Слева от нас темнела пизкая роща, на мой взгляд густая и тепистая — то, что нам и требовалось.

— Нет, не годится, — ответил старик. — Это дубняк, а под дубом ничего не растёт — он все душил. Если прятаться, так придется зарываться в сухой лист.

— А если не пайдем лучшего места?

— Не бойся, найдем.

Рассвет застал нас в редкой буковой рощице, заросшей низким колючим кустарником. Старик долго выбирал место, пока наконец не остановился. В такие заросли не только человеку, но и ежу было бы не пробраться. Мы долго продирались сквозь колючки и ползучие растопия, пока не нашли небольшую прогалину. Дед Штиляп без лишних слов расстелил на земле обе плащ-палатки, которые служили нам посылками. Меня передернуло.

— Убери их! Я на них не лягу.

Старик с укором посмотрел на меня, лицо его как-то странно померкло.

— Грех говорить такое, сыпок! — сказал он. — Твой дружок лежал на них. Неужто им брезгуешь?

Лучше бы он влепил мне пощечину! Я молча лег на жесткое полотнище и, по-видимому, сразу же заснул. Проспал я часов десять кряду. Когда я проснулся, солнце

уже нависало над вершинами деревьев. Старик сидел рядом и чутко прислушивался.

— Что такое? — шепотом спросил я.

— Ничего! — ответил он, не глядя на меня.

Но это было не так. Вскоре до моих ушей допелся чистый звон колокольчика, ясный и отчетливый, словно животное находилось за кустами.

— Стадо?

— Нет, не стадо. Коза отбилась. Стадо дальше, на опушке.

— Могут хватиться ее.

— Могут, — кивнул старик. — Но все равно нас не увидят, мы хорошо спрятались.

— Не лучше ли отогнать ее?

— И я так думал, — ответил старик. — Чем дальше от нас, тем лучше.

Он приподнялся и снова сел.

— А что ты скажешь, если я сначала подою ее?

Я невольно улыбнулся — впервые за последние дни. Выспавшись как следует, я чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. К тому же еще в тюрьме я мечтал о стакане теплого парного молока.

— Но если увидят, что ее выдоили?

— Да я немного, сколько войдет в бутылку.

— А воду куда депем?

— Ты выпьешь. Как стемнеет, пальем свежей.

Как ни опрометчиво было это предложение, я поспешил согласиться. Я уже поверил, что дед Штилян может безнаказанно творить все, что только пожелает. Когда я выпил воду, старик сунул бутылку в карман.

— А что, если козу уже ищут? — снова встревожился я.

— Не бойся, сынок. Как войдут в лес, сразу услышу.

В этом я ничуть не сомневался. Старик бесшумно, как хорек, исчез в густой листве. Через минуту-две нежный звон колокольчика прекратился без малейшей возни. Я ничего не видел, но хорошо представлял себе, что происходит. Старик возникает из-за кустов, кроткий и смиренный, как праведник. Исчадие дьявола обращает к нему свою бородатую голову, но не подсакивает от страха, а покорно идет навстречу. Старик похлопывает козу по жилистому задку, вежливо расставляет ей задние ноги и с неизменным благодушием начинает доить. Прошло минут десять, и до меня допелся исчезающий вдали медный

звон. Наверно, дед Штилян, галантно выпроводив козу из кустов, тронулся в обратный путь.

Немного погодя он вынырнул из листвы с довольной улыбкой, в которой было что-то от козьего лукавства.

— Хорошая коза! — пробормотал он. — Даже не шелохнулась.

Он протянул мне бутылку. Отпив ее от губ, я увидел, что в ней осталось меньше половины. А я-то думал, что хлебнул раз-другой! Без особой настойчивости я вернул старику бутылку.

— Пей, пей! — добродушно сказал он.

— А ты почему не пьешь?

— Ничего, я попил... Там, возле козы.

Я пристально поглядел на него. Старик явно хитрил, но что поделаешь! Размышлять по этому поводу мне не хотелось. Я снова поднял бутылку, на этот раз внимательно следя за уровнем жидкости. Искоса глянув на старика, я увидел, что и он смотрит на меня, невольно копируя мое выражение. Очевидно, у меня был очень блаженный вид, когда я сосал это самое обыкновенное козье молоко. Мне стало стыдно, я невольно оторвался от проклятой бутылки.

— Ты тоже должен выпить! — настойчиво сказал я. — Нельзя так...

— Не для старика такое питье, сынок, — ответил дед Штилян с умоляющими потками в голосе. — К чему мне молоко, зубы режутся, что ли? Ты допивай...

— Не хочется больше! — сказал я; хотя мне чертовски хотелось опорожнить бутылку.

— Ну ничего, оставь про запас. Коза-то ушла.

Мне казалось, что старик очень жалеет, что поторопился прогнать козу. Гораздо умнее было бы привязать ее в кустах поблизости. Лишь бы только не блеяла.

Зажмурившись, я с наслаждением растянулся на полотнище и снова открыл глаза. Сквозь ветви деревьев проглядывало стеклянное синее небо, в котором чуть заметно отражался блеск разогретой солнцем земли. Немного погодя проплыло облачко, такое легкое и прозрачное, что я и сам не знал, не придумал ли я его. Мне было хорошо; в ту минуту я забыл про все беды и несчастья. Незаметно для себя я глубоко пропитался чувством свободы, которой так долго был лишен. Этого было вполне достаточно для прекрасного самочувствия, даже если бы не было козьего молока.

Вдруг небо словно поблекло, я ощутил непонятный внутренний трепет. Возникло ощущение, что кто-то смотрит на меня. Я не смел пошевелиться, ожидая вот-вот увидеть нечто ужасное. Я медленно скосил глаза. И пакопец увидел. Оцепенев от страха, я чуть слышно прошептал:

— Дед Штилян...

— Что, сынок?

Он, наверно, почувствовал, как я испугался, потому что голос его дрогнул.

— Дед Штилян, змея.

— Где?

— На дереве, передо мной.

Мало того что змея была передо мной, она уставилась мне в лицо своими жуткими холодными глазами. Сейчас мне смешно вспоминать об этом, но тогда я не на шутку перепугался. По правде говоря, змея была устрашающая, я даже не подозревал, что у нас водятся такие громадные.

— Это полоз! — без тени волнения сказал дед Штилян. — Смотри какой здоровенный! Не бойся, он не ядовитый.

То, что змея не ядовитая, ничуть меня не успокоило. Лишь бы не коснулась меня, а там будь она хоть трижды ядовитая.

— Видно, молоко почуял, — рассуждал вслух старик. — Голову теряют, как почуют молоко. Не шевелись, я сейчас прогоню его.

Старик медленно приподнялся на локтях. Полоз безусловным движением повернул свою пеструю красивую голову к нему. Они глядели друг другу в глаза. Лицо старика словно окаменело и заострилось, как бритва. На мгновение я даже забыл про змею — так поразило меня неожиданно незнакомое лицо. Досадно было, что я так и не увидел глаз старика, но я зримо представил себе их холодный блеск.

Прошло несколько мгновений, показавшихся мне вечностью. Полоз отвел взгляд и бесшумно заскользил назад, поблескивая зеленоватой чешуей, пока не скрылся в глубокой тени деревьев. Старик обернулся ко мне и невозмутимо сказал:

— Ушел. Далеко ушел, не бойся.

Мне стало стыдно, что он так хорошо меня понял.

— До чего громадный! — пробормотал я, втайне со-

знавая, что испугался бы не меньше, будь змея и вдвое короче. Старик покачал головой.

— Бывают и побольше, — сказал он. — Иногда и на человека нападают. Особенно если разозлишь его... Но на двоих — пикогда. На это у них умишка хватает.

Я приподнялся. Наверно, я здорово побледнел, потому что старик сказал:

— Хлебки немножко молочка. Воды бы лучше, но коли нету...

Он говорил со мной как с ребенком. Делать было нечего, я молчал. Так или иначе, он меня раскусил, и заговаривать ему зубы было бесполезно. Помолчав немного, старик продолжал:

— Досталось мне в свое время от полоза, да еще как... Парнишкой был, лет десяти... Но то длинная история, как-нибудь в другой раз расскажу.

— Нет, ты сейчас расскажи. Все равно делать нечего.

Старик испытующе поглядел на меня. Наверно, так матери смотрят на своих детишек, раздумывая, стоит ли рассказывать им страшную сказку.

— Давай начинай! — сердито буркнул я.

— История немудреная, — пробормотал старик. — Однажды работали мы с баткой в поле. К вечеру собрались уходить, глядим — на меже полоз. Побольше этого, а мне, мальчонке, и вовсе показался змеем из сказок. Батя, не долго думая, швырнул в него мотыгой. И, наверно, угодил — если не железкой, то палкой. Полоз только прошипел и шмыгнул в кусты. — Старик задумался, припоминая. — Забыл сказать тебе, что в ту пору был я сиротой. Отец привел другую жену. Мачеха попалась ни плохая, ни хорошая. Известное дело, пастоящую мать никто не замесит. На завтра было воскресенье, но она опять послала меня в поле. Отец пожалел меня. «Поработай, — говорит, — до обеда и иди домой». Рыхлю я, рыхлю, но разве это работа? Два взмаха, три слезы... Еле дождался обеда, взвалил мотыгу и пошел. Вдруг что-то свистнуло в воздухе, как кнут, и не успел я ахнуть, как полоз крепко опутал меня. Со страху я повалился на землю. Гляжу — полоз спутал мне ноги, а голова прямо против моего лица... Испугался я так, что небо показалось черным, а змея — красной. Но хоть и струсил, а схватил ее за шею. Надо думать, что силенка у меня была. Змея жмет изо всех сил, и я тоже жму. Она поотпустит немножко и начнет стегать хвостом, как кнутом. Больно — терпеть

нельзя, а что делать? Я себе жму да жму. Чую, стоит отпустить, как мне конец... — Старик приумолк, а у меня мурашки бежали по телу. — Ты не поверишь, но так мы тягались до темноты. Я никогда не думал, что во мне столько упрямства. Я уже освоился, и страх прошел, только слабеть стал. Одно время совсем было дрогнул — вот-вот отпущу, но и отпускать нельзя... Стал мепять руки, и это меня спасло. К концу дня полоз выдохся. Сам понял, что себе на беду связался со мной, распустил кольца и стал пятиться, как осел на мосту. Ладно, но я тоже разозлился и подушил его еще немного для остротки. Накопец я разжал руки — он бросился в одну сторону, а я в другую, и мы исчезли, яко дым. Ни про мотыгу я не вспомнил, ни про куртку, которая свалилась на землю. Вот так и спасся.

Старик умолк. Я так и думал, что он сейчас скажет: «Хорошая змея оказалась. Не задушила меня». Но он почему-то этого не сказал и вдруг брякнул совсем неожиданное:

— И ваше дело, сынок, которое вы затеяли, точно такое. Коли ухватились, надо жать изо всех сил. Если дрогнете, копец вам, так и знайте.

Я еле дождался темноты. События последнего месяца изрядно измочалили мои нервы. При малейшем порохе в кустах я вздрагивал и ждал, не просвистит ли что в воздухе, как кнут. Лишь когда совсем стемнело, мы снова двинулись в путь. Старик первым углубился в темную чащу, я за ним. И по-прежнему все ждал, что вот-вот что-то захлестнет мне поги. Сейчас я думаю, что если бы это действительно случилось, я даже не пикнул бы, чтобы позвать старика на подмогу. Я сам себя ненавижу за свои издерганные нервы.

Но когда мы вышли на открытое место, я так расхрабрился, что даже стал чуть слышно что-то насвистывать. Старик по-прежнему вел меня непостижимыми путями: то по дорогам, то по ложбинам, то по оврагам. Я уже свыкся с почными странствиями и не патыкался головой на каждую низкую ветку, не проваливался в каждую яму и колдобину. В ту ночь мы, очевидно, прошли раза в два больше, чем накануне, но я этого почти не ощутил — так хорошо отдохнул за день. Судя по звездам, мы двигались напрямик на запад и на рассвете должны были пересечь старую границу. Почему-то мне казалось, что по ту ее сторону все тревожения разом кончатся.

Впоследствии я узнал, что в ту ночь мы проскользнули сквозь целую сеть постов и засад. Безошибочное чутье вело старика по безопасным просветам, он вовремя чуял опасность и обходил ее стороной. Не только один, но даже со Спасом я наверняка никогда не добрался бы благополучно до цели.

Но и в ту ночь не обошлось без происшествий. Незадолго до полуночи мы натолкнулись на патрульный обход. Старик вовремя почуял неладное, остановился и тихо прошептал:

— Навстречу люди...

Я даже не прислушался, зная, что ничего не услышу. Мы свернули с дороги и забились в густые заросли. На всякий случай я вытащил пистолет и отвел предохранитель.

— Не вздумай стрелять, сынок! — тихо прошептал старик. — Оставь их в покое — они пройдут и уйдут...

Я с горечью подумал, что старику вряд ли так уж жаль патрульных, а просто он не верит, что я попаду в кого-нибудь из них. Долго ждать не пришлось. Вскоре на дороге показались два силуэта. Они не торопились, иногда останавливались, оживленно переговариваясь между собой. Когда они подошли ближе, мы разглядели, что то были штатские, — вероятно, крестьяне из ближней деревни, вооруженные виштовками, которые они несли как дубинки. Такой патруль не вызывал особых опасений.

Самое забавное было то, что они болтали, будто были совершенно одни. Безмятежно толковали о виноградниках, о медном купоросе, об опрыскивателях, да еще остановились прямо против нас. Либо у них не было никакого чувства опасности, либо они догадывались, что в кустах засел педотепа вроде меня. Один из них, болтливый толстозадый коротышка, посетовал, что сынок его вряд ли выдержит перекрестную проверку в городской гимназии.

— Подкинь четверть постного масла учителю, — сказал высокий. — Не смажешь — не поедешь...

— Это-то верно. Я о другом думаю — давай-ка забьемся в стог да выспимся, как люди. Ведь завтра работа ждет.

Высокий молчал в нерешительности.

— Опасно, — пробормотал он.

— Чего опасного? Они вчерашней ночью прошли, сейчас уже, наверно, в Сербии.

— Да нет, я о поручике думаю. Вдруг нас хватится?

— Так и пойдет он нас искать! — уверенно сказал низкий. — Кишка у него тонка ходить ночью по полю...

Они пошли дальше, и голоса их постепенно замерли вдали. Я так и не понял, зароятся они в стог или же до утра будут слоняться по дорогам. Когда голоса затихли, старик тихо шепнул:

— Ты слышал?

На этот раз я все слышал.

— Значит, наши прошли здесь! — с волнением сказал он. — Вчера ночью прошли.

— А может, не они?

— Кто ж другой? Значит, верным путем идем, может, и договорим.

Эта мысль подхлестнула нас, и мы, выбравшись из кустов, быстро пошли по узкой дороге. Я подумал, что неосторожно так торопиться, но старик ничего не делал наобум. С каждым часом дорога становилась все более ровной и ухабистой, чувствовалось, что мы подходим к горам. Мы перешли вброд какую-то быструю речушку с каменистым дном, долго брели среди приземистых лоз и вышли на оголенную местность. Ночь выдалась ясная, и любой секретный дозор заметил бы нас издалека. Но иного выхода у нас не было — не могли же мы ползти по земле, как суслики.

Через час перед нами поднялась голая возвышенность. Не без труда преодолев ее, мы снова спустились на холмистое поле, заросшее кустарником. Дорога стала безопаснее, но и гораздо тяжелее. Кругом стояли низкие и густые заросли, не всюду удавалось найти тропинку. На заре, выбившись из сил, мы остановились.

— Здесь переспим, — сказал старик. — Пойдем дальше, — глядишь, и заплутаемся...

В его голосе мне почудилась неуверенность. Может быть, он не привык к лесам и лучше чувствовал себя на открытом месте. Мы забрались в чащу, старик расстелил плащ-палатки. Полянка оказалась пошире, и кусты были не такими густыми. Убежище выглядело не очень надежным, но поправилось мне больше, чем вчерашнее змеиное гнездо. Все же спать обоим сразу, пожалуй, не следовало, кто-то должен был дежурить. Старик, словно отгадав мои мысли, сказал:

— Ты спи. А я буду сторожить.

Опять он был прав, ведь сторож из меня никудышный. Не успел он это сказать, как я повалился на полотноща

и тут же захрапел. Когда я проснулся, солнце стояло почти над головой. Лишь тут я сообразил, что надо бы рассердиться.

— Я же просил тебя разбудить меня вовремя! — ворчал я. — Нам надо было сменяться.

— Спи себе спокойно, сынок! — добродушно ответил старик. — Какой у старика сон? Мне и отдыха хватит.

А я, выспавшись как следует, почувствовал голод. Потерпев полчаса, я неуверенно спросил:

— Дед Штилян, у нас что-нибудь из еды осталось? Старик встрепещулся.

— Эх, пустая моя голова! — виновато пробормотал он. — Есть кое-что, поберег для тебя...

Сунув руку в свою холщовую сумочку, он извлек оттуда горбушку хлеба и кусочек брынзы. Брынза изрядно замусолилась, но я помню, что это не произвело на меня никакого впечатления.

— Возьми!

— Не «возьми», а дели пополам! — сказал я.

— Бери, бери... Я свою долю еще утром съел.

Я знал, что он меня обманывает, хотя и смотрит невозмутимым взглядом праведника.

— Честное слово?

— Честное слово! — с готовностью ответил старик.

Эта поспешность еще больше насторожила меня.

— Так не пойдет! — сказал я. — Поклянись, или не поверю!

— Что значит «поклянись»? — спросил с укоризной старик. — Разве по пустякам клянутся? Клятву дают в минуту трудную...

— Раз так, то дели хлеб пополам и не болтай попусту.

Старик умоляюще поглядел на меня:

— Чего это ты, доктор, суешься в мои дела? Ведь я в твои не вмешиваюсь.

Он, конечно, вмешивался, но только деликатнее, чем я.

— Послушай, дед Штилян... — начал я.

— Что мне тебя слушать! — нетерпеливо перебил старик. — Ешь, если тебе говорят. Я постарше тебя и все с утра передумал. — Лицо его вдруг оживилось. — Ох, как это я забыл! — воскликнул он.

Взяв сумку, он стал лихорадочно рыться в ней. Накопец он вытащил оттуда деревенскую салфетку, развязал на ней узелок и протянул мне полплитки шоколада. Разу-

меется, то, что он держал в руке, столько раз таяло и оплывало от жары, что только отдаленно напоминало шоколад. Но, судя по цвету, это все-таки был шоколад.

— Откуда ты его раздобыл? — изумленно спросил я.

— Как откуда? Неужто забыл, как сам мне его дал?

У меня в глазах потемнело, когда я вспомнил, какие идиотские мысли приходили мне тогда в голову. Я взял шоколад, но хоть заставил старика отломить себе хлеба — и он отломил, но не половину, а гораздо меньше. Я заметил, что он тщательно разжевал свою долю и съел ее до последней крошки. Я попытался подражать его манере, но у меня ничего не вышло. Наскоро проглотив хлеб, я хлебнул пемного воды и лишь тогда понял, что смог бы съесть в придачу если не петуха, то хорошую курицу. Старик огорченно глядел мне в рот, словно там были написаны все мои желания. Но делать было нечего, я лег на полотноще и загляделся в небо, будто давно его не видел. Впрочем, небо в тех местах было совсем другое — лазурнее, прохладнее и гораздо приветливее. В неоглядной вышине кружились еле видимые ласточки, словно, взметенные неведомым вихрем, не знали, как вернуться обратно на землю. Старик нарушил молчание:

— Я пойду.

Я уже перестал удивляться.

— Куда пойдешь?

— Пойду куда надо...

Что и говорить, своенравный старик!

— Нет, на этот раз не будет по-твоему! — решительно заявил я.

Я воспротивился не на шутку. Конечно, я опасался, что его схватят.

— Ничего не поделаешь, доктор, надо поискать еды, — сказал старик. — Да и не в одной еде дело, я уже толком не знаю, куда идти. Надо посмотреть, что за деревни вокруг, и наметить дорогу.

— Хорошо, я не против, но я пойду вместе с тобой.

— Не падо, доктор. Увидят тебя и все поймут. А на меня и не глянут.

Он был, как всегда, прав, но я заупрямился. Я предпочитал питаться кореньями, чем остаться одному.

— Пойду с тобой, докуда можно! — упрямо сказал я. — Одному мне нелегко.

Старик глубоко вздохнул:

— Что делать... Дойдешь до опушки...

Мы пошли. Я сразу понял, что лишь в тягость старику. Он шагал вперед бесшумно, как лисица, а я ломал сухие сучки, спотыкался и даже раскашлялся. Наконец мы вышли на опушку и — пригнувшись к земле, а иногда ползком — стали перебираться от одного куста к другому. Метров через сто мы остановились. Перед нами тянулось пологое, терявшееся вдаль поле, заросшее низкой травой и лютиками. Поблизости двое пастухов пасли овец. В каждой отаре было голов по двадцать, не больше. Чабаны, усевшись в тени кривого, старого дерева, о чем-то разговаривали. Один был молодой парень, а другой, с ягненком на руках, — почти старик.

— Сербь, — промолвил дед Штилян. — Значит, мы уже в Сербии.

Я тоже догадался — шапки у пастухов были ненашенские.

— Схожу-ка я к ним, — сказал, чуть подумав, старик.

— Откуда ты знаешь, что они за люди? — с сомнением спросил я.

— Я же тебе сказал, что сербь. От них зла не жди.

— Говоришь, будто и ты серб! — проворчал я. — А ведь ты чистокровный болгарин.

— Так-то оно так, — сказал старик, пичуть не возгордившись. — Но я много среди сербов жил, знаю их. Все они до единого не в ладах с болгарской властью.

— А четники?

— Четники с немцами якшаются, не с нашими... Я пойду, а ты постой пока настороже. Бедой запахнет — помогай, но, по-моему, нужды не будет. Это чабаны, свои люди.

Здраво рассуждая, конечно, надо было идти ему одному. Старик вышел из-за кустов и песторопливо направился к пастухам. Не прошел он и двадцати шагов, как один из чабанов, что помоложе, обернулся. Рассеянно оглядев старика, он продолжал разговаривать со своим товарищем. Я думал, что хоть собака, дремавшая у них в ногах, залает, но и она все так же уныло лежала в тени. Старик подошел и уселся рядом. Мне показалось, что чабаны лишь мельком взглянули на него и продолжали свой разговор, будто целого дня им было мало, чтобы наговориться вволю.

Я с нетерпением поджидал старика. Ждать пришлось долго — больше получаса. Я заметил, что дед Штилян за просто подключился к разговору, словно сухая ветка,

которую подбрасывают в угасающий костер. Теперь все трое говорили разом, с еще большим интересом и увлечением. Дед Штилян ни разу не оглянулся в мою сторону, как будто меня и не было на свете. Я стал злиться, тем более что на меня накиннулись какие-то огромные красные муравьи, которые чувствительно пощипывали мое тело в самых неподобающих местах. Меня подмывало подняться из-за кустов и что-нибудь крикнуть чабанам — хотя бы для того, чтобы позабавиться их обалделыми лицами. Но вот все трое обернулись и поглядели в мою сторону. Я вздрогнул, поняв, что старик сказал обо мне. И на самом деле, он приподнялся и тихо позвал:

— Доктор...

Делать было нечего, я переложил пистолет из заднего кармана в боковой и встал. Моя лохматая голова высунулась из-за куста.

— Иди, доктор, не бойся! — повторил старик.

Так бы и пнул его за это вечное «не бойся»! Ладно, со мной болтай, но перед людьми мог бы помолчать! Собака, увидев меня, залаяла как оголтелая. Молодой чабан, не вставая с места, изо всех сил ударил посохом о землю. Собака тотчас же умолкла и, поджав хвост, побрела к овцам, поглядывая на меня с лютой неприязнью. Это был огромный косматый пес, перед которым струхнул бы и волк. Я поймал себя на том, что не свожу глаз с собаки и не гляжу на людей. Когда я подошел ближе, оба чабапа поднялись с места. Мне бросилось в глаза знакомое выражение их лиц, покорное и в то же время с застенной надеждой — так простые люди обычно встречают врачей. Очевидно, старик рассказал им, кто я, и я не жалел об этом, так как смутно чувствовал, что пужен им.

— Здраво! — приветствовал я их.

— Здраво, друже, — в один голос ответили чабапы.

— Наши люди, — сказал старик. — Совсем как мы с тобой...

Я не совсем понял, что он хотел этим сказать, потому что мы с ним были, можно сказать, пикто.

— Не шибко ты похож на доктора, — проговорил старый чабап.

— Это верпо, — сказал я. — Доктора не прячутся в кустах...

— Это наш доктор! — с гордостью заявил дед Штилян. — А ты садись, садись, — обратился он ко мне.

Я подсел к ним, искоса поглядывая на собаку.

— У Драгана беда! — как-то виновато сказал старик, показав головой на молодого чабана. — Ребенок разболелся. Пойдешь посмотреть?

— Деревня далеко?

— Недалеко, километра два-три отсюда.

— Ладно, — сказал я. — Как стемнел, пойдем.

— Они хотят сейчас.

— Почему сейчас? — удивился я. — Сейчас опасно.

— Не бойся, доктор, здесь наше царство! — впервые проговорил молодой чабан на чистом болгарском языке.

— Ты болгарин? — спросил я.

Чабан поморщился.

— Да, болгарин, — ответил он.

Это немного насторожило меня: я предпочел бы иметь дело с любым встречным сербом, у которого разболелся ребенок.

— И ты думаешь, что можно без риска войти в вашу деревню среди бела дня? — спросил я.

— Да это не совсем деревня, доктор. Выселки. Мы все тут родня и друг друга знаем. Дурных людей у нас нет, я тебе гарантирую.

— Ну раз ты гарантируешь... — с иронией пробормотал я.

Чабан окинул меня взглядом с головы до ног.

— Если страшно, то не ходи, — сказал он с достоинством. — Хлеба я вам и так дам, хоть и пемпого у нас.

— Не будем тратить слов попусту, — решительно заявил я. — Собирайтесь, и пошли...

Через полчаса мы тронулись в путь. Вел молодой чабан, старик остался с отарой. Мы шли по узкой извилистой крутой тропинке, пробираясь сквозь низкий кустарник, цеплявшийся за ноги. Сомнения все еще сверлили мне душу.

— Почему вы вдвоем пасете овец? — спросил я. — Одип может управиться.

Драган оглянулся, улыбаясь.

— Стараемся держаться подальше от начальства, — ответил он. — Как увидят мужика без дела, сразу же пошлют либо дорогу чинить, либо доты строить.

Ответ был вполне резонный.

— Неужели и до пастухов дело дошло?

— Какой я пастух, доктор... Бетонщик, на стройках работал. А сейчас что делать, не работать же на вас?

— На кого на «нас»? — сухо спросил я.

— Ты не обижайся, — добродушно ответил он. — Коли по лесам бродишь, значит, ты неплохой человек.

Несколько километров до деревни оказались с изрядным гаком. Мы шли уже добрый час, а деревней и не нашли. Я заметил, что походка у Драгана стала осторожннее, хотя он и провозгласил всю местность своим царством. Мы свернули с большой тропы в гущу леса. И вдруг с ходу перед нами возникла деревня.

Действительно, в маленькой зеленеющей ложбине раскинулось около тридцати домов. До околицы оставалось не более двухсот метров. Виднелись рассеявшиеся по низким плетням куры, поросята, беззаботно подрывающие корни деревьев. Ребятишки в одних рубашонках играли возле каменного забора какого-то большого дома, мелькая на солнце голыми, испачканными в пыли задницами. Взрослых не было видно, но голоса слышались. Два жепских альта переругивались до иступления. Казалось, что прозрачный воздух над деревушкой содрогается от разгоревшихся страстей. Драган пахмурился.

— Опять Милаповы снохи! — в сердцах сказал он. — Через два двора ругаются, а подумать можно, что в косы вцепились. Как только Милап их терпит? — Подумав немного, он прибавил: — На всякий случай подождите меня здесь. Как знать, может, пришел кто-нибудь чужой.

Эта разумная предосторожность мне понравилась.

— Ступай, ступай! — сказал дед Штилян. — Мы подождем.

Драган сбежал вниз по крутой тропинке. Я не мог глаз оторвать от маленькой деревушки, такой безмятежной в послеобеденный час. Даже снохи присмирели, лишь тихо похрюкивали поросята. В каждом из этих домишек наверняка была и чистая постель, и старый кувшин со свежей водой; быть может, и теплый каравай, только что из печи, сочная брынза.

— Драган что-нибудь знает о нашем отряде? — спросил я.

— Он ничего не слышал, — ответил старик. — А я ничего ему не сказал.

— Как знать! — сказал я, пожав плечами.

— Нет-нет... Знаю я, о чем можно говорить и о чем надо помалкивать, — с обидой отозвался старик.

— А далеко та деревня, куда мы идем?

— Близко, этой ночью дойдем. Как мишуем Водицу, дальше я дорогу и на ощупь найду.

Драган вернулся лишь спустя полчаса. Он запыхался от подъема по круче, лицо было озабоченное. Подсев к нам, он виноватым тоном сказал:

— Принесло чужака из Зайчара. Живковых родня, но откуда знать, что он за человек? Лучше подождем до темноты.

Я разочарованно поглядел на него. До темноты оставалось не меньше четырех часов. А мне так хотелось поскорее попасть в один из этих прохладных сельских домиков!

— Вам-то бояться нечего, — сказал Драган. — Если и догадается, напакостить вам не успеет. Но меня может обгадить перед властями.

— А ребенок? — спросил я.

— Плохо ему, — озабоченно ответил Драган. — За полдня исхудал наполовину.

Мы еле дождались темноты. Спустились по тропинке, пересекли болотистую бахчу, вышли на кривую деревенскую улочку, а затем свернули и пошли задом. Мы скользили так бесшумно, что, по-моему, никто нас не заметил. Наконец Драган остановился перед приземистым забором. За спиной у нас журчал ручей.

— Сюда, — сказал Драган.

Скрипнула маленькая калитка, и мы оказались в тенистом дворике. Меж темнеющих стволов деревьев чуть виднелась светлая тропинка. Поднявшись на несколько ступенек, мы вошли в опрятный, убранный почти по-городскому домик. В средней комнате нас встретила молодая, статная и миловидная, хотя и чуть раскосая жепщина. Очевидно, я изумил ее своим видом, и она, чтобы скрыть смущение, поспешно заговорила:

— Доктор, мы ждали тебя и прием как гостя, но ты сначала посмотри ребенка.

Мы вошли в соседнюю комнату, еле освещенную керосиновым почником. Ребенок мне не понравился, вид у него был изможденный. Осмотрев его, я озабоченно поднял голову:

— Бронхопневмония...

— Это опасно? — встревожилась мать.

— Может стать очень опасным, если вы не примете срочных мер.

Мать побледнела как полотно.

— Какие меры, доктор?

— Самое главное — лекарство. Где ближайшая аптека?

— Аж в Зайчаре, — ответил Драган. — Если выйду в полночь, к открытию успею.

— Хорошо, дай мне лист бумаги, — сказал я. — Если есть чернила, то еще лучше...

Он принес мне лист и чернила, а я призадумался. Чьим именем подписать рецепт? Можно было подписаться и своим — мало ли врачей с такой фамилией? Все же я решил посоветоваться с хозяином.

— Пиши: Лазар Пирич, — сказал он. — Есть у нас такой...

— Не слишком известный?

— Нет, молодой парень, наш товарищ.

Написав рецепт от имени незнакомого коллеги, я набум подписался. Затем я подробно рассказал матери, что делать, пока не подоспеет лекарство. Лицо молодой женщины становилось все более озабоченным, и наконец она залилась слезами. Я снова обратился к Драгану:

— Медлить нельзя. На рецепте я написал «спешно» — тебя долго не задержат. Обрати поторапливайся — на подводе или верхом. Чем раньше вернешься, тем лучше.

— Ясно, доктор! — решительно ответил Драган и, повернувшись к жене, сказал: — Чем хныкать, собери-ка нам поужинать. В слезах толку нет.

— Какой это ужин, коли ты меня не предупредил! — все еще сквозь слезы сказала женщина.

— Знаю, знаю! — нетерпеливо перебил муж. — Давай, что получше. И что поскорее.

— Поспешить — людей насмешить! — возразила жена.

— Ступай, тебе говорят! — прикрикнул Драган. — Хватит болтать.

Жена ушла на кухню. Драган внимательно оглядел меня, будто увидел впервые.

— Доктор, все равно ждем, давай я тебя побрею.

— Ты меня побреешь? — изумился я.

— Запросто побрею, — улыбнулся он. — Два года в подмастерьях был у парикмахера. Инструмент есть, и все, как положено.

Я не заставил себя уговаривать. Борода у меня росла некрасивая, зудела — с такой не почувствуешь себя интеллигентом. Я уселся на единственный стул со спинкой. Драган принес инструменты и намылил меня. Как только он склонился надо мной с направленной бритвой в руках, неприятная мысль мелькнула у меня в голове, но я тотчас

отогнал ее. С первого же прикосновения я понял, что нашему хозяину далеко до парикмахера, но через пень колоду он все-таки сделал свое дело. Закончив, он с виноватой улыбкой взглянул на меня:

— Ну как?

— Превосходно! — сказал я.

Он рассмеялся:

— Какой из меня парикмахер! Но если б я тебе сказал, ты бы не согласился. Вот теперь ты, сказать по правде, походишь на доктора. А раньше был сущий четник. Он вышел из комнаты и вернулся с белой, старательно выглаженной рубашкой в руках.

— Возьми! — сказал он. — Больше печем отдарить тебя. Возьми — в ней я венчался.

Драган был не из тех, кому можно отказать. Он заставил меня тут же переодеться, а мою рубашку презрительно зашвырнул в угол. Когда в комнату вошла его жена, она даже посмотрела по сторонам, будто не была уверена, тот же ли это человек. А больше всех радовался дед Штиляп, он просто не сводил с меня глаз.

— Пойдемте перекусим! — сказала жена. — Только уж, пожалуйста, не попрекайте меня.

Никогда не забуду тот скромный ужин — самый вкусный в моей жизни. Еда была действительно вкусной, и вовсе не потому, что я страшно проголодался. Хозяйка приготовила нам яичницу по-панагюрски — с душистым перцем и свежим, только что сбитым маслом. Было вдоволь кислого молока и бледно-розового, тонко нарезанного, необыкновенно аппетитного свиного сала. Я так наелся, что меня потянуло ко сну. Из всех желаний осталось лишь одно — растянуться в чистой постели и выспаться на славу, как люди. Но Драган, глянув на облупленный будильник на шкафу, сказал:

— Пожалуй, пора идти? — И, почувствовав, что это звучит не слишком гостеприимно, поспешно добавил: — Растревожил ты меня, доктор. Да и вам надо быть вовремя на месте. Всякое бывает в дороге.

Делать было нечего, пришлось вставать. Пока я еще раз осматривал ребенка, Драган ухитрился доверху набить едой холщовую сумку старика. Я хотел было расплатиться, но он лишь выругал меня. Попрощавшись с хозяйкой, мы вышли за порог. Деревушка спала — нигде не было ни огонька. Перейдя вброд ручей, мы стали подниматься вверх по холму. Когда мы вышли на плато, дере-

вухи уже не было видно, ложбину затянуло густым, непроглядным мраком.

Несколько километров нам было по пути, но потом нам пришлось расстаться с Драганом. Мы крепко пожали друг другу руки, и я сказал:

— Авось когда-нибудь снова встретимся! Тогда угощение с меня...

— Увидимся, доктор,— улыбнулся Драган.— Свет не так велик.

Но и не мал. Я не люблю расставаться с теми, кто мне приятен. Полчаса мы с дедом Штиляном шли молча, наконец он сказал:

— Славный парепы! Я с первого взгляда понял, что славный.

На этот раз старик был бесспорно прав.

Весь день мы провели в вековом лесу под часовенкой. Спал я мало, потому что мы пришли туда еще затемно и до утра было достаточно времени для отдыха и сна. Плохо было то, что я лишился покоя — меня томили дурные предчувствия. Мы явились вовремя и точно на условленное место, ошибки не могло быть. И все же мы сомневались. Дед Штилян тоже молчал и, видимо, нервничал, не находил себе места. Я думал, что вряд ли отряд добрался сюда невредимым, а если и расположился рядом, то им, конечно, не до нас. Да и сам лес способствовал мрачному настроению. Лучи солнца не пробивались сквозь тяжелые кроны деревьев, мертво было под ними, в спертom запахе папоротника и гнилой листвы.

К полудню духота стала нестерпимой, недвижный воздух загустел, как свернувшаяся кровь. Где-то в невидимой дали собрались тучи, и по небу прокатился глухой грохот. Прошел еще час, солнце скрылось, и под деревьями стало совсем темно. Немного погодя по листьям забарабанили тяжелые капли, но дождь так и не разошелся. Небо снова прояснилось, раскаты грома замерли вдали, повеял слабый ветерок и оживил наши надежды.

С наступлением сумерек мы пошли по узкому сырому ущелью. В конце его показалась длинная белая чешма с каменными корытами и тремя бронзовыми горловинами. Деревья вокруг расступились, и мне удалось прочитать надпись на камне: «Сию чешму построил Хаджи Никола Хаджи Рачев в память родителей своих Минчо

и Анисии. Лето Господне 1892-е, день пречистый и преславный Успения Святой Богородицы. Путник, помня их».

В душе моей пробежал трепет; всплыли воспоминания детства, я услышал далекий звон маленьких медных колоколов, мычание телят на чисто подметенном дворе. Мы умылись, запаслись водой и забились в кусты. Нам оставалось только ждать.

— Для чего построили такую хорошую чешму в зарослях? — спросил я. — Сюда и тропинки нет.

— Тут собираются на соборный праздник, — тихо ответил старик. — На успение богородицы, в конце августа. Ягнят режут, до тридцати котлов закладывают. В это время ягнята самые откормленные и перец самый вкусный. Тьма народу собирается, деревень из двадцати, если не больше. Тогда к чешме и не пробьешься.

— А ты бывал?

— Можно сказать, ни разу не пропускал. А до чего мне, мальчишке, варено вкусным казалось — слов нет рассказать... — Вдохнув, старик добавил: — Славные времена были. Никогда уж не вернутся.

Мы прождали чуть не целую вечность. Часы тянулись один за другим, и нам становилось все яснее, что никого мы не дождемся. Из-за ветвей деревьев показалась молодая луна — как чистенький топкий ломтик дыни. И все же, каким он ни был узеньким, крутой склон у нас под ногами побелел, между стволами засветились стены часовенки. Близилась полночь, и мы совсем уже приуныли. Вдруг старик вздрогнул:

— Ты слышал?

Но в голосе его не было уверенности, — очевидно, он сам еще толком ничего не расслышал.

— Нет, — сказал я.

— Постой, постой...

Он весь превратился в слух — так обострилось его лицо.

— Вот, вот! — взволнованно повторил он.

На этот раз и я услышал три далеких выкрика ночной птицы. Совиный крик, сказали они, по откуда мне было знать, как кричит сова? Дед Штилян просиял и тотчас же откликнулся — гораздо мелодичнее, на мой взгляд. Насторожившись, мы ждали ответа. Ждать пришлось недолго — со стороны ущелья послышались шаги, и из-за кустов появилась рослая мужская фигура. В руках у че-

ловека я разглядел винтовку. Осторожно оглядевшись, он двинулся к нам. Было что-то знакомое в очертаниях его массивных неподвижных плеч.

— Это Спас! — радостно воскликнул старик.

Человек, очевидно, услышал, остановился и вскинул винтовку.

— Доктор, где ты? — с тревогой спросил он.

Действительно, то был Спас, я узнал его голос. Чуть ли не бегом я пустился к нему. Мы с ним обнялись, немного неловко и неуклюже. И тогда я впервые увидел на лице этого огромного, вечно сумрачного человека широкую приветливую улыбку.

— Значит, ты жив-здоров?! — радостно воскликнул он. — Ох, а ведь я тебя уже заживо похоронил!

Затем он повернулся к деду Штилянцу и шутливо ущипнул его за жилистую шею:

— Как дела, старина?

— Ничего, — ответил старик.

— Где оставили Виктора?

Мне показалось, что он заслопил луну своей огромной ладонью.

— Умер, — сказал я. — Не смогли ему помочь...

Лицо Спаса потемнело. Закинув с мрачным видом винтовку за плечо, он сказал:

— Я так и знал. Напрасно вы рисковали жизнью, я думал, что и вас уже не увижу.

— Нет, не напрасно, — возразил я.

— Ну, что ж, коли остались живы и невредимы... — вздохнул Спас. — Ты тогда будто не в своем уме был, слова тебе не скажи... Бесполезно было...

Подавленный, я молчал. Спас, поняв, что немного пересолил, дружески похлопал меня по плечу.

— Пойдем, — сказал он. — Незачем торчать тут, как мишени.

Мы немедленно тронулись в путь. Мучительно запинаясь, я рассказал Спасу о наших безнадежных попытках спасти Виктора. А он вкратце поведал нам о событиях в отряде. У них были две небольшие стычки, они захватили семь винтовок, но потеряли еще одного человека. На третий день они расположились лагерем и даже сумели связаться с местной организацией, от которой получили и оружие, в том числе ручной пулемет «брен».

— С оружием пока хорошо, — заключил он. — Но это ненадолго — ожидаем пополнение,

— А начальство как? Ладит меж собой? — спросил я.

— Как кошка с собакой, — усмехнулся Спас. — Один тянет вверх, а другой — вниз.

— Это как понимать? — шутливо спросил я.

— Понимай как хочешь. Максим рвется с ходу в дело, считает, что мы должны заявить о себе. Боян же не спешит, хочет сначала окопаться как следует.

— А ты из какой партии?

— Из твоей, — ответил Спас и рассмеялся.

— Я еще сам не выбрал.

— Выбрал, выбрал! — сказал Спас, погрозив мне пальцем. — От меня не скроешься.

Мы шли так быстро, что даже дед Штилян еле поспевал за размашистым шагом Спаса.

— Короче шаг! — задыхаясь, проговорил я. — Нам за тобой не угнаться.

Спас убавил шаг, и мне удалось поравняться с ним.

— Такой уж я торопыга, — шутливо заметил он.

— Хорош торопыга... Почему ты так поздно за нами пришел?

— Поздно? Наоборот, рано. Боян наказал встретить вас на заре.

— Почему на заре?

— На всякий случай... Если вы, мол, одни, то подождете — деваться вам некуда. А если вас другие силком привели, то до утра они потеряют терпение.

— Умно! — сказал я обиженно.

— Не так уж и глупо. Котелок варит у паренька, хотя с виду соплей перешибешь.

Чем дальше, тем более дикой и пустынной становилась местность. Мы шли по пизкой и чахлой дубовой роще, среди искривленных стволов и уродливых ветвей с сухими, жилистыми листьями. Но на подходе к лагерю лес посвежел, появились сочные пастбища. К рассвету мы пришли на место. Лагерь расположился в заброшенных овечьих загонах, были даже две легкие пристройки, служившие штабом и складом. Конечно, нас заметили еще издалека и все искренне нам обрадовались.

— Командир приказал немедленно разбудить его, когда бы вы ни пришли. В любой час.

Делать было нечего — приказ надо выполнять, хотя мы изрядно устали и засыпали на ходу. Боян встретил нас почти голый, в кургуzych смешных трусиках. Сухой и жилистый, с узловатыми икрами, он выглядел прирожден-

пым скороходом. Из-за его спины выглядывал улыбающийся дядя Нико, полностью одетый, даже с подсумками на поясе.

— Здравствуй, доктор! — просто сказал Боян. — Садись и рассказывай.

Пришлось снова повторить печальный и горький рассказ. Боян хмуро слушал, дядя Нико нервно прохаживался по тесному помещению. Когда я умолк, Боян спросил:

— Ты узнал имя фельдшера?

Об этом я и не подумал: я посмотрел на деда Штиляна, но тот лишь растерянно захлопал глазами.

— Сказали мне. Но я запомнил...

Я знал, что он лжет, но не рассердился — это было вполне в его характере.

— Неважно, сами узнаем, — сердито сказал Боян. — Не поздоровится нашему фельдшеру...

Он снова поглядел на меня, взгляд его оживился.

— Доктор, ты будешь спать на складе, — сказал он. — Там же будет твоя амбулатория. Сегодня же доложи мне, что тебе нужно.

— Слушаюсь! — ответил я по-солдатски.

Боян рассмеялся:

— Не слушаться надо, а понимать. Если у нас появился врач, значит, надо обзавестись и приличной амбулаторией. Помощник тебе понадобится?

Я чуть было не отказался, но взгляд мой упал на деда Штиляна.

— Неплохо бы, — сказал я. — Дед Штилян подойдет как нельзя лучше.

— Вот и прекрасно! — согласился командир. — Зачисляю его к тебе заодно со всем инвентарем. Он будет у тебя и санитаром, и носильщиком, и завхозом, и связным — на все руки. Тебе ясно, дед Штилян?

— Ясно! — с готовностью ответил старик.

— Пока все. А теперь идите спать.

На складе было тихо и прохладно. В углу устроили постель из сена, пахнувшего клевером и зверобоем. Дед Штилян расстелил плащ-палатки, достал откуда-то одеяло. Впервые за последние дни я заснул с приятным чувством покоя и безопасности. Моя партизанская жизнь начиналась плохо, лучшего и во сне не придумаешь. Когда я открыл глаза, время перевалило за полдень; в двух

шагах от меня сидел на корточках дед Штиляп и смотрел на меня терпеливым взглядом собаки, ждущей пробуждения хозяина.

— Пора вставать, сынок. Люди ждут.

— Каких людей? — с удивлением спросил я.

— Те, которых ты осматривать будешь.

Эге, значит, у меня и пациенты появились! Оказалось, это не пациенты в полном смысле слова, а наша первое партизанское пополнение, которое Боян отправил на осмотр, как будто они призывались в армию, — пятеро крепких мужчин без малейших следов болезни. Только последний, самый молодой, заставил меня призадуматься.

— Какой-нибудь ручей есть поблизости? — спросил я.

— Есть, доктор. Возле самого лагеря.

— А мыло?

Оказалось, что мыла никто не захватил.

— На худой конец обойдешься и без мыла, — сказал я. — Беги к ручью и хорошенько искупайся.

Новоиспеченные партизаны дружно расхохотались.

— Теперь попятно, почему жена его выгнала! — воскликнул один из них. — Вот и теперь не знает, куда деваться...

Парень, красный как рак, глядел в землю.

— Вовсе и не выгнала! — пробурчал он. — Я сам убежал...

— Давай, Младенчо, без разговоров. Бегом к ручью.

Освободившись от «пациентов», я составил подробный список всего необходимого для операций и лечения простейших инфекционных заболеваний. Просмотрев второй раз список и добавив кое-что еще, я понес его в штаб. Боян сидел, склонившись над разобранный старой вышивкой.

— Я тоже доктор, — серьезно сказал он, — только по оружию. Давай посмотрим...

Я протянул ему список. Внимательно просмотрев его, он спросил:

— Без чего здесь можно обойтись?

Я призадумался.

— Пожалуй, без пургена.

— Что это такое?

Я в двух словах объяснил ему.

— Нет, без него тоже нельзя! — сказал он. — Ладно, попытаемся достать тебе все, что нужно.

Он заботился не зря. Впоследствии он оказался одним из первых моих пациентов. Шальная пуля угодила ему рикошетом в бедро, и я извлек ее по всем правилам искусства. Он так быстро поправился, что я сам удивился. Конечно, его быстрое выздоровление было приписано моему мастерству, и мои акции невероятно поднялись.

К концу разговора к нам в хижину зашел дядя Нико, или Максим, как его теперь называли. Он молча постоял рядом с нами и, когда я повернулся к выходу, пошел проводить меня. Я тоже молчал, но в силах забыть последний наш неприятный разговор, перед тем как я остался с раненым Виктором.

— Доктор, ты на меня не сердишься? — заговорил он первый.

— Не за что, — сдержанно ответил я.

— Не совсем так! — сказал он дружелюбно и даже ласково. — Но не помни ала, как говорит народ. Да и ты должен понять, что на мне лежит немалая ответственность.

У меня не было настроения продолжать подобный разговор.

— Мне кажется, я тебя понимаю, — с неохотой ответил я. — И все же я не люблю, когда кто-то берет на себя всю ответственность. Тогда другим не остается никакой и они превращаются из действующих лиц в статистов, как принято говорить на театральном языке.

— М-да! — пробормотал он. — Театральный язык... Но есть и революционный язык. И на революционном языке это называется демократическим централизмом.

Должен сознаться в своем политическом невежестве — лишь тогда я впервые услышал эту формулу.

— Неплохо звучит, — с иронией заметил я. — Нечто вроде эгоистического альтруизма.

Но Максим не рассердился.

— Придет время — поймешь, — добродушно ответил он.

— Возможно, — согласился я. — Но я не знаю, правильно ли ты понимаешь это сам.

— Поймешь, поймешь, — уверенно закивал головой Максим. — Практика тебе подскажет.

Никогда не забыть мне первую ночь в партизанском лагере — спокойную теплую ночь с ярким лунным серпом на усеянном звездами небе. Под деревьями на краю полянки горел небольшой костер. Вокруг разлеглись парти-

заны, беззаботно переговариваясь вполголоса. В то время поблизости еще не было воинских частей, и на душе у всех было спокойно. Незадолго до ужина Максим собрал нас и прочитал сводку с фронтов, которую он записывал, слушая весь день небольшой батарейный приемник. Особых новостей он не сообщил, но было приятно чувствовать себя в курсе событий. Поужинали мы горячей фасолевым похлебкой — настоящей, не похожей на тюремную. Я пошел в хижину, лег спать, но долго не мог заснуть, хотя и старался ни о чем не думать, ни о чем не вспоминать — воспоминания страшили меня. Я потому и лег в хижине, чтобы спрятаться от звезд. Внутреннее напряжение постепенно отпускало меня. И все же я чувствовал, что от меня струится какой-то пугающий меня самый холод. Горькая тоска заползала в сердце, как ни отгонял я от себя воспоминания последних дней. Наконец я не выдержал и вышел паружу. Дед Штилян лежал у порога, подперев локтем свой тощий подбородок и молча уставившись на догорающий костер.

— Ты почему тут разлегся? — раздраженно окликнул его я. — Ступай в помещение.

— Здесь мне лучше, сынок, — кротко ответил старик. — Я так привык.

Я медленно прошелся по лагерю — всюду спали. Только в штабной хижине теплился огонек, но я осторожно обошел ее. Никто не остановил, никто не окликнул меня. Немного развеяв тоску, я вернулся к нашей хижине.

— Что ты не спишь, сынок, спать пора, — сказал старик.

Взгляд у него был какой-то необычный; он, очевидно, догадывался, что творится у меня на душе. Сам не зная зачем, я подсел к нему и совсем нестати спросил:

— Дед Штилян, а паренька ты не забыл?

— Какого паренька? — вздрогнул старик.

— Которого расстреляли по ошибке.

Старик помолчал.

— Все время о нем думаю, сынок, — с горечью сказал он. — Из ума пойдет...

— А как ты думаешь, если отомстим за него, легче будет?

— Нет, не будет, — вздохнул старик. — От этого нам лучше не станет.

— А когда станет?

— Когда придем к ним.

В голосе его не было ни страха, ни горечи, ни даже смирения. Он сказал эти слова так спокойно и естественно, будто речь шла о небольшой прогулке в темный лес. Пораженный его тоном, я лишь взглянул на него и поспешил в хижину, где в этот поздний час еще сильнее пахло горным сеном. «Когда придем к ним...» Но там, где они, нет ни пеба, ни догорающего костра, который чуть мерцает под деревьями. Там, где они, нет ничего. Меня бросило в холод, я закутался в одеяло и зажмурился. «Ничего,— думал я.— Ничего, абсолютно ничего...»

Но наутро я проснулся со спокойным сердцем. Старика не было. Я вышел наружу и немного погодя увидел, как он поднимается из ложбинки у ручья с ведром в руках. Солнце еще не поднялось из-за гор, но небо на востоке уже искрилось. Раздался тревожный птичий гвалт: над головой у меня пролетела сорока, за которой гналась целая стая маленьких серых птичек. Старик увидел меня и улыбнулся.

Около полудня я снова заглянул к командиру. Он сидел один, держа в руках винтовочный затвор, и размышлял с таким сосредоточенным видом, будто в затворе таились все загадки мира.

— Пружинка сломана,— с досадой сказал он.— Эх, если б я мог достать сейчас новую пружинку...

— А укоротить ее нельзя?

Он с грустью покачал головой:

— Ты бы взял такую винтовку? Либо стрелы, либо пет. Нет, с винтовкой шутить не годится...

Вошел Спас. По его встревоженному лицу я понял, что стряслось нечто необычайное.

— Боян, часовые задержали около лагеря какого-то подозрительного человека,— сказал он.— Привести его сюда?

— Что в нем подозрительного? — спросил Боян, не поднимая глаз от затвора.

— Вооруженный. Говорит, что искал пас.

— Откуда он узнал, что мы здесь?

— Вот это и есть самое подозрительное,— ответил Спас.— Откуда ему знать, если мы тут всего несколько дней?

— Ладно, приведи его! — кивнул Боян.

Я остался из любопытства. Немного погодя дворь открылась, и в хижину, к моему изумлению, вошел Драган. Он сразу же заметил меня, но, против ожидания, не очень

удивился. Он скорее обрадовался и направился ко мне с протянутой рукой. Мы крепко пожали друг другу руки, по я, еще не придя в себя, не знал, что ему сказать.

— Вы знакомы? — в свою очередь удивился Боян.

— Еще как! — воскликнул я. — Познакомились третьего дня. Ведь я вам рассказывал!

— Тот самый... с больным ребенком?

— Он, — кивнул я. — А что с ребенком?

Лицо Драгапа помрачнело. Не спеша он рассказал нам о своих приключениях после того, как мы расстались. К рассвету он пришел в Зайчар и прождал несколько часов, пока откроют аптеку. Провизором оказалась какая-то молодая болгарка. Взяв рецепт, она долго рассматривала его и наконец сказала:

— Придешь через два часа.

— Но тут написано «спешпо»! — запротестовал Драгап.

— Не тебе меня учить! — одернула его провизорша. — «Спешпо» и значит, что через два часа.

Драгап вздохнул.

— Я понял, что она что-то заподозрила! — продолжал он. — Ты помнишь, на какой бумаге был рецепт? А может быть, она случайно знала подпись Лазара. Делать было нечего, я вышел на улицу, засел в одной харчевне и стал думать. Если она что-нибудь заподозрила, то будет проверять или прямо сообщит в участок. И я, вернувшись, могу угодить в капкан. Начнутся допросы: кто дал рецепт, где с ним встретился, что за человек?.. Наконец надумал и яйти к приятелю, тоже строителю вроде меня. Его-то я и послал к назначенному сроку — будто за аспирином. С порога Брапо сразу увидел двух агентов в штатском, которых весь город знает. Яспо... Он вышел и прямо ко мне. Думали, смекали — куда ни кишь, всюду клин. Надо же было записать фамилию ребенка! В городе меня знают, другого по фамилии Ваташки нет. Верпуть в деревню — там тоже сразу спадают. Деваться было пекуда, вернулся я домой, раскопал винтовку — и вот я тут...

— Вот ты тут! — педовольно пробурчал Боян. — А откуда ты знал, что именпо тут на нас наткнешься?

— Я не знал, что именпо к вам попаду, — ответил Драгап. — Но чабаны сказали, что вы где-то здесь.

— Немного подозрительно все это выглядит, — сказал Боян. — Когда тебе показали дорогу, и когда ты нашел нас... Денъ пути, не мепьше...

— Места мне знакомые,— отвечал Драган, насупившись.— И не в гости пришел, а с виштовкой.

— Каждый может таскать виштовку,— сердито заметил Боян.— Дай-ка ее сюда.

Драган протянул ему виштовку. Боян долго разглядывал ее, даже вышел на порог и осмотрел капал. Когда он вернулся к нам, вид у него был уже более спокойный.

— Как ты ее прятал? — спросил он.— И с каких пор?

— В двух мешках,— ответил Драган спокойно, но со сдержанной обидой.— Зарыл еще до того, как пришли ваши войска.

— М-да, недурно! — процедил Боян.— Запасся, значит? На всякий случай...

— Вообще не на всякий случай,— отвечал, пачиная сердиться, Драган.— Такая была директива.

— Вот как, директива! — кивнул Боян.— А ты член партии?

— Уже пять лет! — твердо ответил Драган.— Еще до армии...

— Так... А чем докажешь?

— Неужто, если не докажу, прогоните?

— Сейчас я спрашиваю. Чем докажешь?

— Сейчас не могу. Но проверьте в Зайчаре у Бранко.

Боян задумался; его узкий лоб покрылся мелкими морщинами.

— Мы в принципе просто так не принимаем,— сказал он.— Но если доктор поручится за тебя...

Повернувшись ко мне, он незаметно подмигнул.

— Ручаюсь головой! — с готовностью заявил я.

— Не торопись совать голову,— недовольно возразил Боян.— Все-таки это дело темного сомнительное.

Я тоже понимал, что есть повод для сомнений, но не хотел раскрываться перед Бояном.

Драган снова нахмурился:

— По правде говоря, я бы хотел остаться из-за доктора! Не думай, что, кроме вашего, других отрядов нет!

— Ладно, перестань болтать! — сердито отрезал Боян.— Раз я тебя зачислил, держись как постоянный партизан. Доктор, проводи его к Спасу, он все уладит.

Мы вышли. Спас был поблизости, но я не спешил к нему.

— Как ребенок?

— Вроде лучше стало,— со вздохом сказал Драган.— Авось поправится и без лекарств.

Я замолчал — не хотелось беречь ему душу. Кроме того, засевшее у меня в голове подозрение не давало мне покоя.

— Слушай, Драган, доверие за доверие... Отвечай, по без обмана. Откуда ты узнал, что паш отряд здесь?

Драган явно заколебался.

— Дед Штилян сказал мне, — с неохотой проговорил он.

— Когда?

— Еще в деревне. Перед вашим уходом. Точного места он и сам не знал, но... приблизительно. Остальное я действительно узнал от чабанов.

— Хорошо, а теперь ступай к Спасу, он зачислит тебя, — сказал я. — Потом поговорим еще.

Я не на шутку разозлился. То, что дед Штилян у меня за спиной выдал тайну отряда, смахивало на настоящее предательство. Я считал его преданным человеком, на которого можно положиться и на деле, и на словах, но оказалось, что это не совсем так. А уж его-то болтуном я бы никогда не назвал. Я торопливо запагал к нашей хижины, подбирал в уме самые жестокие слова. Дед Штилян сидел на корточках у порога и что-то строгал огромным старым ножом, неизвестно как попавшим к нему в руки. Он виновато поглядел на меня, будто издавека почуял мое воинственное настроение.

— Ты что это строгаешь? — сухо спросил я.

— Вешалку тебе делаю, — смущенно ответил он, не сводя взгляда с моего лица.

Я подсел к нему, все еще кипя внутренней яростью.

— Что случилось? — осторожно спросил старик. — Опять не ладили?

— Что случилось! — рявкнул я. — Случилось то, что ты пагло обманул меня.

— В чем же я тебя обманул?

— Хорошо знаешь в чем... Сказал Драгану место отряда...

Я пристально поглядел на него, но он даже бровью не повел, услышав неожиданное разоблачение.

— Да, я тебя обманул, — тихо сказал он.

— Зачем? Ведь я предупреждал тебя, чтобы ты помалкивал?

— Откуда мне знать зачем? — пробормотал старик. — Жаль мне стало парня. Я подумал: время нынче лихое, задумает зантра бежать, а куда — не знает. Глядь, и попа-

дет к злодеям. Почему же не помочь такому хорошему человеку?

Он говорил так бесхитростно и убедительно, что мой гнев наполовину испарился.

— У тебя все люди хорошие, овца ты этакая! — бранился я, уже с трудом выдерживая строгий топ. — А если бы он оказался шпионом?

— Как это он окажется шпионом? — возмутился старик. — Я ж говорил тебе, сынок, что знаю людей. Какой же он шпион, если он не шпион?

Я уже не знал, какие еще доводы привести ему.

— Ну ладно, проговорился так проговорился. Но почему ты меня не предупредил об этом?

Старик захлопал глазами.

— Я думал было сказать, — пробормотал он. — Но потом побоялся, что ты шибко рассердишься.

Я невольно расхохотался. Дед Штилян удивленно посмотрел на меня, но промолчал, явно довольный ходом нашего разговора.

— Слушай, так дело не пойдет, дед Штилян, — серьезно сказал я. — Если ты и дальше будешь так себя вести, я совсем потеряю доверие к тебе. А если человеку не доверяешь, на что он тебе?

Старик с беспокойством поглядел на меня:

— Но ведь я только лучшего хочу. Неужто ты думаешь, что я могу что-то сделать, отчего тебе плохо будет?

— Предоставь уж мне самому решать, что хорошо и что плохо.

— Да решай, решай, — замотал головой старик. — Пусть будет по-твоему... Хотя все вы как дети — не дай вам вовремя совета, как раз глаза себе и повыволете.

Он поднял голову и вдруг спросил:

— А как ты догадался, что я сказал Драгану?

— Как не догадаться, когда он уже здесь! Только что появился, да еще с выптовкой...

Лицо у старика прояснилось.

— Значит, я хорошо сделал! — радостно воскликнул он. — Если бы я не сказал, не найти бы ему нас. Теперь у нас одним человеком больше, да и он к хорошим людям попал.

Я понял, что если спорить дальше, то рано или поздно придется признать себя виновным. Возможно, что такова и была истина. Старик вдруг быстро поднялся с места.

— Я пойду! — сказал он. — Поздороваюсь с ним, как это принято у людей.

— Ступай поздоровайся! — пробурчал я. — И лучше не попадайся мне на глаза до вечера.

Тем и закончилась наша первая и последняя ссора. Пожав плечами, я зашел в нашу хижину. С первого же взгляда мне стало стыдно за то, что я так грубо обошелся со стариком. Все помещение светилось чистотой, насколько это слово применимо к жалкой хижине без окна. Пол был тщательно подметен, все вещи заботливо развешаны по стенам, постель оправлена и застлана. Комнатка стала как-то шире и приветливей и при наличии воображения могла теперь сойти за амбулаторию. Мне оставалось только беззаботно растянуться на удобной постели.

Так, лежбокой, я провел всю первую неделю в лагере. Дед Штильп регулярно менял сено для постели, еще тщательно подметал и убирал комнатку. В свободное время он ухитрился смастерить нечто вроде этажерки, хотя я так и не понял, откуда он раздобыл материал. Мой заказ все еще не был выполнен, но пока это меня не беспокоило, потому что все отличалось железным здоровьем. Конечно, такой сапаторный режим существовал только для меня — на остальных живого места не было от учений. Я всегда нитал отвращение к подобного рода занятиям и поэтому ни разу на эти учения не ходил. Я знал, что товарищи учатся стрелять, делать перебежки, атаковать укрепленные пункты. Я видел, как они, усталые до смерти, возвращаются к вечеру в лагерь и бросаются на землю, куда попало, лишь бы выспаться. Но я настолько втянулся в мое приятное безделье, что мне не хотелось даже думать об этом. Теперь я понимаю, что эта передышка была мне крайне необходима, иначе мои издерганные нервы изменили бы мне при первом же испытании.

Да и питание было неплохое в ту первую неделю. По сравнению с тюремной, пища была просто превосходной. Но однажды, когда я случайно заглянул в котелок деда Штильпа, меня охватило сомнение.

— Ты что принес мне? — небрежно спросил я. — Откуда ты это берешь?

— Ношу, что дают, — ответил не совсем уверенно старик.

Я испытующе поглядел на него:

— Опять будем хитрить?

— Зачем хитрить? — обиженно сказал оп. — Что дают, то и пошу.

— А потом от себя отливаешь мне?

— Что ты, что ты! Мое совсем отдельное.

— Ну ладно, пусть так! — перебил я его. — Другие то же самое едят?

Старик перевел дух. Ему очень хотелось обмануть меня, но на этот раз он не осмелился.

— Ну, не совсем то же самое, — педовольно ответил оп.

— Скажи им, чтоб давали точно то же самое.

— Сам скажи! — чуть не раскричался старик. — Я не могу. Люди видят, что ты захирел, хотят, чтоб ты поправился...

Значит, вот оно какое дело! Я бездельничаю, а меня откармливают, как поросенка. Пришлось пойти к командиру. Боян, как обычно, не перебивая, выслушал меня, а потом сказал:

— Хорошо, доктор, зачислим тебя на общий котел.

Что-то слишком быстро он согласился! Это даже немного задело меня.

— И я хочу ходить вместе со всеми на учения, — раздосадованно добавил я.

Лишь только я это сказал, как понял, что увлекся, по отступать уже было некуда. Боян улыбнулся:

— Думал я и об этом, но так ничего и не решил. У тебя офицерский чин, а я всего лишь младший унтер-офицер. Некому тобой командовать.

Я понял, что он шутит, но упорствовать уже не хотелось. Я собрался было уходить, как он, будто вскользь, заметил:

— Но я посоветовал бы тебе выходить хотя бы на утреннюю зарядку. Ведь ты как-никак врач — сам понимаешь.

— А я бы посоветовал тебе выстирать рубашку. Ведь та как-никак командир — сам понимаешь.

Не сказав ни слова, оп скинул рубашку:

— Дай ее деду Штилянцу, пусть выстирает. Впрочем, если тебе неудобно, можешь и сам... — Заметив на моем лице недоумение, он серьезно пояснил: — Ведь как-никак я командир...

— Но не нового типа, — засмеялся я и попросил рубашку деду Штилянцу.

На следующий день мне пришлось вести разговор с дядей Нико, и, как всегда, неприятный. Он посетил меня в

моей амбулатории и, разглядев все вокруг, опустился на одно из вкопанных в землю сидений, сделанных искусными руками деда Штиляна.

— Ты неплохо устроился,— равнодушно сказал он.

Очевидно, мысли его витали где-то в другом месте. Именно в этот момент дед Штилян просунул свое тощее личико в полуоткрытую дверь.

— Подожди за дверью,— строго сказал ему Максим.

Дед Штилян исчез с проворством суслика.

— Вчера вечером мы выбрали тебя членом штаба,— начал Максим веским тоном.— Мне поручили информировать тебя. И спросить, согласен ли ты...

Новость изрядно меня удивила. Беспартийного выбрали членом штаба! Вряд ли это было делом рук Максима.

— Благодарю за доверие! — сдержанно сказал я.

— Завтра у нас заседание,— продолжал он в прежнем тоне.— И я не скрою, что надеюсь на твою поддержку.

Он выжидательно поглядел на меня, но я благоразумно промолчал. В конце концов, если он затеял какую-то комбинацию, пусть попотеет, я не буду ему помогать.

— Дело в том, что мы слишком засиделись здесь,— продолжал он уже более горячо.— Ты сам видишь, в какое время мы живем. Фронты кипят, все папрягают последние силы, чтобы решить исход гигантской битвы. Сейчас не только каждое сражение, но и малейшая схватка — историческая. Решаются судьбы человечества, а мы бездельничаем. Прав я или нет?

Может быть, он и был прав, но зачем он говорил языком радио? Поняв по-своему мое молчание, он настойчиво продолжал:

— По-моему, наша задача лишь в одном — отвлечь на себя как можно больше сил противника. Пусть мы оттянем только роту или даже взвод из немецкой армии — мы облегчим этим борьбу наших братьев, которые сейчас изнемогают на фронтах. Все остальное равносильно предательству.

Последнее слово словно хлестнуло меня по лицу.

— Ты немного сгущаешь краски,— пробормотал я.— Неужели у тебя повернется язык назвать предателями людей, которые пришли сюда умирать?

— Подумай — и ты увидишь, что объективно получается именно так.

— Это словечко «объективно» не такое уж простое,— ответил я.— Если мы не будем подготовлены, нас пере-

бьют в первом же бою, и тогда фронты, о которых ты говоришь, объективно даже не почувствуют нашей жертвы.

Максим с подозрением поглядел на меня.

— Тебя тоже заразили этой оппортунистической теорией? — спросил он, нахмурившись. — А по-моему, нет и не может быть лучшего боевого учения, чем боевая практика. Так фактически сказал Сталин.

Последние слова он произнес таким тоном, будто именно ему Сталин доверил свое открытие.

— Пока я ничего не могу тебе обещать, — сказал я терпеливо. — И считаю, что ты не прав. По-моему, истина еще не родилась, она возникнет лишь сегодня вечером в ходе нашей общей дискуссии.

— Хорошо, — холодно бросил Максим, вставая с места.

Вечером, на заседании штаба, я не поддержал его. Даже наоборот. Когда уже поздней ночью я выходил из штабной хижины, Боян чуть заметно похлопал меня по спине. Усмехнувшись про себя, я твердым шагом направился к своей амбулатории. Там, прикорнув на пороге, меня поджидал мой старик.

Я хорошо помню наше первое боевое выступление, бескровное, как детская игра в солдатики. Была ночь, я лежал на спине в пересохшем речном русле и смотрел в затянутое тучами небо. Где-то в горах грохотал гром, зарницы освещали дальние вершины. Это не входило в наши расчеты, дело падо было закончить раньше, чем гроза разразится над нашей головой. Я лежал и прислушивался. Кушечики умолкли, со стороны шоссе давно уже не слышалось скрипа колес и топота копыт. Настроение было приподнятое, я терпеливо ждал событий. Наконец около полуночи подоспел сигнал, и товарищи тотчас же ползком двинулись к мосту. Мост был небольшой, но через него, как сквозь сердечный клапан, шло кровообращение всего оккупационного корпуса. Я остался наедине с ледом Штиляном. Он лежал рядом, ниже меня по склону, бережно прижимая к груди санитарную сумку.

— Отложи ее в сторону! — сказал я. — Не попадется.

— Пожалуй, так! — ответил старик.

Я уловил в его голосе тайное огорчение и невольно улыбнулся. Всю неделю он с мальчишеским увлечением укладывал в сумку бесчисленные пузырьки, бишты, вату,

пока я не прикрикнул на него, что он грязпит стерильный материал. Тогда он повесил сумку на стену, но я часто заставлял его перед ней со скрещенными на груди руками, как перед иконой. Кто знает, какие давние старческие мечты обуревали его в бессонные ночи? Наверно, ему чудилось, что он посится со своей сумкой под градом пуль, оказывая всем помощь и милосердие.

Через полчаса почти все вернулось. Боян лег рядом со мной и тихо прошептал:

— А теперь слушай!

Я прислушался. Через несколько минут раздался оглушительный взрыв, где-то зашлепали по земле обломки камня и железа. Немного погодя вернулась и группа подрывников. Подхватив оружие и амуницию, мы повернули к лагерю. Все молчали, только дед Штиляв вдруг робко спросил:

— Может, кто ранен?

Никто не ответил, все спешили как можно скорее уйти от места взрыва. Боян в нескольких словах рассказал мне, что произошло. Группа Спаса сначала сняла часового, а затем обезоружила всю охрану в караульном помещении. Наскоро прибрав обмундирование и вооружение, подрывники заминировали мост, сделав все быстро и легко, как на учениях. Теперь мы шли с собой еще одну самозарядную винтовку и несколько автоматов, но оружие не оттягивало плечи, а словно окрыляло нас. Лишь на следующий день, когда Драган вернулся из разведки, настроение у нас испортилось. Взрыв оказался далеко не из удачных — либо не хватило взрывчатки, либо ее неумело распределили. Так или иначе, но через два дня саперные части исправили повреждение и железный клапан снова завульсировали.

Через несколько дней мы нанесли новый удар — безпарочно сожгли амуниционный склад корпуса. Но третья вылазка — против пороховых погребов — оказалась неудачной: нас обнаружили и открыли сильный огонь. Вот тогда-то и ранили Бояна, но рана, к счастью, оказалась неопасной. Наконец сбылась мечта Максима — против нас выслали целый пехотный батальон с минометным взводом. Около месяца этот пехотный батальон лениво ползал по горам, время от времени посылая наобум в какое-нибудь ущелье мишу или же затеяв бестолковую стрельбу. Мы внимательно следили за каждым его шагом, ловко и без папики маневрировали и, к негоднованию Максима,

вовсе не рвались в драку. Батальоном командовал пекий майор запаса, который подымал шум, чтобы как-то оправдать свой поход, и, судя по всему, старательно избегал встречи с нами. Не было никакого смысла бесить или компрометировать его, так как его могли заменить кем-нибудь более старательным или более озлобленным и тогда нам пришлось бы расплачиваться напрасными жертвами. Дело кончилось тем, что они разгромили наш временный лагерь и арестовали по подозрению нескольких наших товарищей в деревнях. Но товарищи выдержали, а строить новый лагерь не пришлось. Когда батальон отошел, мы снова вернулись на нашу старую стоянку. Дед Штилян чуть не расплакался, увидев пепелище на месте нашей амбулатории, которую он так бережно и любовно убирал. Но вскоре и он утешился, потому что мы перебрались на более удобную стоянку в глубине гор. То была покинутая жителями деревушка, где мы и расположились под надежными и крепкими крышами. И здесь нам под амбулаторию отвели самый солидный дом, сложенный, как крепость, из крупных каменных плит.

Так незаметно подошла осень. И именно в эти дождливые и сыкотные месяцы мы втянулись в долгую кровавую распря с четниками Драже Михайловича. Храбрые и жестокие в боях, они превосходили нас и численностью, и вооружением. Единственное, что срабатывало в нашу пользу, была их беззаботность и полное отсутствие какой-либо воинской дисциплины. Они первые падали на нас в нашей деревушке, и после короткой схватки мы отступили. А они расположились на ночевку в наших квартирах, из которых мы даже не успели вынести все вещи. Это, разумеется, не относилось к нашей амбулатории, из которой дед Штилян вынес все до последнего пузырька. Всю ночь мы наблюдали с близкого расстояния, как четники жарят барашков и наливаются грушевой водкой. Рано поутру мы падали на них и перебили почти всех. Но на их место пришли две новые четы — гораздо лучше вооруженные и более осторожные в своих действиях. Началась затяжная борьба не за жизнь, а за смерть.

Не хочется вспоминать о тех гнусных месяцах. Повседневная изматывающая борьба больше всех изводила Максима. Вместо того чтобы привлечь на себя отборные немедские части, мы сцепились с этими грязными бородачами-четниками, рослыми и здоровыми, как медведи, которые сами не знали, за что воюют. Кровь лилась с

обеих сторон, с их стороны чуть больше, но нам от этого было не легче. Они подкарауливали нас днем и ночью. Их пули свистели над головами наших патрулей и часовых, но замучить нас не удалось — мы остались на своей базе. И они не посмели повторно атаковать ее, видно поняв, что она хорошо укреплена. Так или иначе, время приятного безделья для меня кончилось, теперь мне приходилось что ни день перевязывать кровавые раны. Кроме того, отряд значительно вырос — теперь у нас было около шестидесяти бойцов, в большинстве сербов, которые с особым остервенением набрасывались на своих собратьев и безжалостно истребляли их. Однажды мне еле удалось вырвать из их рук раненого четника, которого они ухитрились взять в плен. Пока его тащили на носилках к моей амбулатории, меня пагпал Боян.

— Доктор, ты напрасно стараешься, — хмуро сказал он. — Он не уйдет отсюда живым.

— Постыдись! — сердито сказал я.

— Как бы тебе не пришлось устыдиться! Если мы его отпустим, он тут же пристрелит кого-нибудь из твоих товарищей. И притом в спину, по обычаю четников.

В этом он был прав — большинство попадавших ко мне раненых были ранены в спину, из засады.

— И все же не так страшен черт, как его малюют, — пробормотал я педовольно.

Раненого отнесли в амбулаторию. Как всегда, мне ассистировал дед Штилян, второй санитар сидел у двери и молча обгрызал кукурузный початок. Пуля попала четнику куда-то под ключицу, и его огромная черная борода мешала мне разглядеть как следует рану.

— Дед Штилян, остриги его! — сказал я с отвращением.

Старик взял медицинские ножницы и довольно небрежно обкорпал провонявшую бороду. Стриженный-педостриженный, четник выглядел еще страшнее, его лихорадочно блестящие глаза с какой-то скрытой злобой следили за каждым моим движением. Не обращая на него большого внимания, а приподнял ему нижнюю челюсть, чтобы лучше разглядеть рану. В тот же миг он так яростно вцепился мне зубами в руку, что мне пришлось ударить его другой рукой, чтоб он меня отпустил.

Дед Штилян, побледнев, с ужасом глядел на четника.

— Боже, какой зверь! — воскликнул он. — Давай выбросим его за дверь, доктор, это не человек.

Но я не выбросил его, а хоть и кое-как, но перевязал. Весть о «подвиге» четника сразу же разнеслась по всему лагерю. Когда наутро я пришел делать ему перевязку, его уже не было.

За эти месяцы сильнее и ярче всего в мою память врезался образ деда Штиляна. Впрочем, не только я его запомнил, но и все оставшиеся в живых. Самое странное было то, что он день ото дня менялся и с каждым днем становился все более непонятным и неузнаваемым. Чем больше мы прижимались к земле и зарывались в холодную осеннюю грязь, тем больше он поднимался и над землей, и над нами. Казалось, что заботы и страдания не только не старят его, а, наоборот, придают жизни. Правда, лицо его осунулось и весь он стал тоньше и суше, но глаза его блестели, а движения становились все энергичнее и проворнее. За все эти тяжелые месяцы он ни разу не обессилел, не пал духом, ни на что не пожаловался. Он почти не спал, я не видел его за едой, если он вообще что-нибудь ел. Он сновал от одного раненого к другому и так хорошо делал перевязки, что под конец я совсем перестал проверять его.

Довольно странно держался дед Штилян и во время кровавых столкновений с четниками. Для него, казалось, не существовало ни пуль, ни смертельной опасности. По полю сражения он расхаживал невозмутимо, в полный рост, будто собирал в лесу грибы. Пули свистели мимо ушей, но он обращал на них не больше внимания, чем на комаров. Было нечто загадочное, невероятное, даже жуткое в его пренебрежении к смерти. То был совсем не тот старик, с которым я познакомился в свои первые дни в тюрьме. Тогда он был похож на загипнотизированного гадюкой беспомощного мышонка. Стоявшая за его плечом смерть лишала его сил. Теперь же он стал совсем другим человеком, словно смерть для него просто не существовала. Он в самом себе перемолол смерть и отрипнул ее, бессильную и беспомощную. Во всем его поведении сквозило нечто неестественное, сверхчеловеческое, что подчас меня раздражало. Его не только ни разу не ранило, но даже не оцарапало. Суеверный человек, наверно, подумал бы, что старик заключил тайный договор со смертью. Однажды я даже не стерпел и отругал его:

— Послушай, дед Штилян, это ни на что не похоже. Уж не думаешь ли ты, что тебя пуля не берет?

— Как не берет! — ответил старик, озарив меня голу-

бым прозрачным светом глаз.— Берет и меня, по, видно, я ей не по вкусу.

— А ты на это не рассчитывай. Глядь, и придешься по вкусу...

— Хотя бы и так — все равно не страшно,— ответил он.— Ведь жизнь у меня дареная.

Я не сразу понял, что он хочет этим сказать.

— Как то есть дареная?

— Дареная,— настойчиво повторил он.— Ты мне подарил ее и твои товарищи. Вы меня избавили от чудовища, сами голодали, а меня спасли. Что ж я теперь о своей жизни думать буду?

Разговор шел в нашем госпитале. Он встал с места и, отжав мокрое полотенце, подошел к раненому, тихо стоявшему на больничной кровати. Рана была тяжелая, и мы все время следили за ним.

— Ты что там делаешь?

— Надо обтереть ему лицо,— кротко ответил старик.

Он не страшился, как другие, ни ран, ни раненых с их горькими страданиями и не избегал их, видимо убежденный, что все это неизбежное житейское дело. Мне иногда даже казалось, что ему не особенно жаль умирающих. Однажды ночью внезапно скончался один из его знакомых односельчан. Дед Штилян разбудил меня среди ночи, но, пока я одевался и собирался, он уже закрыл глаза покойнику.

— Отмучился! — сказал дед Штилян без горечи.

«Отмучился!..» Может быть, в его душе зародилось какое-то идиотское мистическое чувство, которое заставляло его смотреть на жизнь как на кратковременное страдание среди безбрежного моря мира и вечного спокойствия? Сейчас он бережно отирал мокрым полотенцем лицо раненому, и в каждом его движении сквозила любовь и забота. Нет, с ним поистине нужно было говорить на каком-то ином языке.

— Послушай, дед Штилян! — начал я.— Известно, что каждый может распоряжаться своей жизнью как хочет. Но не в том дело...

Он лишь полуобернулся в мою сторону.

— Да, не в том дело! — продолжал я.— В конце концов, человек не один живет на этом свете. Если не думаешь о себе, подумай о других. Кто лучше тебя может ухаживать за ранеными и больными?

На лице старика отразилась растерянность. Он подошел

к лампе, убавил фитиль и подсел ко мне. Его фигура в белом как-то странно светилась в полумраке.

— Так-то оно так, сыпок. А все ж что-то тянет меня туда... к ребятам...

Я так и обомлел от его слов и долго не пахотил, что ему сказать.

— Беда в том, что и тут ты ошибаешься, дед Штиляп, — проговорил я со вздохом. — Ошибаешься, если думаешь, что есть какой-то тот свет, где мы снова встретимся. Поверь мне, нет того света. Они ушли в ничто. Страшно сказать, по это так.

Старик поник головой.

— Не может быть, чтоб в ничто, — возмолвился он.

— Именно в ничто. Такова голая истина. Остальные люди придумывают для своего утешения.

Старик медленно замотал головой, и я не мог понять, соглашается он со мной или позоражает.

— Пусть по-твоему, сыпок! — тихо сказал он. — Но неужто в этом твоём «ничто» они должны остаться одни-одиношеньки?

Окающий старик, одним неожиданным словечком может схватить за душу... «Одиношеньки»! Как только ему в голову пришло!

— Вообще не одиношеньки! — впервые возразил я. — Их там не счесть — миллиарды. Мы здесь одиношеньки, мы, те, что живем.

Старик с недоумением поглядел на меня, потом встал с места и снова подошел к рапелому. До утра мы не пропали с ним ни слова, но мне показалось, что после нашего разговора он стал осторожнее.

Снова потекли дни и недели, от которых в памяти осталась только кровь. Иногда она лишь капала, иногда била фонтаном, забрызгивая глаза. Кровь и кровь! Я был в ней по локти, она сохла у меня на лице, мой белый халат иногда громыхал, как брезент, от занекшейся крови. Редки стали спокойные, без выстрелов, дни под тихим и ясным небом. Тогда удавалось улечься минутку и заглянуть в штаб, чтобы перекинуться словом с Бояном и Максимом, которые с каждым днем все более мрачнели и ожесточались. В долгих разговорах мы строили всяческие планы, как отделаться от мерзкого бородатого чудика, которое вцепилось в нас когтями. Максим предлагал переброситься в другой район, но на этот раз воспротивился Боян. Быть может, в нем заговорило озлобленное честолю-

бие, или же он полагал, что все районы одинаковы и, испугавшись одного противника, мы легко станем добычей другого. После таких дебатов я поздно возвращался в нашу госпиталь, где меня всегда поджидал старик, ничего не говоря, ни о чем не расспрашивая. В сущности, мы вообще с ним почти не разговаривали, лишь изредка обменивались случайным словом. Мне казалось, что я сам в этом виноват: вероятно, это я создавал вокруг себя барьер, который никому не удавалось преодолеть. Только теперь я понял, что совсем не знаю старика. А раньше я полагал, что и узнавать-то нечего, что старик всю жизнь был таким, каким я его вижу. Наверно, он интересовался мной гораздо больше, но из уважения ко мне не решался вдаваться в расспросы. Я часто замечал после нашего последнего разговора, что он украдкой следит за мной взглядом, но каждый раз, когда я оборачивался к нему, он отводил глаза. И все же раз я успел заглянуть в них, и мне показалось, что в его взгляде затаилась какая-то певедомая боль, как перед прощанием. Я повернулся на табуретке и пристально поглядел на него.

— Дед Штилян, я никогда тебя не спрашивал: ты был женат?

Мне показалось, что мой вопрос и обрадовал, и смутил его.

— Не был, — коротко ответил он.

— Почему?

— Как почему? Так уж получилось... Ты помнишь, я рассказывал тебе про змею?

— Ну да. Но что из этого?

— Ведь я как избавился от нее, так и не вернулся домой. Ребичество, конечно, но уж очень я тогда обиделся. Да и было за что — как никак отец, а за весь день не хватил меня, не догадался пойти посмотреть, что со мной. Я пошел к тетке, материнной сестре. Кроме нее, у меня не было никакой родни. Она жила в соседней деревне, куда вышла замуж. Ты не поверишь: когда я добрался до нее, ноги у меня стали синие-пресиние, как чернила, — так отхлестал меня хвостом проклятый полоз. Рассказал я тетке все с пачала до конца. Она посетовала, поплакала, но взяла меня к себе, хоть и в пужде жила. Было у нее четверо детей, я стал пятым. Ладно, но они выросли, разбрелись, кто куда, и ходить за пей стало некому. Делать нечего, приютил ее у себя и ходил за ней, пока она не скон-

чалась. В такой бедный дом, сынок, ни одна девушка не пойдет. Так я и остался без ничего...

Эта короткая грустная история отбила у меня всякую охоту к дальнейшим расспросам. Прошла ли любовь мимо него, обернулась ли горечью, я не посмел спросить. Да и обстановка не располагала к таким разговорам — мы погрязли в горе и крови.

Вскоре Боян решился на отчаянный шаг — попробовать вступить с четниками в переговоры. Мы послали к ним парламентаря из местных сербов, который несколько месяцев служил у них. Он так и не вернулся, его убили, не соблаговолив прислать нам какой-нибудь ответ.

Это совсем взбесило Бояна. Мы поняли, что остается лишь один выход — нанести им сокрушительный и решительный удар. На лобовую атаку рассчитывать не приходилось, а придумать что-либо другое было трудно. Все же мы решили подстеречь благоприятный момент и пустить в ход какую-нибудь хитрость. У нас в памяти еще было свежо воспоминание о разгроме их первой четы. Надо было найти подобный случай, но, разумеется, самым больше не подкидывать им повода для празднества. Поразмыслив, мы остановились на дне Михаила Архангела, когда много именинников, а четники не упускали случая погулять и мертвецки папиться. Если удастся застичнуть их врасплох во время пьянки, то наши шансы на успех многократно возрастут.

В то время четники расположились лагерем в захваченной ими небольшой деревушке, где осталось несколько мирных крестьянских семей. Деревня была очень неудобна для внезапной атаки. В отличие от всех окрестных деревень, она была расположена на высоте, господствующей над местностью. Лишь с одной стороны высота соединялась узким гребнем с горным плато. По этому гребню проходила единственная дорога, соединявшая деревушку с остальным миром. Со всех других сторон спускались пропасти и почти непроходимые крутые откосы, по которым карабкались лишь козы. Четники чувствовали себя на своей вершине в полной безопасности, потому что единственную дорогу легко было перекрыть одним лишь пулеметом. В этом была их сила, но в то же время и слабость, которую мы намеревались использовать.

Подготовка к атаке продолжалась около двух недель. Каждая группа и каждый боец точно знали свою дорогу и место, к которому должны были выйти. В Михайлов день

весь отряд был поднят по боевой тревоге. На этот раз в вылазке участвовали все, даже легко раненные. Моя санитарная команда была придана небольшой боевой группе, которой предстояло атаковать дорогу. Именно ее действия должны были обеспечить неожиданность нападения. Будучи малочисленной, она была вооружена лучше остальных — нам дали два ручных пулемета «брен» и несколько автоматов. Даже дед Штиляп получил маглихеровскую виптовку. Я все утро смотрел, как он щелкает затвором и прицеливается. Зрелище было настолько необычным, что я невольно рассмеялся.

Старик конфузливо поглядел на меня.

— Подзабыл малость, — пробормотал он. — Но стрелять я умею, служил в армии. Только ружья у нас тогда были другие, французские.

Основное боевое ядро вышло из лагеря сразу же после захода солнца. Наша группа собралась в госпитале, где было достаточно места для всех. Командовал нами Спас, хотя его раненая нога еще давала себя знать. Один пулемет достался Драгану, другой — лучшему стрелку отряда, молодому парнишке — сербу с сипеватыми, заячьими ушами. Вместе со Спасом нас собралось восьмеро, но у меня сложилось впечатление, что остальные смотрят на нашу санитарную команду скорее как на обузу, чем как на реальную силу. Наш командир, очевидно нервничая, то и дело окидывал нас беспокойным взглядом.

— Задача ясная! — заговорил он, глядя на нас в упор. — Надо прибыть точно вовремя и открыть огонь, только и всего. Четники, конечно, набросятся на нас. Мы должны любой ценой устоять, иначе все пойдет к чертям. — Он неожиданно уставился на меня: — Доктор, от тебя требую лишь одного — потише! Если нас почуют раньше времени, то все пропало.

— Знаю, знаю! — обиженно отозвался я.

— Знаю, что знаешь. Но что ты видишь в своих очках, мне не совсем ясно.

— Оставь человека в покое, глаза у него соколиные! — проворчал дед Штиляп. — За собой смотри — топаешь, как медведь.

Ровно в десять вышли и мы. Погода была ненастная, время от времени накрапывал дождик. Как только мы покинули деревню, ночь показалась мне такой до отчаяния темной, что я потерял веру в успех нашей вылазки. На

первых же ста метрах я дважды споткнулся, причем второй раз с таким шумом, что Спас сердито прикрикнул:

— Доктор, о чем мы говорили?!

— Иди за мной, сынок! — шелшул мне старик. — Ступай по моим следам.

Минут через десять мои глаза свыклись с темнотой, и я зашагал увереннее. И все же я не мог себе представить, как остальные будут в непроглядной тьме карабкаться вдоль пропастей, ползти по невидимым козьим тропинкам, и притом бесшумно, так, чтобы не сдвинуть с места какой-нибудь камень, который с грохотом покатится в ущелье. А ведь весь успех операции основывался именно на том, чтобы наши подползли незаметно. Как только мы откроем огонь, остальные, воспользовавшись суматохой, должны быстро проползти оставшуюся сотню метров и ворваться в опустевшую деревню, в тыл четникам. «Интересно и прекрасно как план, но невыполнимо на практике», — с тревогой думал я. То, что накануне казалось мне гениальной выдумкой, теперь выглядело легкомысленной авантюрой.

Часа два мы двигались форсированным маршем. Непонятно было, как другие ориентируются в кромешной тьме, мне же казалось, что мы идем по кругу. Часам к двенадцати мы сделали привал на десять минут — не для отдыха, а потому, что опередили график. Я молча опустился на землю рядом с дедом Штиляном. Ночь была холодная, но я пропотел насквозь. Через несколько минут меня стал бить озноб.

— Если задержимся тут, я раскашляюсь! — пробормотал я испуганно.

Таким беспомощным я не чувствовал себя даже в те дни, когда мы с дедом Штиляном брели по незнакомой равнине.

— Упрись мне спиной в спину, сынок! — прошептал старик. — Согреешься...

Действительно, я согрелся. Немного погодя Спас командовал:

— Подвигайся! И потихоньку, доктор, помни, что я говорил тебе.

— Оставь в покое доктора! — огрызнулся Драган. — За собой смотри.

Мы снова двинулись вперед, но гораздо медленнее, по чуть заметной тропинке, часто останавливаясь и прислушиваясь. Через полчаса я догадался, что мы вышли на

грбець. Словно из-под ног дул пронзительный ветер, взметая редкие снежинки. Приблизившись к невидимой во мраке деревушке, мы разделились на две группы по четыре человека. Наша группа под предводительством Драгапа отклонилась вправо и пошла по размякшей пашне. Узкая каменистая тропа осталась в стороне, ее светлая полоска еле виднелась во тьме. Мне казалось, что мы идем уже много часов, с трудом выдирая ноги из липкой глины. Горло у меня пересохло. Потом заныла селезенка. Я плелся, патаясь из стороны в сторону, чувствуя, что вот-вот поскользнусь и упаду. Деревушки по-прежнему не было видно, и я понятия не имел, где и когда мы остановимся. И еще одно меня угнетало: если придется стрелять, хватит ли у меня силы снять со спины автомат?

Вдруг кто-то крикнул во мраке:

— Стой! Кто там?

Миг тишины, затем протрещал автомат. Окрик не повторился. Где-то левее послышался хриплый голос Спаса:

— Бегом вперед!

Я со всех ног побежал за всеми. Страшно было слышать, как шаги бегущих впереди замирают вдали. Я попытался прибавить ходу, но поскользнулся и упал. Голова сразу отяжелела, как камень, и я с силой вжался лицом в грязь. Попытался подняться, но голова у меня кружилась, как у пьяного, и я никак не мог отлепить ее от грязи.

И вдруг в сотне метров передо мной затарахтел пулемет. Я хорошо видел вылетающие из дула огоньки.

— Ложись! Огонь! — крикнул кто-то впереди.

Очевидно, то был голос Драгапа, хриплый и яростный. Дрожащими руками я попытался скинуть автомат, но мне никак это не удавалось. Остальные бешено отстреливались, не жалея патронов, только мой автомат молчал. Наконец мне удалось снять его, я лихорадочно направил его вперед и нажал спуск. Ясный и четкий треск автомата окончательно привел меня в чувство.

— Доктор, где ты? — раздался голос впереди.

Я еле узнал голос деда Штиляна. Я долго беззвучно напрягал горло, пока наконец мне удалось крикнуть:

— Здесь я! Иду!

С мучительными усилиями я полз вперед и вперед. Наверно, старик услышал меня, потому что снова подал голос, и уже спокойнее:

— Сюда, сюда! Чуть левее!

Я пополз влево, время от времени останавливаясь и стреляя. С противной стороны тоже стреляли, на этот раз два пулемета, но свиста их пуль не было слышно. Вдруг я наткнулся на чью-то темную фигуру.

— Сюда, доктор, место хорошее! — оживленно воскликнул кто-то без тени испуга в голосе. — Укройся за камнем и стреляй.

У меня сразу спало лихорадочное возбуждение, осталась лишь омерзительная усталость. На беду, я не разглядел поблизости никакого камня, и мне пришлось стрелять с места. По коротким очередям я догадался, что передо мной залег Драган со своим ручным пулеметом. Но где дед Штиляп? Вскоре я расслышал и его одиночные выстрелы: из всех нас четверых только он был вооружен винтовкой.

Огонь против нас усиливался с каждой минутой. Очевидно, четники подходили из деревни, залегали, где кто мог, и открывали стрельбу. Теперь уже пули свистели над головой, я слышал, как они забиваются в грязь. Мне представлялось чудом, что мы все еще живы под этим огненным дождем. Очевидно, мы слишком вырвались вперед: надо было остановиться там, где нас обнаружили противник.

Усталость у меня прошла, теперь я крепко и уверенно держал в руках автомат. Но отряд паш почему-то не подавал никаких признаков жизни. По моим расчетам они должны были давно уже вступить в бой. Неужели они заплутались в ущельях и теперь все еще ползут наверх, с ужасом переживая свое опоздание? Или еще хуже: они уже поняли, что вообще не смогут присоединиться к нам? Наше положение становилось критическим, а станет и безнадежным, если четники догадаются, какие силы выступают против них.

И вдруг в деревне с глухим грохотом разорвалась ручная граната. Я чуть не закричал от радости — это могли быть только паша. Наконец-то они бросились в атаку. Мы были спасены.

И действительно, огонь против нас сразу прекратился. Ясно было, что четники растерялись и не могли сообразить, что делать. Может быть, они повернулись к нам спиной, тщетно пытаясь разглядеть во тьме возникшего из бездны неприятеля. Взорвалось еще несколько гранат, а затем послышалась дружная стрельба со стороны крайних домов деревни. Четники ответили, но стреляли они

беспорядочно и неуверенно, чувствовалось, что они в панике бросились бы бежать, если б было куда.

Бой продолжался около часа. К несчастью, в деревне загорелось несколько домов и вязкая пашня осветилась кровавым заревом пожара. Ничего хуже не могло случиться. Четники могли разглядеть, что против них в поле лишь несколько человек, и снова атаковать нас. Для них это был единственный способ разорвать обруч. Но они медлили, наверно полагая, что им будет легче справиться с нападавшими с тыла. Наш отряд в деревне так папирал на них, что у четников не оставалось времени поразмыслить. И все же через полчаса я заметил, что огонь против нас стал гораздо точнее. Они так же хорошо видели нашу позицию, как и я. Драган залег шагах в двадцати от меня на открытом месте. На фоне зарева я ясно видел его затылок и чернеющее дуло пулемета. Видел я и деда Штиляна, лежащего слева от меня. Я не видел нашей второй четверки, но слышал, как они стреляют с другой стороны каменной тропы. Стреляли они по-прежнему энергично; я догадывался, что они не потеряли ни одного бойца. Но все равно наша жалкая цепочка не выдержала бы, если бы вся свора бросилась на нас.

К нашей радости, огонь четников слабел с каждой минутой. Ряды их редели под перекрестным огнем. После я узнал, что многие из них, побросав оружие, бежали к единственному месту, откуда не было стрельбы, — к пронастям слева и справа от дороги. Быть может, необходим был последний отчаянный бросок, чтобы окончательно сломить их сопротивление.

Вдруг пулемет впереди умолк. Вначале я подумал, что Драган либо бережет патроны, либо они кончились. Он лежал неподвижно передо мной, уткнувшись лицом в землю. Смутная тревога заставила меня приподняться. Тотчас же послышался возглас деда Штиляна:

— Драган!

Драган молчал.

— Драган! — еще громче крикнул старик.

Темная фигура впереди по-прежнему молчала. Нет, не может быть, чтобы он не слышал. Дед Штилян окликнул его еще раз, а потом встал и пошел к нему. Он шел во весь рост, забыв про осторожность; его топкую фигуру, освещенную пожаром, было видно за километр.

— Ложись! — завопил я вне себя от бешенства. — Ложись, дурак! И ползи!

Он поглядел на меня, но ничего не сказал. Подошел к Драгану, он, не торопясь, склонился над ним. Я видел, как он потрогал его, как он что-то ему говорил. Затем, положив выптовку на землю, он взял Драгана на руки. Я глазам своим не верил — старик несет рослого мужчину, как ребенка. Наверно, тот ранен? В противном случае старик не понес бы его назад. Дед Штиляп шел медленно, слегка пошатываясь. В пяти-шести шагах от меня он вдруг замер на месте, будто его дернули сзади, и медленно повалился лицом в грязь.

Я даже не успел ахнуть от ужаса. Вскочив на ноги, я после короткой перебежки залег рядом с ним. Темная грудa не шевелилась. Залитая кровью голова Драгана была ко мне ближе всего. Дрожащими руками я сорвал с нее старенькую кепку. Пуля, угодив в темя, раздробила кость.

— Дед Штиляп! — крикнул я в ужасе.

Сдвинувшись в сторону, я попытался приподнять его. Но он сам повернулся и глянул на меня угасающим взглядом.

— Что с тобой?

— Ничего, сынок, — тихо ответил он.

— Куда тебя ранили?

— Не знаю. Сзади.

— Где сзади? Ты не почувствовал? — торопливо расспрашивал я.

— Сзади. В поясницу...

Я сузил руку под его обтрепанное пальтишко и пробежал пальцами по костлявому позвоночнику. Пуля пронзила его тощее тело как раз в области правой почки.

Я не могу припомнить, что со мной было после этого. Те минуты выпали у меня из памяти, будто я потерял сознание. Когда пришел в себя, бой уже закончился; лишь кое-где раздавались одиночные выстрелы. У меня смутно мелькнула мысль, что, может быть, это приканчивают раненых.

Дед Штиляп умирал. Операция ничем не помогла ему — пуля жестоко ранорвала печень. Он лежал в маленькой комнатке рядом с нашей амбулаторией, но я не мог даже часто подходить к нему. То и дело прибывали раненые, и некоторые из них часами ждали своей очереди под открытым небом. Прежде всего я перевязал тяже-

ло рапенных, а затем занялся теми, кто пришел сам. Во время редких передышек я заглядывал в комнатку к старику.

Он лежал на узкой койке, молчаливый и смирившийся со своей участью. Страшная боль терзала его изнутри, но он держался с таким ужасающим спокойствием, что это пугало меня больше, чем если бы он стонал и молил о помощи. У меня не было ни морфия, ни иных болеутоляющих средств, но он терпел и не жаловался, словно боль, как и смерть, считал естественным и неизбежным явлением в жалкой жизни человека. Он очень мало говорил и ни о чем не спрашивал, ибо не хуже меня знал, что его ждет. Жизнь покидала его, он слабел, но в глазах его я не видел ни мольбы, ни сожаления. Лишь иногда, когда его взгляд задерживался на мне, он становился печальным и вповатым. И я понимал, что он жалеет не себя, а меня. Не в силах выдержать этот взгляд, я убегал к другим раненым.

К полудню к нам пришел Боян. Победа, видимо, не очень воодушевила его, он выглядел замкнутым и хмурым. Усевшись на свободную табуретку, он закурил, глубоко затягиваясь. Боян курил редко, лишь в исключительных случаях, и всегда как-то нервно и торопливо.

— Все вернулись, — коротко сказал он.

Часть отряда он разослал преследовать остатки разбитой четы.

— Есть еще жертвы?

— Нет даже рапеных. Лишь те, что были.

Он нервно потер отросшую бороду. Потери у нас были тяжелые — восемь убитых, не считая рапеных.

— Глупее не придумаешь! — сказал он. — Славяне избивают друг друга, как звери.

Я промолчал, перевязывая руку последнему из раненых.

— Похоронили их, можно сказать, чохом! — хмуро и с неохотой продолжал командир. — Особенно жаль мне Драгапа. Убили в самом конце боя.

— Оставил жену с ребенком... — сказал я.

— Да, знаю.

— У меня такое чувство, будто я его убил. Если бы я тогда не написал этот идиотский рецепт, он...

— Не болтай глупости! — сердито перебил меня Боян. — Если так рассуждать, то и сын его завтра скажет: я убил отца. Те звери убили его, вот где правда.

Он встал и подошел к окну. День был пасмурный, тучи словно палились свежим снегом.

— Есть опасно раненные? — спросил Бояп.

— Пока только дед Штилян.

— Есть ли хоть какая-нибудь надежда?

— Нет, — с горечью ответил я. — Старик копчается, ничего не сделаешь. — У меня вдруг мороз пробежал по коже. Старик, паверпо, слышал меня из-за степки: я-то знал, какой у него слух. — Хочешь повидать его?

Бояп переминался в перешительности.

— Давай зайдем, — наконец вымолвил он. — Хотя не знаю, как я выдержу: не по мне такое...

Меня удивило, что Бояп может что-то не выдержать. Я считал его самым сильным в отряде. Словпо угадан мои мысли, Бояп добавил:

— Не могу смотреть, когда умирает кто-то беспомощный.

— Он не беспомощный! — сказал я.

— Не знаю, не верю! — хмуро сказал он. — Последний раз в жизни я плакал, когда у меня околел котепок. Я просто падрывался от плача — и теперь не знаю почему. Уж очепь беспомощно он умирал. И ко всему в придачу, знал, что умирает, хоть и не знал, что такое смерть.

— Никто не знает, что такое смерть, — сказал я. — Пойдем?

— Ладпо, пойдем, — со вздохом сказал он.

Но когда мы вошли в комнатку к старику, лицо Бояна мгновенно преобразилось — стало чуть ли не веселым и бодрым. Я понимал, зачем он это делает, и все-таки меня покорибило. Старик стал таким бесплотным, не от мира сего, что на него было жутко смотреть.

— Ну как дела, старина? — спросил Бояп, присаживаясь на краешек койки.

— Ничего, — чуть слышно ответил старик.

— Хоть и не так, но что подделаешь! Зато мы раздлались с тем зверьем.

Старик с усилием качнул головой.

— Какое они зверье! — промолвил он. — Все от темноты ихпей, ни от чего другого. Они тоже небось думают, что делают что-то хорошее.

— Вроде нас? — усмехнулся Бояп.

— Ну не совсем вроде нас, вы ведь тут собрались один умнее другого. И что правда — умом их одолели.

Старик умолок и закрыл глаза. У него, очевидно, кружилась голова. Когда он снова поднял веки, взгляд его немного прояснился.

— А Максим где? — спросил он.

— Неподалеку, проверяет посты.

— Хотелось бы и с ним повидаться. Но, паверно, не дождусь.

— Ну, зачем так! — уныло сказал Боян. — Грех так говорить. Я-то вижу, есть в тебе еще сила...

— Ан пет, ушла моя силушка, вытекла, — ответил старик. И, помедлив, добавил: — Я так и знал, что умру от своей пули. Чужие пожалели бы тратить на меня пулю.

Я увидел, что Боян покусывает побелевшие губы.

— Прости меня, дед Штилян, но мне пора! — сказал оп. — Иду связного из города.

— Ступай, ступай, сынок, делай свое дело! — кротко сказал старик.

Боян быстро встал. Его поспешность даже обидела меня. Я вышел проводить его.

— А ты верпись! — с мольбой сказал старик. — Верпись ненадолго.

— Да-да, сейчас же приду.

Я вышел за дверь. Боян стоял посреди компаты, губы у него дрожали, по лицу струились слезы, и он неуклюже отирал их ладонями. Минуту, по меньшей, он не мог прийти в себя.

— Я так и знал, так и знал! — хрипло бормотал оп. — Знал, что увижу. Точно как мой котенок...

Не знаю почему, но я был гораздо спокойнее его и даже досадливо отмахнулся от Бояна:

— Брось, напел что сказать! И неужели ты не понимаешь, что оп не боится смерти, будто ее нет...

Боян либо не расслышал, либо не обратил внимания на мои слова. Отерев лицо рукавом, он стремительно вышел паружу. Я снова вошел в компатку. Старик медленно открыл глаза, но мне показалось, что он меня не видит — таким отсутствующим и безжизненным был его взгляд.

— Это ты, сынок? — спросил он.

Да, оп меня не видел.

— Садись, садись! — сказал он. — Посиди немножко.

Я сел на место Бояна. Только теперь оп разглядел меня и едва заметно оживился.

— Уж очень ты убиваешься, сынок, — снова загово-

рил старик. — А пехорошо так, не надо, — умоляюще добавил он.

— Знаю, знаю! — сказал я.

— Подумай хорошенько, и увидишь. Я ж говорил тебе, что жизнь моя — дареная. Вы мне ее подарили, а я вернул вам. Долг платежом красен, сынок. Разве хорошо уходить отсюда должником? Всю жизнь бедняком был, но никому не задолжал. Так и до конца будет.

— Знаю, знаю! — бессмысленно повторил я.

— Лишь тебя мне жалко, — продолжал он. — Ты по такой, как другие. Ты добрый, но нет в тебе силы, вот что плохо. Ты как плетчик на топкой веточке. Тяжело тебе будет одному на этом свете.

— Да-да, знаю! — сказал я. — Но тебе пельзя так много разговаривать.

— А мне больше и нечего сказать, сынок. Это все.

Он с трудом поднял свою бескровную руку, словно хотел перекрестить меня.

— Силу-силушку копи в себе, — промолвил он угасающим голосом. — Силу внутри себя...

Еще около часа я пробыл с ним, и никто не сказал больше ни слова. Казалось, боли его утихли, он успокоился и задремал. Но нет, я до сих пор не знаю, заснул он или же прикинулся спящим. Дышал он ровно и спокойно, и лицо его было безмятежно. Мне уже давно надо было проведать одного из тяжело рапенных. Собравшись с силами, я наконец поднялся с места. Когда я вернулся, старик уже безжизненно вытянулся на своей узкой койке, но сила, покинувшая бездыханное тело, все еще была здесь, лучась прозрачным белым светом. Потом и он исчез. А может быть, просто-напросто тяжелые свинцовые тучи затянули и последние просветы на небе.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Вторая рота. Повесть. Перевод А. Собковича	5
Звезды над нами. Роман. Перевод Н. Попова	117

Павел Вежинов

ВТОРАЯ РОТА

Редактор *А. И. Рожченко*
Автор марки и серийного оформления художник *В. В. Савченко*
Художественный редактор *В. В. Поляков*
Иллюстрация на суперобложке художника *Н. А. Абакумова*
Технический редактор *Н. А. Миронова*
Корректор *Л. В. Дерюгина*

• • •

Одано в набор 1.6.76 г.
Подписано в печать 3.1.77 г. Формат 84×108/32
Печ. л. 9. Усл. печ. л. 15.12. Уч.-изд. л. 16,189.
Бумага типографская № 1.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 10/2787.
Цена 2 р 03 коп. Зак. 170.

• • •

Воениздат
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова Степанова. дом 3